ИВАН ШАМЯКИН

Криницы

Иван Шамякин

КРИНИЦЫ

Роман

1

В полдень над деревней прошумела гроза. Туча надвинулась неожиданно и, обрушившись косым ливнем, уползла дальше. Но молния натворила беды: на усадьбе МТС расколола старый дуб, которому давали не меньше двухсот лет, и контузила механика Сергея Костянка.

Весть эта, как обычно преувеличенная, в один миг облетела деревню.

— Убило Костянка!

— Сергея Костянка убило!

Со всех сторон не глядя на дождь народ бежал к МТС. Но Сергея уже отвезли на медицинский пункт. Узнав, что он жив, люди успокаивались и, промокшие, возвращались в деревню. Радовались дождю, хотя в разгаре была уборка и на поле там и сям стояли копны. Но от дождя сейчас, конечно, больше пользы, чем вреда: после почти месячной жары начала желтеть картофельная ботва, вянут овощи. Теперь можно было надеяться, что все это оживет и даст добрый урожай.

Усадьба уже опустела, когда по тропке, вьющейся за огородами, не по годам быстро подошел старик с палкой, в промокшем парусиновом костюме.

— Что с ним? — в тревоге за Сергея спросил он хромого сторожа.

— Ничего. Живой. В больницу повезли.

Старик снял соломенную шляпу, чистым платком вытер лысину, лицо и присел на ржавое тракторное колесо, лежавшее возле дуба.

— Данила Платонович, вы б под навес, а не то в контору бы зашли, — посоветовал сторож и, как бы почувствовав неловкость оттого, что старый уважаемый человек

сидит под дождем, а он стоит под крышей, отошел от мастерской. Стороной обошел дуб, с опаской поглядывая на него, точно молния все ещё сидела там, в свежей расколине.

— Да и от дуба этого подальше… Леший его ведает, отчего так часто в него бьет. И громоотводы вокруг, а все одно… — Он кивнул на высокий шест, по которому до земли спускалась проволока.

Данила Платонович не ответил. Он сидел наклонившись, опираясь на суковатую можжевеловую палку, и тяжело дышал.

— Сергей Степанович с машины соскочил и бежал в контору, чтоб от дождя укрыться… Только он к дубу, а тут как рад и трахнуло. Ишь как разворотило… Стихия!.. А Сергей Степанович как-то шутил, что заряд самой сильной молнии стоит рубль двадцать копеек. — Сторож засмеялся. — Вот тебе и рубль двадцать!

Перед ними вдруг появилась девушка лет семнадцати, раскрасневшаяся, в мокром платье и спортивных тапочках.

Она бросила на сторожа неприязненный взгляд и заботливо склонилась над стариком.

— Данила Платонович, вам нехорошо? Я вас провожу домой. — И пригрозила: — Вот попадет вам от Натальи Петровны!

Он поднял голову, и добрая улыбка осветила его морщинистое лицо.

— А-а, Рая?.. Спасибо, Рая. — И неожиданно легко поднялся, поглядел на дуб.

Дуб и в самом деле был могуч — ствол в три обхвата. И немало гроз он на своем веку повидал! На теле его остались шрамы — заросшие трещины. Верхушка засохла. Данила Платонович помнит её зеленой, кудрявой; тогда дуб возвышался над всей округой и был виден за много километров от Криниц. А теперь

осокори выше его. Остались на нем всего две толстые ветви; одна из них поднималась вверх, другая раскинула далеко в сторону свою листву и под тяжестью её склонилась к земле. Молния отщепила нижнюю ветвь, и она повисла вдоль ствола.

Выглянуло солнце, разбрызгало веселые лучи, но дождь ещё шел, слепой, мелкий. Солнце заиграло на мокрых дубовых листьях. А над рекой и синим лесом, где стояла туча, от которой тянулись к земле голубые нити косого дождя, огромной раскрашенной аркой встала радуга. Там все ещё гремел гром, но уже тихо и ворчливо, будто, недовольный чем-то, грозился, что ещё вернется и тогда от него милости не жди.

— Не залечить старику такой раны, засохнет, — грустно сказал Данила Платонович, отводя взгляд от дуба.

— Спилить бы его… Хоть гром не бил бы, — отозвался сторож.

Данила Платонович укоризненно покачал головой.

— Ты, Прокоп, все спилил бы. Собственный сад и то вырубил…

— А на что он мне, сад? Налоги платить?

— Когда-нибудь пожалеешь, Прокоп.

Данила Платонович повернулся к девушке, только сейчас отвечая на её заботливые слова:

— Я, Раиса, ещё не так стар, чтоб меня домой провожать… У меня ещё ого сколько сил! Зайдем к Наташе — как там Сергей? Напугал он меня… Кричат: *«Костянка убило!»* А я в саду был, видел, как в дуб ударило…

— Вы обо всех беспокоитесь, Данила Платонович.

— А ты осталась бы спокойна, если бы и правда убило человека?

Раиса не ответила.

Дождь утих. Припекало солнце. От мокрого костюма старика и платья девушки поднимался легкий парок.

...Даниле Платоновичу Шаблюку, этому ещё не такому старому, как он сказал о себе, человеку, шел семьдесят пятый год. И каждый, кто видел его даже впервые, легко мог определить его возраст — он выглядел не моложе и не старше своих лет.

Эго был старик выше среднего роста, годы не иссушили и не согнули его фигуру, держался он прямо и ходил ещё быстро и твердо, хотя и опирался на палку.

Но его загрубевшее от непогод лицо исчертили глубокие морщины, они лежали складками на широком лбу, под ясными, умными глазами, прорезали по-старчески чуть обвислые щеки. Он носил небольшие седые усы, но бороду аккуратно брил.

Ещё какие-нибудь два-три года назад криничане знали Данилу Платоновича куда более крепким, они никогда не видели в его руках палки. Подкосила старого учителя смерть жены, с которой он вместе прошел всю свою долгую жизнь. Два месяца он пролежал в постели и до сих пор ещё не вполне оправился.

Раиса была его ученицей и соседкой — их дома стояли рядом.

...Хорошо на улице после дождя!

Зеленели вербы, цветники, на листьях деревьев, любистка и георгинов, на траве блестели капли дождя, и в каждой прозрачной капле отражалось яркое августовское солнце.

Посреди улицы журчал ручей, желтая вода с шумом и бульканьем бежала к речке, оставляя на пути клочья грязной пены. По воде, закатав штаны и подоткнув юбчонки, бегали босые мальчишки и девочки, строили земляные *«плотины»*, Но вода рвала их, и тогда объявлялся аврал: кричали, попрекали друг друга,

командовали:

— Юрка! Неси кирпич!

— Спасай электростанцию! Смоет!

— Глины! Глины давайте!

Один малыш споткнулся, упал в воду. Поднявшись, испуганно огляделся и, видно, боясь, что достанется от матери, бросился к себе во двор. Рассмеявшись, дети тут же позабыли про своего трусливого дружка. Наиболее активной и ловкой группе ребят удалось построить довольно крепкую плотину, и запруженный ручей начал разливаться озерцом. Данила Платонович остановился неподалеку и с любовью набяюдал за хлопотливой работой детворы.

— Строители! — сказал он Раисе.

Но девушку мало занимали дети и их игра. Она была в том переходном возрасте, когда уже забываются детские игры, когда девочка считает себя взрослой и боится, как бы интерес к младшим не был истолкован как её несамостоятельность.

Она смотрела вперед. Навстречу им, не спеша и осторожненько обходя лужи и мокрую траву, шел по-городскому одетый мужчина: в светлой шляпе, в белом, чистом, старательно выутюженном пиджачке, под которым видна была ярко вышитая рубашка, в темно-синих бостоновых брюках и в белых туфлях.

Это был молодой человек, высокий, с мелкими чертами лица, которое можно было бы назвать красивым, если б его не портили глаза, глубоко посаженные под узким выпуклым лбом.

Здороваясь, он снял шляпу, взмахнул ею над склоненной головой. Рыжеватые волосы были зачесаны набок и прикрывали лоб: должно быть, он знал, что эта часть лица у него не из самых красивых.

— Склоняю голову пред мудростью и юностью, — без

улыбки произнес он вместо, обычных слов приветствия.

Раиса сразу как-то оживилась.

— Виктор Павлович, знаете, Костянка чуть молния не убила! — сообщила она с детской непосредственностью.

— Молния? Да-а? Любопытно. Какого Костянка?

— Ну, Сергея Костянка.

— А-а, это у которого детей много?

Раисе стало обидно, что он не знает Сергея Костянка, и она сделала недовольную гримаску.

— Да нет же… механик МТС. Брат нашего Алеши Костянка. — Она покраснела.

— А-а… тот… Любопытно…

Пока они разговаривали, Данила Платонович молча стоял, опершись на палку, и смотрел на детей.

На молодого учителя, который делал вид, что не знает, кто такой Костянок, он бросил косой взгляд.

Орешкин, должно быть, заметил этот взгляд Данилы Платоновича, так как, на полуслове прервав разговор с Раисой, обратился к нему:

— Новость, Данила Платонович! К нам едет…

Он начал это таким тоном, что Раиса не выдержала и со смехом закончила:

— …ревизор!

— Хуже… Новый директор школы.

— Это не новость, — ответил Шаблюк, перекладывая палку из левой руки в правую. — Должен же он был когда-нибудь приехать.

— Новость — что он уже в пути. Мне позвонили из

районо, что выехал из райцентра.

— И вы идете встречать?..

— Я? Мне, дорогой Данила Платонович, не присуща черта, которая именуется *«под-ха-ли-маж»*. — Он рассмеялся, довольный своей шуткой. — Я гуляю… после грозы… Озон… Роса…

— Ну, гуляйте, гуляйте. — И Данила Платонович быстрым шагом двинулся дальше.

Раиса, догоняя его, услышала, как старик ворчал:

— Озон… Роса… Позёр.

Сознание к Сергею вернулось ещё там, на усадьбе МТС, когда ему начали делать искусственное дыхание. Он не сразу понял, что с ним произошло. В памяти сохранилось, как он соскочил с машины и под проливным дождем побежал в контору, затем — огонь, такой же, как когда-то под Берлином, когда его ранило и контузило разрывом тяжелого снаряда. Только увидев над собой озабоченное, испуганное лицо старой фельдшерицы Анны Исааковны, он догадался, что случилось. Когда его подняли, чтоб куда-то нести, Сергей запротестовал, но он не слышал, что говорили люди, только видел, как двигались их губы, не слышал шума дождя и даже не услышал своего собственного голоса — удалось ли ему сказать что-нибудь. Это встревожило его, и он, поняв, что дело неладно, отдался на попечение окружающих. Его на машине отвезли на медицинский пункт и уложили на диванчике в маленькой белой комнатке. Немного повеселев, Анна Исааковна сделала ему укол, дала понюхать нашатыря. После этого он почувствовал боль в голове. Наконец все вышли, и он остался один. Ему хотелось подняться и немедленно уехать в колхоз — отвезти запасную часть для комбайна, — для этого он и приезжал в мастерскую. Но в голове стоял страшный, шум, и он боялся вставать.

А может, это дождь шумит? Нет, дождь прошел. Весело блестят капли на листьях густой сирени, одна ветка

которой протянулась в комнату, и падают на подоконник, на маленький столик, где стоят разные бутылочки и склянки.

«Её хозяйство», — подумал он с нежностью, и тут же его охватил страх. А что, если слух так и не вернется? И он никогда больше не услышит её голоса? Тогда конец всем надеждам и радостям в жизни… Глухой, инвалид… Нет, это проходит… Это должно пройти…

Сергей закрыл глаза. Уснуть бы и проснуться здоровым. Он полежал так несколько минут и вдруг почувствовал, что в ушах стало жарко, как будто вылилась из них вода, как это бывает после ныряния. И сразу же он услышал далекий голос, сразу узнал его. Он вздрогнул. Уж не бредит ли он? Случалось и раньше, что он так же вот слышал её голос, иной раз во сне, а то и наяву, когда один шел по полю или лежал где-нибудь на опушке, глядя в небо, и думал, думал о ней и о себе.

Голос приближался, крепнул. И Сергей, охваченный радостью, понял, что это не голос приближается, а возвращается к нему слух, Наталья же Петровна тут рядом, в соседней комнате, за прикрытой дверью.

— Ох, дайте мне воды, Анна Исааковна. Сердце, кажется, сейчас выскочит. Я так бежала!

— А зачем было бежать! Я все сделала, что нужно.

— Дайте, пожалуйста, полотенце, я вся мокрая…

Сергей приподнялся, забыв о боли в руке и голове, быстро оправил одежду, застегнул пуговицы. И больному ему хотелось перед ней быть в наилучшем виде. Но кто-то успел разуть его и не оставил ботинок, а он с утра ходил по полю, по пахоте, и ноги у него были пыльные и грязные. Сергею стало стыдно, и он не знал, куда девать ноги. Когда он заглядывал под диван, разыскивая ботинки, в комнату вошла Наталья Петровна. Он выпрямился, покраснел.

— Куда это вы? — удивленно и вместе с тем строго

спросила она и решительно приказала: — Ложитесь! Ложитесь! — И взяв его за плечи, почти силой заставила лечь на диван.

Ей рассказали, в каком он состоянии, и Наталья Петровна, обрадованная, что он на ногах, нарочно шепотом спросила:

— Как уши?

— Слышу. Только вы на порог — и я сразу же услышал. — Он, видно, сам верил в такое чудо.

Анна Исааковна, вошедшая следом за врачом, молча вышла и неслышно закрыла за собой дверь.

— Напугали вы меня, — созналась Наталья Петровна, с ласковой улыбкой проверяя его пульс.

Взгляд её не отрывался от часов наруке. А Сергей в это время смотрел на нее, и она казалась ему ещё более красивой и желанной, чем всегда.

— Я на другом конце была, у Атроха, когда услышала от ребят…

Она не сказала о том, что бежала до самого медпункта, но Сергей запомнил её слова: *«Как я бежала!»* — там, за дверью, и сейчас видел, как горели её щеки, глаза, как под белым халатом поднималась и опускалась грудь, а по руке её, как по проводнику, ему передавались частые и гулкие удары её сердца. Должно быть, по дороге у неё рассыпались волосы, и сейчас они наспех были повязаны марлевой косынкой. Из-под косынки выбивались мокрые русые пряди.

Её тревога, её волнение воскресили в Сергее надежду, которая уже почти угасла. Он сжал её холодную руку, не дав досчитать пульс. Прошептал:

— Наташа…

Она вздрогнула от неожиданности, отняла руку и отошла к окну. С минуту длилось неловкое молчание.

Потом она потянула к себе веточку сирени ещё несколько веток, прижатых створкой окна, высвободились и обрызгали её и стол крупными каплями.

Сергей встал и громко крикнул:

— Анна Исааковна, дайте мне мои ботинки!

Наталья Петровна присела на табурет, повернулась к Сергею. Лицо её было уже спокойно, держалась она уверенно, и, может быть, только руки выдавали волнение: слишком быстро переплетала она резиновые трубки фонендоскопа и, должно быть, довольно сильно зажала пальцы, они побелели.

Сергей не мог оторвать взгляда от её рук. С детства влюбленный в технику, он испытывал особое уважение к нужным и полезным вещам и теперь боролся с желанием предупредить её, что так она может испортить, разорвать трубки, но у него не хватило решимости: а вдруг она скажет сейчас что-то очень важное, может быть то, чего он так долго ждал?..

— Обещайте, что полежите дома, иначе я вас не отпущу, Сергей Степанович.

После этих её обыденных слов он не выдержал и сказал:

— Разорвете трубки, Наталья Петровна. — И только потам ответил: — У меня в Селище комбайн стоит. Надо ехать...

— Нет, нет, — запротестовала она, поднявшись и как бы намереваясь загородить собой дверь. — Если вы такой, снимайте рубашку! Я должна вас выслушать.

Зашелестела сирень, брызнула дождем, и в проеме окна Сергей увидел своего брата Алексея. Похожие друг на друга, братья во многом и разнились: младший — выше ростом, светлый, с гладкими и мягкими, как лен, волосами, в то время как Сергей почти брюнет, и волосы у него, красивые, густые, чуть вьющиеся, лежат крупными волнами. Облупленные на солнцепеке нос и

щеки Алеши были густо усеяны веснушками, и от этого он выглядел моложе своих семнадцати лет — казался мальчишкой. Но фигура этого *«мальчишки»* заслоняла все окно. Одет он был в замасленный комбинезон, в волосах торчал ржаной колос.

Увидев врача, Алексей смутился, застенчиво попросил извинения и тут же по-мужски, солидно спросил у брата:

— Ну, как ты, Сергей?

— Ничего, Алёша. Только вот Наталья Петровка домой не отпускает. У тебя там как?

— Так ты полежи. Это же не шутка... Напугал ты всех, брат. Мать на лугу... Может, и хорошо, что не было её в деревне. Я уже послал успокоить, что все в порядке... А то ляпнет кто-нибудь не подумавши — не добежит старуха. — Последние слова Алексей сказал, обращаясь к врачу. Он положил свои сильные, испачканные мазутом руки на белый подоконник, но тут же поспешно убрал их и спрятал за спину. — А у меня что! Комбайн в порядке. Только вот дождь помешал.

Наталья Петровна с интересом разглядывала Алёшу. Она знала его ещё малышом, как знала каждого человека в окрестных селах, и в том числе большую семью Костянков, но Алёша был самый незаметный и скромный из них. Он никогда не болел, и в последние годы Наталье Петровне почти не приходилось с ним иметь дело. И вдруг с радостью и удивлением она открыла нового взрослого и занятного человека.

— Так что ты полежи, брат, — рассудительно продолжал Алексей. — А в Селище поедут. Директор знает. Он здесь, пришел тебя проведать, но Исааковна никого не пускает. И Данила Платонович здесь...

— Горе мне с вами. Старику тоже нельзя выходить, а он гуляет под дождем. — Наталья Петровна укоризненно покачала головой и вышла из комнаты, озабоченная и грустная.

2

Машина остановилась на перекрестке. Шофёр, молодой парень, почти мальчишка, высунулся из кабины.

— Эй, товарищ интеллигент!.. Приехали!

Хотя в кузове было человек шесть и среди них люди, одетые по-городскому, Лемяшевич понял, что это относится к нему; должно быть, соломенная шляпа послужила причиной такого обращения. Он ловко перемахнул через борт на мокрый песок дороги.

— Смотрите, какой дождь тут прошел, а там и не капнуло. Хотя бы и у нас покропило, — размышляла вслух старая колхозница. Она подала Лемяшевичу чемоданчик и пузатый портфель.

Шофёр выскочил из машины и озабоченно постукивал носком сапога по заплатанным баллонам. Не глядя на Лемяшевича, он обращался, однако, к нему:

— За этой рощицей — ваши Криницы. Километра два, а может, и того нет. Вон деревья высокие… парк… Не заблудитесь.

В кузове засмеялись. Лемяшевич понял, что до деревни совсем не два километра, но смолчал: шофёр предупредил его, когда он садился, что до Криниц довезти не сможет — едет мимо.

— Сколько с меня? — спросил Лемяшевич, доставая из кармана кошелёк.

— Четвертак, — быстро ответил шофёр, хлопнув ладонями и потирая руки, как бы от удовольствия, что получит такую сумму.

— Двадцать пять рублей? — удивился Лемяшевич. — По рублю за километр? Недурно! Это вы со всех так дерете?

— Не-ет… Только с уполномоченных. Они командировочные получают. — Теперь парень стоял

прямо против него, с любопытством разглядывал своего пассажира, и в карих, по-детски ясных глазах его прыгали озорные огоньки.

— Павлик, а может, это и не уполномоченный. Может, учитель, — снова отозвалась из кузова говорливая женщина. — Они съезжаются сейчас — кто откуда.

— Учитель? — живо спросил Павлик, перебив старуху.

— Учитель, — усмехнулся Лемяшевич.

— Тогда гоните пять рублей.

Получив деньги, шофёр весело пожелал счастливого пути. Когда машина уже тронулась, застенчивая девушка, всю, дорогу потихоньку чему-то улыбавшаяся, крикнула:

— Даниле Платоновичу привет передайте!

Лемяшевич долго смотрел вслед машине. Четвертый человек передавал привет старому учителю, имя которого он впервые услышал от Журавских. Это обстоятельство, а также встречи в районе, беседа с попутчиками, простыми и сердечными людьми, расстилающиеся по обе стороны дороги поля, где кипела работа, — все пережитое за день вызвало какую-то светлую приподнятость. Лемяшевич с радостью почувствовал, что исчезли все колебания, сомнения: правильно ли он сделал, что прервал учебу, бросил столицу и поехал сюда, в эту *«полесскую глушь»*?

Он стоял и думал о том, что сейчас произошло. Была ли это только шутка шофёра? Или, может, люди и в самом деле так относятся к уполномоченным? А как тогда понимать их отношение к учителю? Уважение это или нечто иное? Припомнился другой случай, сегодня утром в районной чайной. После бессонной ночи в поезде еда не шла ему в горло, и он попросил официантку принести пятьдесят граммов водки. Девушка принесла сто пятьдесят и, когда он повторил свою просьбу, удивилась:

— Всего пятьдесят? У нас никто по столечку не пьет. Только учитель один, когда приезжает в район, по двадцать пять граммов заказывает, и то не сразу выпивает.

И она фыркнула.

Должно быть, только тем и прославился человек на весь район, что выпивает по двадцать пять граммов. Нельзя сказать, что дурная слава, но все-таки неприятно слышать о таком явном позерстве, хотя ещё неприятнее и обиднее было слышать — ему рассказывали в районе — о систематических пьянках бывшего директора криницкой школы. *«Весь коллектив и все родители возмущались»*.

«Да… много спрашивается с наставника, тем более с директора, который должен воспитывать и учеников и учителей. Ну что ж, это и хорошо. Для того я и ехал, чтоб лучше узнать жизнь, людей… И самому у них поучиться…»

Лемяшевич закурил, огляделся. Вокруг расстилалось поле, ещё довольно пёстрое: за золотистой спелой рожью зеленел картофель, с другой стороны синел люпин. По обе стороны узкой полевой дороги, по которой ему надо было идти, лежала стерня; рожь убирали комбайном, на поле остались кучи соломы и виднелись следы шин. Должно быть, дождь остановил уборку: вдали у березняка, где кончалась стерня и снова начиналось желто-белое море ржи, неподвижно стоял комбайн.

Лемяшевич поднял чемодан, портфель и бодрым шагом двинулся по направлению к Криницам.

Возле березняка навстречу ему вышел высокий человек в светлой шляпе и белом пиджачке. Человек появился из-за березок как-то вдруг, неожиданно, будто сидел там в засаде, и сразу же, на расстоянии добрых десяти шагов, поздоровался: поднял шляпу.

— Могу вас удивить. Я догадываюсь, кто вы. Что? Не

верите? А?

— Почему? Верю. — Лемяшевич остановился, поставил чемодан на землю, поджидая, пока незнакомец подойдет.

— Вы наш новый директор. — Человек протянул руку и представился: —Заведующий учебной частью Орешкин Виктор Павлович.

— Очень приятно. Лемяшевич.

Они крепко пожали друг другу руки, как добрые друзья или старые знакомые, и пошли рядом. Орешкин был выше ростом и шагал солидно, не спеша, и стремительному, подвижному Лемяшевичу пришлось замедлить шаг, а когда нарушился ритм, он сразу почувствовал вес своего багажа.

Орешкин поспешил объяснить свое появление здесь, так далеко от деревни:

— Гуляю… У нас тут час назад гроза прошла. Чувствуете озон?.. Легко дышать. А? И знаете, молнией чуть не убило механика МТС…

Лемяшевич с любопытством следил за каждым движением нового знакомого, жадно ловил каждое его слово. Об этом человеке Журавские ничего ему не говорили, должно быть, не знали его, а заведующий районо охарактеризовал коротко: *«Завуч у вас опытный»*.

Орешкин то и дело поправлял воротничок своей вышитой рубашки, вылезавшей из-под пиджака, и почему-то поглаживал ладонью левый нагрудный карман. Со стороны казалось, что человек нежно гладит свое сердце, как бы ласкает его: *«Какое ты у меня хорошее!»*

Вышли из березняка, и взору открылась большая деревня. В центре, на пригорке, стояло одноэтажное деревянное здание под железной крышей, блестевшей на солнце после дождя.

— Школа, — кивнул Орешкин.

Улицы деревни расходились от школы в три стороны, самая длинная из них тянулась с запада на восток. Эту улицу недалеко от школы, в лощине, перерезал ольшаник, там протекал ручей. Хаты деревни скрывались в зелени садов.

На западе виднелся старый, поределый парк, суховерхие осокори которого Лемяшевич видел ещё с шоссе: на них показывал шофёр, как на ориентир.

Сразу за деревней стеной стоял лиственный лес, и даже отсюда, на расстоянии добрых трех километров, можно было разглядеть высокие, с густыми кронами дубы.

— Место красивое, — заметил Лемяшевич, останавливаясь, чтобы взять чемодан в другую руку, так как был он все-таки довольно тяжелый.

— Место? Да… Там, у леса, речка… хорошая речка… Прозрачная, рыбка водится. Можно выкупаться, можно с удочкой посидеть. А через самую деревню ручьи протекают. Везде воды хоть отбавляй. А? Ручей, что возле школы, Криницей называют, а возле МТС, — Орешкин показал рукой на парк, — там Светлая Криница, как видно, святой когда-то была. Отсюда и название деревни — Криницы. Что? Конечно, это уже не та деревня, в которой работал Лобанович.[1] Однако всё равно ещё глушь… Глушь… А?.. Единственное удовлетворение — в работе.

Лемяшевича раздражала нелепая привычка завуча переспрашивать: *«А? Что?»* Он перевел разговор на школу — спросил о ремонте, об учительском коллективе. Орешкин оживился, стал ещё многословнее и даже меньше *«акал»*.

— Школа? Не стану хвастаться, Михаил Кириллович… Лемяшевич удивился тому, что завуч знает его имя-отчество.

— Увидите собственными глазами. Но скажу: все лето у

меня была одна только забота — ремонт. В отпуск не пошёл, путевку на курорт предлагали — а подлечиться надо бы! — отказался. А?

«Это называется «не стану хвастаться», — подумал Лемяшевич, пряча улыбку.

— Коллектив? Ничего. Обыкновенный. Как завуч, пожаловаться не могу. Есть молодёжь, неопытные… Есть опытные… Был человек даже чересчур опытный.

Навстречу им приближалась *«Победа»*, и они сошли с дороги в разные стороны; на какой-то миг машина разделила их и прервала беседу. Лемяшевич увидел в машине за рулем секретаря райкома, с которым познакомился сегодня утром.

— Секретарь райкома Бородка, — сообщил Орешкин, когда они снова сошлись, и прибавил: — Сила, я вам скажу. Весь район на своих плечах держит. — И, оглянувшись на машину, вернулся к рассказу о коллективе: — Тут у нас работал некто Шаблюк, старый педагог… Безусловно, человек заслуженный… Что-то около полувека трудился на ниве народного просвещения. Но, знаете, поглядишь этак с позиций поколения, воспитанного советской властью, и… — Орешкин щелкнул языком и развел руками. — Лет сорок Шаблюк проработал в Криницах. Ну, известно, перекумился со всеми, дом себе построил — другого такого во всем сельсовете не найдёшь, сад, пчёл ульев двадцать…

Лемяшевич не сразу уразумел, что речь идет о том самом Даниле Платоновиче, о котором говорили Журавские и которому разные люди передавали привет.

— Отсюда и психология… Началась война, немцы пришли, всенародное горе. Ему предложили эвакуироваться… Отказался. Остался в деревне… А? Почему остался? Ясно. Усадебку пожалел… И жил все два с половиной года спокойно, и немцы его не трогали. Почему, спрашивается, не трогали, если был он советский учитель, пускай даже и беспартийный? Что?

Говорят, с партизанами был связан. Но кто был — того знают... О тех пишут.

Лемяшевич все больше настораживался. Всегда невольно возникает антипатия к человеку, который за глаза хает других. О Шаблюке Лемяшевичу говорили люди уважаемые или совсем посторонние, которым не было никакой нужды кривить душой, говорили тепло и сердечно.

Орешкин как бы спохватился:

— Вы не подумайте, что я лично имею что-нибудь против Шаблюка. А? Упаси боже! Я очень его уважаю, я его друг, но я — ради объективности, чтоб вы были в курсе. Старик уже на пенсии, а спокойно жить не может. Любая жалоба на местные власти непременно отредактирована и переписана им. И в школьные дела хочет вмешиваться. А? Не может понять, что отстал, что практика его противоречит современной педагогической науке...

«Практика человека, который полстолетия обучал детей, противоречит педагогической науке? Интересно, черт возьми!»— подумал Лемяшевич, а вслух спросил:

— И давно не работает Шаблюк?

— С весны ушел на пенсию. Болел... А теперь опять заглядывает в школу. Тянет его...

— И вам это не нравится? — сухо спросил Лемяшевич. Орешкин внимательно посмотрел на него, погладил свое сердце, приветливо улыбнулся.

— Что вы! Я ведь дружески, объективности ради. Я и Даниле Платоновичу это говорил. Я ничего против него не имею. Но, понимаете, когда из-за своего какого-то, может быть, старческого чудачества он поддерживает некоторых скандалистов, то уж извините... Мне интересы дела дороже всего. А скандалисты есть. А? Есть. В нашем коллективе... Сами увидите.

Лемяшевичу не захотелось больше выслушивать аттестации людей, которых он не знал, с которыми ни разу не встречался. Хотя все выглядело пристойно: завуч хочет рассказать новому директору о коллективе, охарактеризовать преподавателей. Наконец ничего особенного нет и в том, что он не любит старого учителя-пенсионера, тот мог досадить ему чем-нибудь, вмешаться в его обязанности — старики бывают надоедливы. Каждый имеет право на симпатии и антипатии. Но с оккупацией — это пахнет поклёпом, ибо не могли Журавские так любить человека, если бы хоть что-нибудь в словах Орешкина было правдой. Желая переменить тему разговора, Лемяшевич спросил про урожай.

— Урожай? — удивился Орешкин. — Да как вам сказать… Кажется, так себе. Пески здесь.

— А лён вот неплохой. — По одну сторону дороги стоял спелый уже, густой и высокий лён, звенел головками. — Как вы думаете, сколько возьмут с гектара?

Орешкин смешался, куда девалось его красноречие.

— Как вам сказать… А-а? Центнеров, должно быть, ну… — он долго смотрел на лён, как бы прикидывая урожай, — десять…

— Чего?

— Как чего?

— Ну, лен дает волокно и семя…

— Всего вместе, конечно…

Лемяшевич улыбнулся, отвернувшись к льняному полю.

— Всего вместе?.. Нет, видно, не будет и вместе. Центнера четыре волокна.

— Ну вот… А вы говорите — хороший урожай, — как будто обрадовался Орешкин.

Лемяшевич не ответил.

Некоторое время шли молча. Снова начало припекать солнце. Легко дышала земля, от нее поднимался прозрачный пар. Полевыми тропками шли из деревни группы женщин. Одна группа вышла им навстречу. Поздоровались. Разминувшись, женщины долго оглядывались и о чем-то спорили.

— Женщин в коллективе много? — спросил Лемяшевич, хотя ему и не хотелось расспрашивать больше о людях.

— Женщин? — Орешкин внимательно посмотрел на него, подергал воротничок и более энергично погладил сердце. — Вы холостой?

Лемяшевича рассердило, что завуч так нелепо истолковал его вопрос.

— Женщин много… Но неинтересные… Большинство — замужем. А то — так… Есть только одна интересная женщина… Но-о… — Лицо Орешкина расплылось в странной улыбке, он набрал полную грудь воздуха и выпрямился, отчего стал ещё длиннее.

«Влюблен», — подумал Лемяшевич, с любопытством наблюдая за ним.

— Великолепная женщина и в то же время странная, я вам скажу. Врач здешний… Вдова. Дочка лет тринадцати. А? Не то чтоб очень красивая. Нет. Понимаете, какая-то особенная… Я не идеалист и не верю в верность до гроба и все такое прочее… Но, понимаете, эта Наталья Петровна… Муж погиб на войне… Она десять лет в Криницах… Не один мужчина к ней сватался… Но попробуйте вы сказать о ней что-нибудь дурное — и вас бабы прибьют. А-а-а? Я не шучу. Все горой за нее…

Лемяшевич слушал, и на душе у него становилось светлей оттого, что существует неведомая ему Наталья Петровна, а ещё оттого, что и Орешкин способен тепло говорить о человеке и восхищаться его душевной

красотой.

— Да-а, дорогой Михаил Кириллович, завидный авторитет у нашего врача. Ну что ж, это понятно… Она одна, а нас в сельсовете сорок человек. Дайте я понесу ваш чемодан, а то вам, верно, тяжело.

Они входили в деревню.

Комнаты были пусты и неуютны. Только в одной стоял простой крашеный стол, изделие не слишком умелого мастера, и два стула: один новый, такой же грубый, как стол, а другой венский, старомодный, замысловатой конструкции. Старый стул был крепкий и легкий, новый — тяжёлый и скрипучий. Но Лемяшевичу не хотелось садиться ни на один из них. Растворив настежь двери, он шагал из комнаты в комнату, изредка задерживаясь у окна, выходившего на пришкольный огород и сад. Настроение его, приподнятое и веселое в дороге, постепенно падало. И началось это с осмотра школы. Отремонтирована она была совсем не так хорошо, как хвастал Орешкин. А на взгляд Лемяшевича — просто плохо: парты не покрашены, классы побелены так, что на потолке и стенах остались диковинные узоры, печи сложены неумело и некрасиво. Он сказал об этом Орешкину. Тот прикинулся удивленным и обиженным:

— У вас, дорогой Михаил Кириллович, столичный вкус, столичные масштабы… А попробуйте поговорить с нашим райфо… Я приглашал их, смотрели. Что? Конечно, можно лучше… Но, как говорится, по Сеньке и шапка… Все упирается, — и Орешкин потер пальцами, — в деньги… а их нет… Экономия!

Потом он оставил Лемяшевича одного в этих двух пустых комнатах директорской квартиры, пообещав на прощание сказать сторожихе, чтобы она принесла из учительской диван. Этим, по сути, ограничилась его забота о новом директоре. Правда, он пригласил его зайти вечером *«на чашку чая»* и в связи с этим долго хвалил свою квартиру, хозяйку и особенно её дочку: *«Красавица, талант!»* Но не спросил завтракал ли директор и где думает пообедать.

«Испытывает, черт, насколько я поворотлив и приспособлен к жизни, недаром он помянул столичный вкус», — размышлял Лемяшевич, когда Орешкин ушел. Он был не из тех, что обижаются, если им не оказывают соответствующего внимания. Наоборот, ему понравилась эта черта в Орешкине, она разбивала первое впечатление о нем как о подхалиме.

Однако настроение все продолжало портиться. Одолевали разные мелкие заботы, например: а где всё-таки на самом деле пообедать? Идти сразу к Костянкам с письмом Дарьи Степановны как-то неловко; не успел оглядеться — и уже суётся со знакомством. Какой-то миг ему хотелось бросить эти пустые комнаты, пойти поискать председателя сельсовета и попросить, чтоб он помог ему устроиться на частной квартире *«со столом»*. Однако жаль было комнат: их можно сделать уютными, а он никогда не имел ещё собственной квартиры, на частных ему надоело жить и в Минске. Наконец, бросить — значит надо кому-нибудь передать. А кому? Кто больше всех нуждается? Можно с самого начала наделать глупостей. *«Да, дорогой Михаил Кириллович, как говорит Орешкин, нелегкий путь ты себе выбрал. На черта мне нужно было это директорство? Пошел бы просто преподавателем — никаких хлопот и недоразумений»*.

Устав ходить, он наконец сел на венский стул и, облокотившись на стол, задумался.

3

Михась Лемяшевич сдавал экзамены за третий курс педучилища, когда началась война. Сдав последний экзамен, уже под грохот бомб, он, как и многие юноши его возраста, кинулся домой, в совхоз на Любанщине, где работали его родители. В день его возвращения там прошли вражеские танки. Но когда через некоторое время; появились оккупационные власти, в совхозе уже не оставалось ни одного мужчины, а в соседнем лесу разворачивал свою деятельность довольно сильный партизанский отряд.

Три года Лемяшевич партизанил. После соединения партизан с частями Советской Армии солдатом-пехотинцем пошел освобождать Европу.

Уже в те дни великого похода, когда мир стал близкой реальностью, в нем пробудилось страстное желание продолжать прерванную войной учёбу. И потому, как только после войны часть, в которой он служил, вернулась на родину, сержант Лемяшевич поступил в десятый класс вечерней школы. Не хотелось терять напрасно ни одного дня, ни одной минуты. Демобилизованный из армии, он сразу же поехал в Минский désinstitut.

В истории учебных заведений особое место займет этот период — первые послевоенные годы, когда в университеты и институты пришли усатые детины, в шрамах, на костылях, с пустыми рукавами, и многие с партийными билетами в карманах. Несомненно, разные были среди них люди, значительно более разные, чем те, кто приходит прямо со школьной скамьи. Эти всегда похожи друг на друга — у них и взгляды на жизнь почти одинаковые. А у бывших фронтовиков и партизан — у каждого своя судьба, свой путь, свои радости и горести; они за четыре года войны пережили больше, чем иные за всю жизнь. Но была у этих студентов одна общая черта: на учёбу они смотрели как на великое, кровью завоеванное право свое, как на самое большое счастье мирной жизни — и потому ценили это право чрезвычайно высоко. Людей этих не пугали никакие трудности учёбы, потому что они изведали трудности во сто крат большие: четыре года изо дня в день смотрели они смерти в глаза, голодали в блокаде, мёрзли в блиндажах. Так что им холод в аудиториях, когда это мирные аудитории с кафедрами и столами! Не пугал их и скудный студенческий паёк — дай только всласть посидеть над книгами! Старые, поседевшие на своих кафедрах профессора удивлялись: пожалуй, никогда за все время их деятельности не было студентов, которые бы с таким упорством, настойчивостью и добросовестностью овладевали наукой.

Так вот учился и Михась Лемяшевич. С первого до последнего экзамена — одни пятёрки. О нём шла слава как о лучшем студенте. Конечно, нелегко доставалась ему эта слава, как и многим из его друзей. Ни на что другое не оставалось времени. О женитьбе, например, он и не думал ни разу. Правда, были увлечения, встречи, но всё это — между прочим. Девушки уезжали на работу, выходили замуж, не оставляя в его душе заметного следа.

Уже с третьего курса он начал подумывать о продолжении учебы — об аспирантуре. На это его подбивали некоторые преподаватели и друзья-студенты: *«Учись, брат Михась, покуда не женат, пока дети на шею не сели»*.

Он видел, как легко некоторые товарищи становятся кандидатами наук, читал их диссертации, и ему казалось, что он без особого труда может написать работу, за которую не стыдно будет получить это почетное звание.

Правда, при поступлении в аспирантуру ему немножко не повезло: он окончил исторический факультет и хотел продолжать заниматься историей, но не хватило мест, и, послушавшись совета заведующего учебной частью, он пошел на отделение педагогики. Тот агитировал: *«Какая разница, Ле-мяшевич? К тому же, скажу вам откровенно: педагогика — более перспективная область. Тут ещё что-нибудь новое можно разработать. А что нового можно открыть в истории?»*

И вот прошло ещё три года. В аспирантуре он учился так же старательно, писал диссертацию о воспитании коммунистической морали у учеников старших классов и сам удивлялся, что эта работа у него идет так легко. Наконец диссертация была готова. И тогда впервые у него появилась мысль: а внесли ли в педагогическую науку хоть крупинку нового триста страниц его труда?

Кому нужен его анализ общественной работы в школе, которая официально считается лучшей, но где эта

работа такая же скучная, казенная, как и во многих других? Кому, наконец, нужны цитаты из разных постановлений, высказываний, приказов? Что общего это имеет с наукой?

Его сомнения ещё усугубились, когда он почитал рецензию своего руководителя: тот хвалил диссертацию. Но как? Есть похвалы, которые для умного человека горше разгрома, потому что он видит, что о его работе нельзя ничего сказать, кроме общих слов: *«хорошо», «достойно внимания», «шаг вперед», «вклад в науку, литературу»*. Такова была эта рецензия. Лемяшевич знал цену своему руководителю — человек доброй души, мягкого характера, но весьма посредственный ученый.

Наступили самые тяжелые дни в его жизни. Он больше не мог уже работать над диссертацией, уточнять, изучать методы воспитания встарших классах. Не позволяли сомнения, колебания, разочарования. Он потерял здоровый сон и аппетит. Ему то хотелось бросить все и поехать учительствовать куда-нибудь в глухомань, то вдруг он решал назло всем и вся защищать диссертацию в таком виде, ничего не дорабатывая и не переделывая. *«Одним бакалавром больше или меньше—что от этого изменится? А мне пора уже пристать к берегу. В конце концов я буду не самый последний из кандидатов. Может быть, и пользу ещё принесу»*.

Естественно, что в таком состоянии ему очень недоставало доброго друга, с которым можно было бы поделиться своими сомнениями и мыслями, посоветоваться. Правда, он переписывался с одним товарищем — преподавателем, но тот теперь не так уже понимал его, как в студенческие годы.

Почему-то Лемяшевичу впервые пришло в голову, что настоящего душевного друга можно найти только среди женщин. Ещё раньше он как-то обратил внимание на студентку вечернего отделения института. Это была не девчонка, а женщина почти его лет, хорошо, но просто одетая. Он некоторое время вел на её курсе

семинарские занятия и мог убедиться, что она одна из самых развитых и умных студенток. Его не смущало то обстоятельство, что она, возможно, замужем, — он не думал, что может влюбиться. Ему просто хотелось найти человека, который понял бы его лучше, чем понимали некоторые коллеги — аспиранты и молодые кандидаты, довольные своим положением. Но что-то все-таки мешало подойти к ней сразу. Несколько вечеров он сидел в читальне и поджидал последнего звонка. А потом выходил и смотрел, как она одевается, перебрасываясь шутками со своими сокурсницами. Младшие подруги обращались к ней уважительно: *«Дарья Степановна...»* — и услужливо приносили пальто.

Наконец однажды, когда было уже тепло, Лемяшевич вышел вместе с ней из института и шутливо попросил разрешения проводить её.

— Пожалуйста, Михаил... — она забыла его отчество и смутилась. — Простите...

В первые минуты она была серьёзна и официальна, как и надлежит студентке в разговоре с преподавателем при случайной встрече. И этот её официальный тон сковывал Михаила Кирилловича. Он никогда не отличался красноречием в присутствии незнакомых или малознакомых людей, тем более женщин, и сейчас говорил пустые и шаблонные слова, понимая, что выглядит нелепо, и ещё более теряясь. Дарья Степановна, видно, почувствовала это и умело и ловко перевела разговор на обыденные шутливые темы.

— Не вздумайте только влюбиться в меня, — сказала она, когда Лемяшевич немного освоился и тоже начал шутить. — Разочаруетесь.

— Почему?

— Стара. Говорят, самая старая студентка в республике.

— Вы напрашиваетесь на комплименты.

— А старухи любят комплименты.

Они подошли к большому новому дому на проспекте, и это почему-то окончательно убедило Лемяшевича, что Дарья Степановна замужняя женщина. Он пошутил:

— Скажите, где вы живете, и я скажу, кто вы. Так, кажется?

— Устарело.

— Наоборот, вполне современно… Известно, что квартиры в таких домах получает преимущественно начальство. А если вы живете на втором или на третьем этаже — тут и говорить не о чем: муж ваш не ниже замминистра… Вон там, на шестом, может быть, и есть наш брат, учитель… счастливчик… забрался под самое небо… Где ваше окно?

— Между вторым и шестым, — так же шуткой ответила женщина.

— Скажите серьёзно — вы работаете? — спросил Лемяшевич.

— Работаю.

— В школе? — Ему хотелось, чтоб она работала учительницей и жила одна.

— Нет, дома.

— Дома?!

— Разве мало у женщины, особенно матери, дома дел?
— Кто ваш муж?

Дарья Степановна рассмеялась по-девичьи весело и задорно.

— Не кажется ли вам, рыцарь, что это похоже на допрос? — И она в тон ему спросила — Кто ваша жена? Сколько у вас детей? Сколько вам лет? Вот это я понимаю — практический подход к знакомству.

Больше Лемяшевич не пробовал выпытывать, каково её семейное положение, даже благородно отказался от мысли узнать об этом другим путем — у студенток её курса или у декана. Какое это имеет значение — её положение, семейное и всякое иное? Дарья Степановна все больше нравилась ему как человек, с которым можно было интересно побеседовать. Правда, встречи их были коротки — полчаса, которые занимал путь от института до её дома.

На третий или четвертый день он поделился с ней своими сомнениями насчет диссертации и своего научного призвания. Она выслушала его серьёзно, внимательно, потом сказала:

— Я вас понимаю. Верно, и сама я на вашем месте чувствовала бы нечто подобное. Но посоветовать?.. Что я могу посоветовать? Я плохо разбираюсь в этих делах… Для меня, например, эта самая педагогика—темный лес, хотя я и сдаю её на пятерки. Должно быть, без практики и в самом деле все эти рассуждения мертвы. Но, вам не следует торопиться с выводами и решениями. Надо поговорить с людьми опытными… Хотите, я вас познакомлю с одним человеком? Он тоже кандидат…

Через несколько дней, в холодный и дождливый вечер, когда они подошли к её дому, Дарья Степановна неожиданно пригласила:

— Зайдемте к нам. Я вас чаем с малиновым вареньем напою, а то вы кашляете.

Лемяшевич поднимался по лестнице в каком-то непонятном волнении, сильно билось сердце и горели: уши.

На площадке третьего этажа Дарья Степановна, позвонила — два коротких звонка. И сразу же за дверью послышались радостные детские голоса:

— Ма-ма!

— Мама пришла!

Дверь отворилась, и девочка лет шести повисла на шее у матери, а четырехлетний мальчуган, увидев чужого дядю, отступил и недовольно нахмурился.

Лемяшевич, вдруг почувствовав, что от волнения, его не осталось и следа, весело засмеялся. Хозяйка, должно быть, поняла причину его смеха и засмеялась сама.

— Вот вам… Мать изучает педагогику, а дети до одиннадцати часов не спят. Роман! — крикнула она в комнату. — Опять ты их не уложил!

— Попробуй их уложить, они меня самого чуть не уложили, скворцы эти. — Из комнаты выглянул высокий и плотный мужчина в пижаме и шутливо прикрикнул на детей — Кыш, скворчата, спать!

— Знакомься, Роман, это Лемяшевич, — сказала Дарья Степановна, раздеваясь.

— А-а, твой верный рыцарь. — Он крепко пожал руку, коротко и четко наззал себя — Журавский. Раздевайтесь, будьте гостем. Мне жена рассказывала о вас.

Дарья Степановна занялась детьми.

— Вы чего же это не спите, полуночники вы этакие?

— А мы тебя дожидались, мамочка. Ты чего так долго не приходила?

— Ели?

— Я, мама, все съел: и яичницу, и молоко, и кашу… А Нина яичницу не ела.

— Врет, мамочка, он сам кашу не ел, его папа с ложки кормил.

— А ты чашку разбила, ага! — торжествующе объявил мальчик.

— Не я, — девочка заплакала, — она сама.

— Ну что ты такая плакса, — успокаивала её Дарья Степановна. — Я ведь знаю, что чашки сами скачут на пол.

Хозяин кивнул головой в сторону этих голосов за дверью.

— Слышите? — спросил он у Лемяшевича. — Садитесь. Тяжелое это занятие — быть мужем студентки. За целый вечер не могу газеты прочитать. Тысяча выдумок в час у каждого. Особенно у того — четырехлетнего мужчины.

Роман Карпович Журавский — ответственный работник ЦК партии, в прошлом секретарь райкома, два года назад окончил Академию общественных наук. Он в первые же минуты знакомства сообщил все это Лемяшевичу — и сделал это умело и просто, без тени похвальбы или самолюбования. Веселый и разговорчивый, он понравился Лемяшевичу: такому человеку можно рассказать обо всем и получить от него дельный совет. Они хорошо, дружески побеседовали, пока Дарья Степановна укладывала детей. Потом пили чай с коньяком и малиновым вареньем. За чаем Роман Карпович сам заговорил о диссертации Лемяшевича.

— Мне Даша говорила о ваших сомнениях. Скажу прямо: нравится мне эта ваша требовательность к себе. Кстати, не думайте, что вы первый и единственный… Я немало уже встречал людей, которые начинают сомневаться в пользе своих диссертаций. Пишет, пишет человек — и вдруг видит: не туда его толкнули, не то ему посоветовали, да и вообще — какой он к черту ученый! Компилятор, в лучшем случае — способный толкователь чужих мыслей… Чувствуете вы, что можете целиком посвятить себя науке, можете открыть что-нибудь новое?

Лемяшевич засмеялся.

— Посвятить, пожалуй что, могу. Посвящают себя и

халтурщики. Но — открыть новое? Ломоносов в моем возрасте уже открыл закон сохранения вещества и энергии… А я ещё не познал самого себя… Что я есмь?

— Это ещё не довод. Может быть, ваши сомнения — взыскательность истинного ученого, — сказала Дарья Степановна.

— Какой я ученый! Написать триста страниц о своих наблюдениях над школой, подкрепить их цитатами из авторитетов… Нет, это не наука!..

— Не каждый день рождаются Ломоносовы. Но, конечно, и маленький ученый должен что-то открывать, сказать свое слово. Вот я тоже кандидат, защищал диссертацию по экономике сельского хозяйства. Внес я что-нибудь новое своей диссертацией в экономическую науку или нет — не мне об этом судить. Но трудился я над ней с увлечением, так как сельское хозяйство — моя стихия. Я в деревне родился, вырос и всю свою сознательную жизнь работал в сельском районе… Я выбрал тему, которая меня волновала…

Лемяшевич, увидев, что Дарья Степановна собирается налить ему ещё чаю, молча прикрыл чашку ладонью. Но Журавский вытащил его чашку из-под руки и подал жене. А сам налил ещё по рюмочке коньяку.

— Что ж… выпьем за науку!

Лемяшевич поднял рюмку, но рука у него дрожала — он разволновался. Журавский, рассказывая о своей работе, как будто выносил приговор его диссертации, а в нем все-таки, при всех сомнениях, жила ещё надежда.

— Короче говоря, вы не верите, что можно быть ученым без практики? — спросил Лемяшевич, все ещё держа рюмку.

Журавский опрокинул в рот коньяк и пососал кусочек лимона.

— Налей, Даша, чайку. Исключения могут быть. А вообще — не верю! Раньше чем писать, например, о

картошке, надо посадить, прополоть и выкопать её собственными руками. Так я понимаю…

— А я думаю, — вмешалась Дарья Степановна, накладывая мужу варенье, — талантливому физику необязательно работать на заводе, чтоб стать ученым. Великие законы открывались в лабораториях.

— Верно. Но лаборатория — это та же практика. Априорные выводы проверяются наблюдениями, опытами.

— Так Михаил Кириллович тоже свои выводы проверял в школе. Школа — его лаборатория.

Журавский, почувствовав, что его рассуждения звучат упреком Лемяшевичу, который пошел в аспирантуру сразу же после института, умолк и сидел, прихлебывая чай.

— Говорят, лимон — враг чая, а мы его туда кладем… С лимоном это уже лимонный напитбк, а не чай. Смотрите, даже цвет меняется, — Журавский посмотрел чай на свет, взяв серебряный подстаканник не за ручку, а под донышко. Потом поставил стакан на стол и вздохнул. — Черт его знает! А может, вы и правы? Может быть, не всегда нужна прак-" тика, чтоб ученый мог творить… Вот я, кандидат наук… окончил академию… Меня поставили на практический участок… Уж, кажется, чего лучше! Но помогает ли мне эта практическая работа развивать науку? У меня нет времени почитать литературу… Заседания, командировки… Опять заседания… А писать… Пишу много… постановлений и резолюций… Пишу экономически обоснованно, правильно… Понимаю, что хорошее постановление — тоже дело нужное. Но я не уверен, что все эти постановления и резолюции обогащают экономическую науку…

Дарья Степановна рассмеялась:

— Утешайся тем, что когда-нибудь по твоим постановлениям напишут диссертации. Будут

цитировать их.

Это рассмешило и Лемяшевича.

Журавский встал и неожиданно опустил свою мягкую руку на его плечо.

— Ничего, Михаил Кириллович, у нас ещё в запасе вечность, особенно у вас. Не горюйте. И не сдавайтесь без боя… Не стоит. Бой можно дать и самому себе. Отступить никогда не поздно. Тащите вашу диссертацию. Почитаем, подумаем. Я когда-то тоже пединститут кончал, правда заочно. И людей воспитывать пришлось, и детей… Свои вон есть…

…Диссертацию он держал долго — месяца два.

Лемяшевич больше не провожал Дарью Степановну, но изредка, в выходные дни, заходил к Журавским в гости. Ему приятно было посидеть несколько часов в красивых, уютных комнатах с мягкой мебелью, съесть вкусный домашний обед, выпить чаю, поговорить и даже поспорить с хозяином. Роман Карпович сказал, что отдал читать диссертацию авторитетам в этой области. Однажды сообщил:

— Ну, брат, взялся за твой труд.

И в самом деле, работа лежала у него на столе. Наконец он передал через жену, чтобы Лемяшевич непременно пришел в ближайший выходной.

И — странное дело—никогда в жизни Лемяшевич так не волновался. Заходил же раньше просто так, как к добрым знакомым и друзьям. А тут вдруг почувствовал себя мальчишкой, школьником перед суровым наставником. И полчаса ходил по улице мимо дома, в котором жили Журавские, и добрых пять минут стоял перед дверью, не отваживаясь нажать кнопку звонка. Конечно, он опоздал. Журавские обедали, и у них был гость — заведующий районо из Полесья, Зыль Павел Васильевич, из того района, где, как выяснилось, Журавский работал секретарем райкома комсомола до

войны и райкома партии — после войны. За обедом гость рассказывал о делах в районе, о видах на урожай (шёл июнь), о многочисленных общих знакомых — председателях колхозов, сельсоветов, учителях, партийных работниках. Видно было, что Журавские до мелочей в курсе жизни района.

После обеда пошли в кабинет, закурили. Роман Карпович сел за письменный стол, развернул диссертацию и надел очки. Лемяшевич никогда не видел его в очках, и эта деталь придала моменту особую торжественность, у диссертанта снова сильно забилось сердце. Журавский не спеша полистал странички, потом собрал листы, выровнял, завязал тесемки на папке и, положив на нее обе руки, заговорил:

— Что вам сказать, Михаил Кириллович? Прочитал я внимательно, добросовестно. И не один я. Товарищ, которому я давал читать, авторитетный педагог, сказал коротко: *«Что ж, степень присвоят. Написано гладко...»* И я согласен с ним... Да, написано чисто, гладко. А больше сказать трудно. Вот какое дело!..

Лемяшевич вытер платком лоб и с облегчением вздохнул, вдруг почувствовав, как спокойно стало на душе.

Журавский снял очки, отчего снова принял свой обычный, простой вид, поднялся и пересел на диван — между Лемяшевичем и Зылем.

— Вот так, Михаил Кириллович. Человек вы безусловно способный, и из вас ученый выйти может. Но знаете что мне хочется вам посоветовать, пользуясь правом старшего? Поезжайте вы, поработайте годика два-три в школе. Вот, например, к Павлу Васильевичу. Ты как, Павел?

— С удовольствием возьму.

— Директором в Криницы?

— Директором?!

— А вы не пугайтесь, Лемяшевич. Это вам на пользу. Вы — коммунист. Человек образованный. Теории у вас даже больше, чем надо для директора… А деревня — курорт. Дарья Степановна родом оттуда. Мы вам дадим письмо, и вас встретят чудесные люди.

…Вот так Лемяшевич и оказался в этой школе, в этих двух пустых комнатах директорской квартиры.

Пришла наконец сторожиха, заглянула в дверь, поздоровалась.

— Так это вы наш новый директор? — спросила она, как показалось Лемяшевичу, удивленно и даже несколько разочарованно. — И это все ваши вещи? Один чемоданчик?

— Нет, ещё багаж где-то там идет. Постель, книги и все прочее. Хотя, собственно, ничего больше и нет. Я человек холостой, живу по-солдатски…

— У нас вы женитесь, — уверенно заявила женщина, развеселив этим Лемяшевича.

Была она не старая ещё, лет сорока, маленькая, подвижная, говорливая — из числа тех душевных деревенских женщин, к которым сразу, с первого знакомства, проникаешься доверием и приязнью.

— Как ваше имя? — спросил Лемяшевич сторожиху, которая переносила вазоны с цветами с одного окна на другое, расставляя их по своему вкусу.

— Дарья Леванчук. Одаркой зовут.

— А по батюшке?

— А не привыкла я, чтоб меня по батюшке величали. Я ведь не учительница. Прокоповна. А где вы столоваться думаете, товарищ директор?

— Не знаю… Сам буду стряпать.

Она повернулась и внимательно посмотрела ему в лицо:

шутит человек или вправду?.. Догадавшись, Лемяшевич нарочно принял серьёзный вид.

— Не советую я вам, товарищ директор. На что вам это? Куда вы деньги будете девать? Был у нас один учитель, который сам себе стряпал. И хотя тогда только кончилась война, жизнь была трудная, пуд картошки сто рублей стоил, а все одно над ним смеялись. Хотите, я вам такой стол найду, что за год отрастите пузо, как у нашего председателя колхоза?..

Лемяшевич засмеялся, представив, какой живот у этого председателя.

— А сегодня, — продолжала Одарка, — если хотите, пообедайте у меня. Я бы и на стол вас взяла, да бедно я ещё живу. Муж с войны не вернулся, а в хате четверо ребят… Правда, старший уже второй год в МТС трактористом. Зарабатывает понемногу, да колхоз, где он работал, ещё за прошлый год с ним не рассчитался… Помогите мне принести диван, а то я одна не сдюжаю.

По дороге в учительскую она на ходу подмела крыльцо, прибрала с дорожки горбыль, вытерла пыль с лавки и сделала ещё несколько дел, и все это так споро, что ни минуты не заставила Лемяшевича ждать. Он шел следом за ней, смотрел, как она работает, и на душе у него было необыкновенно хорошо от знакомства и беседы с этой простой женщиной.

После обеда у Одарки, которая угостила его борщом и варениками со сметаной, Лемяшевич осмотрел деревню, заглянул в сельсовет, но там, кроме почтового агента, никого не было.

Он пошел на луг, к речке. Вернулся с речки, где отлично выкупался, когда уже зашло солнце. Посидев на крыльце, он решил ещё раз осмотреть свои владения. Интереснее всего был пришкольный участок, с которым он познакомился ещё днем, когда его водил по школе Орешкин. И в самом деле, этот изрядный кусок земли, спускающийся по склону пригорка от школьного двора к ручью, был обработан и ухожен заботливо,

старательно, с любовью. Половина участка — под молодым садом. На многих из пятилетних яблонек уже поспевали редкие, но крупные краснобокие яблоки, плодоносили и сливы, как видно, были и вишни — об этом свидетельствовали сухие косточки, которые заметил Лемяшевич под деревьями.

Вторая половина пришкольного участка представляла своего рода опытное поле: тут был заведен девятипольный севооборот. На аккуратных маленьких *«полях»* росли гречиха, картофель, клевер, лен, покачивался ячмень, торчала стерня сжатой ржи. Перед каждым *«полем»*, на дорожке, пересекавшей участок, стоял покрашенный белой краской столбик с дощечкой, где было тщательно выведено, какого года поле, что и когда на нем посеяно.

Все это понравилось Лемяшевичу. Он сам раньше имел не очень четкое представление о севообороте и, сколько ни читал об этом, никак не мог запомнить чередование культур. Теперь все было на глазах и потому сразу запоминалось. Он наклонялся к надписям на столбиках, потом долго разглядывал *«поля»*. Давно уже он не испытывал такой радости узнавания. Вообще приятно было стоять здесь и вдыхать своеобразные ароматы спелого зерна, яблок, сырости, которой тянуло от ручья, дыма—хозяйки топили печи — и вслушиваться в вечерние звуки.

На улице мычали коровы. Где-то в МТС громко трещал мотоцикл, заглушая все остальные дальние звуки. В саду стояли два рамочных улья и рядом с ними небольшой соломенный шалашик. Когда Лемяшевич приблизился к нему, оттуда выглянул человек и довольно неприветливо спросил:

— Какого чёрта вы тут шатаетесь? Я за вами полчаса уже слежу. И если б вы сорвали хоть одно яблоко…

Он не договорил, что последовало бы, но и так все было ясно. Лемяшевич немного растерялся от этой неожиданной встречи и, не зная, что ответить на слова незнакомца, сказал:

— Я новый директор, — и подошел поближе, чтоб лучше рассмотреть в сумраке говорившего.

А тот весело засмеялся и, на четвереньках выбравшись из шалаша, протянул руку:

— Бушила. Учитель, который будет в вашем подчинении, товарищ новый директор.

— А-а, — невольно вырвалось у Лемяшевича, после чего он назвал свою фамилию и спросил — А что вы здесь делаете?

— Почему *«а-а»*? — дерзко спросил Бутила. — Вам говорил обо мне Орешкии?

— Нет, раньше, в Минске. Бушила коротко хохотнул.

— Хо-хо… Я и не подозревал, что я такая знаменитость, что и в Минске меня знают. Кто?

— Дарья Степановна.

— А-а, — в свою очередь протянул он и ни слова не сказал о свояченице и её муже.

Лемяшевич запомнил его фамилию из рассказов Дарьи Степановны о своей семье, но не знал, какой предмет он ведет, и спросил:

— Вы биолог?

— Нет, математик. В земле ковыряться я не люблю… Костюм не запачкаете, садитесь на солому. — И он первым не сел, а повалился на землю, молча подождал, покуда сядет Лемяшевич. — Да, да, не люблю, хотя и вырос в крестьянской семье. Но людей, которые этим занимаются, уважаю… которые любят землю, понимают её… Вообще уважаю людей, которые умеют целиком отдаться делу. Вот этот сад посадил собственными руками человек, которому пошел восьмой десяток. Он же подарил и ульи. А все остальное сделала вместе с учениками молодая учительница, биолог, Ольга Калиновна Шукай. Курите? Дайте папиросу, — Он

чиркнул спичкой, закурил. — Эта девушка умеет работать, могу вас уверить… Ростом с ученицу пятого класса, приехала — нам страшно стало: что такое дитя может сделать с нашими насмешниками и горлодерами? Жалко нам было её… А потом глядим — у девушки энергии на пятерых хватит. И знаний, и любви к делу, и хорошей скромности — всего хватает… Пока ученые мудрецы где-то там спорят, что такое политехнизация, она на практике её осуществляет. Вот как!..

Лемяшевич, посидев немного, тоже прилег на бок, чтобы было ловчей, и слушал молча, вглядываясь в лицо своего нового знакомого, который лежал на расстоянии протянутой руки. Но уже стемнело, и видеть его можно было, только когда вспыхивала папироса.

Лежать на пахучей соломе было приятно и удобно. Как-то вдруг смолкла деревня, не слышно стало ни голосов, ни шума машин, только на речке глухо стучала турбина и шумела вода. Тускло светились редкие уличные фонари, ярче — окна ближайших хат. И на небе мигали по-летнему яркие звезды.

Лемяшевич был доволен, что Орешкин не пришел звать его на ужин. Ему захотелось пролежать здесь всю ночь. Бушила нравился своей грубоватой простотой, откровенностью, а главное — приятно, что человек с таким уважением рассказывает о других людях. Не то что Орешкин.

— Да… Девушка эта — клад для школы. Она из-за этого участка и в отпуск боялась уехать. Лезут, черти… А там арбузы растут. Видели? И яблоки мичуринские. Заманчиво, Я сам когда-то был первым в набегах на сады и огороды… И одного хозяина довел до того, что он, гад этакий, влепил мне заряд соли в мягкое место… Не доводилось отведать соли таким образом? Не рекомендую… Воспоминание на всю жизнь, черт возьми!

Лемяшевич засмеялся. Из шалаша неожиданно вылезла

собака, зарычала над самым ухом.

— Пошел, Жук, к черту!.. Ложись! — крикнул на собаку Бушила и ласково попенял — Старый дурак, только сейчас чужого почуял… Да, брат, ощущение, я тебе скажу… Ранен был на войне — забылась боль… а эта, от соли, и сейчас хорошо помнится…

— А что, разве в школе нет сторожа? — спросил Лемяшевич, чувствуя, что рассказчик опять способен свернуть на какую-нибудь *«соль»*.

— Сторож — колхозник. Ему тоже трудодни надо заработать, сена получить. Вот и сторожим… Подобрали группу учеников старших классов и сторожим по очереди. Позавчера одного взрослого поймали, лодыря одного… Прохвост! Пускай бы мальчишка, а то — бородач… Сын — в институте… Жалею, что не мог угостить его солью. Больше не полез бы… Кто там ходит?

Бушила умолк, прислушался. Возле школы в самом деле кто-то ходил. Подергал закрытые двери, директорской квартиры, постоял на крыльце и, должно бьить заметив огоньки папирос, кашлянул и направился в их сторону.

— Орешкин, — узнав завуча, сказал Бушила. — Вас ищет. Но я с этим типом не желаю встречаться. Доброй ночи! — И он ловко нырнул в шалаш.

Лемяшевич поднялся, тоже не слишком обрадованный появлением Орешкина.

4

Аксинья Федосовна Снегирь — вдова, муж её, бывший районный работник, майор, погиб в конце войны. Утехой и радостью вдовы была единственная дочка Раиса. Мать очень гордилась ею, считала умницей и твердо решила воспитать девочку *«культурно»*, по-городскому. Она жила для дочери, не жалела для нее ничего — ни сил своих, ни здоровья. Аксинья Федосовна получала пенсию, на которую могла бы неплохо

прожить. Но все деньги тратились на Раису, только на неё, потому что это, мол, её деньги… Пусть же она ни в чём не испытывает недостатка! Раиса ходила в дорогих платьях, каких не носили даже учительницы, В хате у них было единственное на всю округу пианино. Его тотчас же купила Аксинья Федосовна для дочки, как только заметила её желание заниматься музыкой. Более того, мать наняла специальную преподавательницу, которая раз в неделю приходила из соседнего местечка, чтобы обучать Раису.

Сама Аксинья Федосовна работала в колхозе, и работала не просто хорошо, как многие другие, а прославилась на всю область как лучшая звеньевая, сначала по кок-сагызу, а потом по льну. Она была депутатом сельсовета и райсовета, членом правления колхоза. И везде поспевала. И в хозяйстве у нее полный порядок: чисто в хате, урожайно в огороде, богато в хлеву и на гумне. От желания сделать как можно лучше для Раисы шли все слабости матери: чрезмерная гордость, тяга водить компанию только с интеллигенцией — с учителями, районными работниками, агрономами. Ей хотелось, чтоб дочка уже сейчас чувствовала себя равной среди них. *«Чтоб не боялась поговорить с людьми, не была тёмная, как мать её»*, — говорила Аксинья Федосовна. Возможно, потому она и пригласила к себе на квартиру Орешкина, так как считала его самым интеллигентным человеком среди учителей. Правда, не обошлось здесь и без крестьянской хитрости. Орешкин играл на рояле, а поэтому, кроме непосредственной выгоды — хорошей платы за квартиру и стол, была в этом выгода и косвенная: не нужна будет теперь учительница музыки.

Гостей Аксинья Федосовна принимала нередко, делать это умела и любила. Но в тот вечер она задержалась на сенокосе, и теперь пришлось ей вертеться, как никогда. Особенно после того, как Виктор Павлович, между прочим, деликатно довёл до её сведения:

— Новый директор — человек учёный, Аксинья Федосовна, кандидатскую диссертацию защищал.

Она не обратила внимания на то, с каким ударением произнес Виктор Павлович *«защищал»*, на неё сильное впечатление произвело самое слово *«диссертация»*. Таких ученых гостей ей ещё не приходилось принимать. Поэтому Аксинья Федосовна забраковала почти всё, что до её прихода приготовила Раиса, все переделала по-своему. Сама сбегала и купила у рыбаков свежей рыбы, изжарила её на масле, с приправами. Поджарила курицу, приготовила салат и другие отменные закуски.

Двигалась эта полная, уже не молодая женщина (Раису она родила тридцати лет) медленно и плавно, — о таких говорят: *«Выступает, словно пава»*, — но, несмотря на это, работа кипела у нее в руках. Напрасно Раиса пыталась ей помочь, мать каждый раз отклоняла её помощь. Девушка слонялась по комнате без дела. Виктор Павлович уже во второй раз пошел искать гостя, боясь, как бы его кто-нибудь не перехватил. Раиса не волновалась, но любопытство школьницы — поскорей увидеть, какой он, новый директор, — становилось все сильнее, и она с нетерпением ждала его прихода.

— Ой, уже стемнело, а у меня корова ещё не доена! — спохватилась Аксинья Федосовна, доставая из печи сковороду.

— Так иди подои, а я погляжу за печью.

— Боюсь — подгорит у тебя все.

— Так давай я пойду подою. Где подойник?

— Нет, нет, Раечка! У коровы сосок болит, она не стоит спокойно. Того и гляди брыкнет.

Раиса прошла из кухни в комнату, переложила на столб с места на место вилки и ножи, потом подошла к пианино, стоя принялась наигрывать простенькую мелодию популярной песни *«Каким ты был…»*

Мать не удержалась, чтоб лишний раз не полюбоваться на дочку. Забыв обо всех делах, она стояла в проёме двери, опершись на ухват, раскрасневшаяся,

счастливая, и с умилением смотрела на Раису. Если б не работа, кажется, глаз не сводила бы она со своей красавицы! С каждым днем девушка все расцветает. И как хороша она на фоне этого черного пианино в цветистом платьице, с двумя толстыми черными косами на худеньких плечах!

Когда наконец всё было готово и корова подоена, Аксинья Федосовна забеспокоилась: почему так долго нет квартиранта и гостя?

— Раечка, пойди позови Данилу Платоновича, ему интересно будет.

Девушка охотно согласилась.

Хаты их стояли рядом, почти не отличаясь друг от друга, — старые, большие, лучшие в той половине деревни, которая не сгорела во время войны. Жили они всегда дружно, как самые близкие люди. Аксинья Федосовна всей душой любила старого учителя и после смерти жены взяла на себя заботу о нём. Раиса с детства привыкла к Даниле Платоновичу и до школы называла его дедушкой.

Данила Платонович что-то мастерил — строгал дощечку. На кухне у него стоял маленький верстак, на полочках поблескивали аккуратно разложенные инструменты: рубанки, пилки, дрель, долота всех калибров. Обычно он делал рамочные ульи и потом отдавал их в колхоз или кому-нибудь из односельчан, у кого были пчёлы или кто собирался их завести.

— Вам Наталья Петровна велела лежать, а вы работаете, — укоризненно сказала Раиса, входя.

Данила Платонович ласково посмотрел на нее поверх очков.

— Лежать, лежать! А может, мне вредно лежать? — с недовольным видом отвечал он, но Раиса знала, что это он нарочно.

— Тогда идемте лучше к нам, У нас гости… Новый

директор.

— Мне велели лежать, и я лучше полежу! — уже и в самом деле недовольно отвечал он и, сняв очки, пошел в комнату.

Раиса как-то смутилась, сейчас она чувствовала себя уже не соседкой, а ученицей. Она поняла причину его недовольства, и у нее не хватило решимости сказать что-нибудь в оправдание свое и матери. Но она робко двинулась за ним в большую комнату, где было много книг и цветов и всегда сладко пахло мёдом и травами. Возможно, что она сказала бы ещё что-нибудь, попросила Данилу Платоновича не обижать их, но её опередила бабка Наста. Этой совсем глухой старушке давно пошел девятый десяток; ещё до революции она работала сторожихой в школе, потом жила у Шаблюков.

— Раечка, медку хочешь? — прошамкала она беззубым ртом. Она спрашивала это каждый раз, и Раиса возненавидела мёд, её вопросы, да и самую бабку невзлюбила.

Данила Платонович уселся в старое мягкое кресло, посмотрел на девушку. Она стояла, опустив голову, непривычно тихая и смущенная. И он сказал уже спокойнее:

— Не люблю я этих уловок твоей матери. Человек ещё не огляделся, никто его не видел, никого он повидать не успел… Ни гордости у вас нет, ни… — Шаблюк поморщился.

— До свидания, Данила Платонович, — чуть слышно прошептала Раиса и торопливо вышла. Скверно было у неё, на душе: стыдно и горько, хотелось плакать.

Матери она грубо сказала:

— Шаблюк не придет.

— Почему?

— Не желает.

— Чего он капризничает, как дитя? Я сама схожу.

— Не надо, мама, — решительно запротестовала Рая.

— Почему?

— Ему Наталья Петровна велела лежать, и он лежит.

Мать кротко согласилась:

— Не надо так не надо. Без него веселее будет.

Лемяшевичу сначала понравилось в гостях. Давно уже он не ел таких вкусных блюд. Столовые с их однообразным меню: борщом, постными котлетами — страшно надоели. А тут что ни подавала хозяйка — как говорится, пальчики оближешь: и жареные окуньки, и яичница какая-то особенная, и налистники в масле, и ещё много разных закусок. Понравилась и сама хозяйка, этакая работящая колхозница, дебелая, сильная, которая, пожалуй, может выпить наравне с мужчинами и по-мужски обсудить любое дело. Одним словом, женщина из числа тех, о которых великий русский поэт сказал: *«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»*. Бросалась в глаза её зажиточность: в комнате новые обои, гардины на окнах, дорожки на полу, пианино. А на пианино — большой букет цветов и многочисленные фотографии знаменитых артистов, преимущественно оперных.

Но артисты эти и заставили насторожиться Лемяшевича. Вообще, чем внимательнее он приглядывался к Раисе, тем меньше она ему нравилась. Собственно, не то что она. Она красавица, совсем уже взрослая девушка. Не нравилось ему, как она себя держала. Правда, за столом она сидела молчаливая и как будто печальная или смущённая: краснела, когда к ней обращались, не поднимала глаз. Но шло это, как заметил Лемяшевич, не от скромности, а от кокетства, от самолюбования. Откуда взялось это у деревенской девушки? Орешкин? Его влияние? Но ведь он всего полмесяца у них на квартире… И притом театральными его манеры показались Лемяшевичу только при

встрече. А здесь Орешкин держался значительно проще и естественнее. Сидел за столом в синей сатиновой рубашке, пил мало и не принуждал пить ни гостя, ни хозяйку, а только заботливо угощал:

— Грибки жареные, Михаил… — Лемяшевич заметил, что уже который раз Виктор Павлович проглатывает его отчество, как будто бы забывает. — Пожалуйста… Любите собирать грибы? Здесь простор для этого занятия. Я раньше не любил, а в Криницах меня научили понимать, какая в этом поэзия… Выйдешь до рассвета… Вымокнешь в росе… Заблудишься… А?.. Раиса покажет вам лучшие грибные места.

— После дождика могут боровички пойти, — сказала Аксинья Федосовна и вздохнула: — Эх, кабы не лён, сходила бы и я с вами! Начали ленок выбирать.

— Хороший лён? — поинтересовался Лемяшевич.

— На славу уродился. Не знаем, как и справимся. Дали теребилку. Новенькую. Но работнички на ней такие, что она полдня поработала, два дня стоит…

Заговорили о колхозных делах. Возможно, что беседа затянулась бы, так как Аксинье Федосовне, видимо, пришлось по сердцу, что гость разбирается в сельском хозяйстве и всем интересуется. Но она похвалила своего председателя колхоза:

— Не вор, как некоторые… Хозяйство понимает…

А Раиса хмуро заметила на это:

— Отчего ж народ его не любит?

— Эх, Раечка! Какой народ? Лодыри.

— Почему, мама, все лодыри? Можно подумать, что одна ты работаешь.

Орешкин укоризненно покачал головой:

— Некрасиво так с матерью разговаривать, Раиса.

Аксинья Федоеовна покраснела, засуетилась.

— Ты лучше, Раечка, сыграла бы нам, повеселила. Вы играете, Михаил Кириллович?

Лемяшевич никогда даже не подходил к инструменту и с раздражением подумал: *«Семнадцать лет я учился. А чему, спрашивается, научился? Что я умею?»*

Рая охотно села за пианино.

Лемяшевич хотя не очень понимал, но любил музыку. Любил эти стройные звуки, которые вдруг заполняют твое существо и вызывают то веселое, то грустное, то задумчивое, то приподнятое настроение. Раиса играла знакомые мелодии современных песен, а это было понятно и просто. И стало хорошо на сердце.

Окно на улицу было открыто. Он стоял у окна, облокотившись на спинку стула. Когда смолкало пианино, воцарялась необычайная тишина, с улицы не долетало ни звука. Сильно пахло влажной землей. По ту сторону улицы ярко светились окна хат. Лемяшевич представил себе, как песня вылетает из окна и несется над деревней, в поле, на луг. Кто-то остановился в полосе света на улице, слушает. Не раз и сам он вот так же останавливался перед открытыми окнами на окраинных улицах Минска. Есть какое-то свое, особое очарование, часто покоряющее даже тонких знатоков музыки, в игре таких вот любителей-музыкантов. Лемяшевич задумался и не заметил, как за пианино оказался Орешкин, а Раиса вдруг запела романс:

Расстались гордо мы, ни словом, ни слезою
Я грусти признака тебе не подала.
Мы разошлись навек…
Но если бы с тобою
Я встретиться могла.

Орешкин аккомпанировал по нотам, старым, пожелтевшим. Но хороший романс звучал как-то неестественно, театрально, и Лемяшевичу стало неловко и обидно за девушку, он разозлился на

Орешкина: *«Не тому учишь»*.

Завуч, видно, почувствовал настроение гостя. Кончив аккомпанировать так же неожиданно, как начал, он пояснил:

— Даргомыжский. — И добавил — Люблю Даргомыжского.

За пианино снова села Рая, сама себе аккомпанируя, спела *«Пшеницу золотую»*.

Аксинья Федосовна сидела за столом и, подперев щеку ладонью, с любовью смотрела на дочку. *«Пой, пой, доченька, ты ж у меня самая красивая, самая разумная, и никто не поет лучше тебя!»* — прочитал в её взгляде Лемяшевич, И вдруг он услышал другие голоса, другую песню, она возникла неожиданно, без аккомпанемента. Необычайно выразительные девичьи голоса заглушили пианино. Сперва показалось, что это радио… Нет, голоса живые, близкие, сильные и задушевные. Лемяшевич выглянул в окно и увидел напротив, по ту сторону улицы, в таком же раскрытом и ярко освещенном окне двух девчат. Это они покорили его своим пением. И, должно быть, не одного его: затихла Раиса, замолкли все в комнате.

Соседки напротив пели простую народную песню, которую Лемяшевич так любил: *«Ой, не кукуй, зозуленька, поутру»*. Особенно приятно и радостно было слышать её здесь, в эту тихую августовскую ночь, когда вокруг пахнет хлебами и яблоками.

И вдруг — злой смех и раздраженный голос: — Трещат, как сороки. Слушать тошно! Фальшивят на каждой ноте…

Раиса стояла у пианино, гордо подняв голову, но на лице выступили пунцовые пятна, глаза стали маленькими и колючими.

Аксинья Федосовна вздохнула:

— Что за люди! Только Раечка запоет, тут и они… Это

назло.

— А поют они хорошо, — сказал Лемяшевич, как бы не понимая, чем возмущаются дочка и мать. На самом деле он сразу понял их *«трагедию»*: девушку убедили, что она лучшая певица, талант, и вдруг — соперницы, да такие, что не признать их нельзя, что могут и первенство взять.

Раиса, не лишенная слуха, понимала и чувствовала это и потому ненавидела их.

Вот она уже возненавидела и его, Лемяшевича, за оценку, которую он дал неизвестным певицам. Бросила презрительный взгляд—что он понимает в музыке!

Орешкин сказал, сохраняя *«объективность»*:

— Тоже наши ученицы, Михаил... Кириллович. Талантов — полна деревня.

Улицу осветили фары машины. Мимо палисадника промчалась *«Победа»*. Раиса бросилась к окну и, когда красные огоньки стоп-сигнала повернули направо в переулок, засмеялась:

— Бородка поехал.

Орешкин тоже засмеялся. Аксинья Федосовна, нахмурившись, заметила:

— Умный человек, а делает глупости, — и пошла на кухню. Виктор Павлович вполголоса пояснил Лемяшевичу:

— Секретарь райкома к нашей одной преподавательнице заглядывает, — и игриво подмигнул.

Лемяшевича это покоробило.

Возвращаясь в школу, он долго думал о людях, с которыми познакомился за день. И почему-то мысли все возвращались к одному и тому же — к ночному визиту

секретаря райкома. Как видно, об этом знают все. Смеются… Неприлично шутят, как Орешкин. Школьникам тоже все известно, в деревне ничего не скроешь. В душе росло возмущение этим человеком, которого он видел один-единственный раз, утром в райкоме, и который понравился ему там: простой, энергичный, веселый.

5

Перед началом уборки МТС получила новые комбайны. Хотя наряды на них имелись уже давно, но, как не раз это уже случалось, появление новых машин не принесло руководству станции особой радости: не хватало комбайнеров.

Срочно созвали партийное собрание. После доклада директора о положении с кадрами в МТС сидели, чесали затылки, раздумывали, как разрешить эту трудную задачу.

Директор Тимох Панасович Ращеня обмяк, вспотел, то и дело вытирал большим платком лицо и просил:

— Товарищи дорогие, не курите.

Его критиковали — он молчал. Не впервой. Да и нельзя не согласиться, все правильно. Он виноват. Но что он мог сделать? Ведь для него главное — не волноваться. А попробуй не волноваться, когда на твою седую голову— все шишки. Он тяжело вздыхает. Эх, Тимох Панасович, чего не бывало на твоем жизненном пути, но, кажется, никогда не приходилось так туго. Кабы не эта болезнь, ты мог бы ещё расправить свои широкие плечи бывшего грузчика! Да где там!.. В прошлом году Ращеня заболел и месяца два пролежал в Минске в больнице. Выкарабкался. Но на прощание профессор сказал ему: *«Главное — не волнуйтесь, дорогой Тимох Панасович, для вашего здоровья это первое условие»*.

И вот уже год, как он приспосабливает свою жизнь к этому правилу — как можно меньше волноваться. Все делает спокойно. Однако для этого надо проходить

мимо того, что задевает за живое, не замечать недостатков. И он почти научился этому. Но как-то недавно поглядел вокруг себя, на свою работу, и ужаснулся: всё катится вниз. Были сигналы и раньше, что Криницкая МТС начинает отставать: из числа первых скатывается в последние. Говорили об этом на районной партконференции. Ращеня молчал, он теперь не выступал на больших собраниях, избегая волнений. Он слушал и вздыхал. Крикунов хватает, они находились даже тогда, когда МТС занимала первое место в области и держала переходящее знамя.

Теперь он сам все увидел. Стало страшно. Он попросил Бородку поддержать его заявление об уходе.

— Совсем сдаю, Артем Захарович. Каждую ночь сердечный припадок. Пора на более спокойную должность.

Заявления он никому не подавал, но поговорил на всякий случай.

— Что ж, подумаем, — спокойно согласился секретарь. Полагаю, найдем, кем заменить, и ты без работы не останешься.

Это обидело и ещё больше испугало Ращеню: *«Значит, и в самом деле конец. В лучшем случае — заведующим какой нибудь райбазы»*.

Комбайны окончательно выбили его из колеи. Когда-то находчивый, инициативный, теперь он ничего не мог приду мать, не выдвинул в докладе ни одного конкретного предложения, наговорил общих слов. Он это понимал, чувствовал и сидел молча, только изредка вздыхал, и твердо (так ему казалось) решил: просить, чтоб освободили. Разве может он, больной человек, работать в таких условиях. Люди, кадры! А где их взять, эти кадры? И те, что были подготовлены, понемногу разбегаются: кого в армию взяли, кто на учебу ушел, а кто и в колхоз вернулся и живет спокойно — не надо портить нервы из-за простоев, ремонта, из-за запасных частей.

— Необходимо добиться, чтобы колхозы из первого же обмолоченного хлеба полностью рассчитались за прошедший год, гарантировать это людям и попросить вернуться в МТС Онисковца и Плющая. Хотя бы ненадолго, на время уборки, — говорила молодая энергичная женщина, главный агроном. — Оставить всякую гордость. Пусть начальство поедет и попросит… Люди поймут.

— Вы, как всегда, идеалистка, Вера Филипповна, — возразил главбух Иван Берестень. — Попросить можно. Но кто может поручиться, что Мохнач или Грабов рассчитаются?

— Да существует же, товарищи, закон. Надо в конце концов заставить этого Мохнача… Как это можно по году не платить людям за их труд?

— Выходит, можно, — хмуро отозвался бригадир Матвей Солодкий, который до этих пор, по своему обыкновению, не произнёс ни слова.

«Придется, верно, и в самом деле объехать всех, кто бросил работу, снять шапку и поклониться… Но ведь непременно разволнуешься», — вздыхал Ращеня.

Сергей Костянок слушал молча все эти споры. Но не потому, что они его не трогали. Они его волновали, может быть, больше, чем всех. Он злился на Ращеню, на главного механика, так как давно, ещё зимой, не однажды предупреждал их: в МТС не хватает комбайнеров, надо учить людей. С ним соглашались, но так ничего сделано и не было. А теперь — переливают из пустого в порожнее и затылки скребут.

Сергей попросил слова. Все умолкли: его уважали за добросовестность, преданность делу и настойчивость. Сергей пришел в МТС сразу же после войны, из армии. Работая трактористом, учился в вечерней школе. Потом стал бригадиром тракторной бригады. Заочно окончил сельскохозяйственную академию. Теперь это лучший механик МТС по ремонту машин.

Сергей не любил выступать и говорил всегда коротко.

— Думаю, что рассуждать тут особенно не о чем. Комбайны стоять не могут — за это нам голову снимут. Надо принять все меры. Вернуть Онисковца и Плющая во что бы то ни стало. Надо поехать и уговорить, если не умели удержать людей… И надо готовить комбайнеров.

— Готовить? Сейчас? За неделю до уборки?

— А что вы ещё можете предложить? Посадим бригадиров, все они опытные трактористы, и их не трудно будет подучить… Ничего, поработают. Надо ещё подумать. Я, например, берусь подготовить одного комбайнера… Брата моего — Алексея.

— Правильно! — обрадованно поддержали все, кто знал хлопца. — Алёша, считай, готовый механик, не хуже Сергея Степановича. Любой мотор разберет и соберет.

— Комбайн водил?

— Я учил его, когда ещё был бригадиром.

— Ничего, поведет.

Только главный механик Баранов, человек нерешительный и трусливый, спросил:

— А если *«запорет»* машину, кто будет отвечать?

— Я буду отвечать! — рассердился всегда тихий и спокойный Костянок. — Всё мы боимся, как бы чего не вышло! Человек девять классов окончил!

И Алёша Костянок стал работать на новом самоходном комбайне. Это была его мечта — самостоятельно водить такую машину. Недаром поэты называют комбайн кораблем. Алёша считал, что более поэтичного, более радостного и благодарного труда, чем труд комбайнера, нет на свете. Это увлечение росло у него с каждым днем. Он не уставал сидеть за штурвалом с утра до вечера, от росы до росы, часов по пятнадцать-

шестнадцать; комбайнеров не хватало, сменщика у него не было. Помощником работал ученик его же класса Петро Хмыз, парень молчаливый и старательный. Но водить комбайн он не умел и выполнял только вспомогательные операции — заправку, чистку. А в основном занят был на копнителе, помогал колхозницам.

Несколько раз в день наведывался Сергей, тщательно осматривал и регулировал машину. И комбайн работал безотказно. Алеше прямо петь хотелось. С высоты мостика он смотрел на поле в золотых волнах спелой ржи или пшеницы и чувствовал себя хозяином всего этого простора. Приятно наблюдать, как кланяется комбайну хлеб, как планки мотовила хватают стебли и они, подрезанные, валятся на транспортер. Дальнейшего процесса не видно, но Алёша очень хорошо себе его представляет: он ощущает всем своим существом работу каждой части сложной и умной машины. Не совсем ритмично—в зависимости от порции колосьев — шуршат жнейки и транспортеры. Ровно гудят барабан и вентилятор, постукивает соломотряс. Непрерывным потоком сыплется в бункер зерно. Алёша видит это сквозь оконце и безошибочно определяет, где хлеб более, а где менее умолотный. Приятно оглянуться и назад: там расстилается стерня, ровными рядами лежат копны соломы. Особенно приятно охватить взглядом сжатую площадь в конце дня, прикинуть на глаз — сколько гектаров? — и с удовлетворением сказать товарищу: *«Ну, брат, поработали мы с тобой на славу. Имеем право и отдохнуть». — «Ого! Еще бы не имели!»* — всегда одно и то же отвечает Петро.

Но все же больше всего радости и удовлетворения приносит самая работа. Когда комбайн взбирается на пригорок, видно далеко вокруг: деревни, луг со стогами сена, дорога, по которой одна за другой идут машины с новым хлебом. Теплый ветерок ласково целует лицо. Жжёт солнце. Но от солнца Алёшу заслоняет большой белый зонт, и он работает без кепки, в безрукавке, лицо у него светлое, а руки черные от загара.

Подъезжают бестарки. Одна из возчиц — тоже их ученица, Катя Гомонок. Алёша останавливает комбайн и любуется, как через лоток льется из бункера в кузов живая и веселая струя зерна. Катя каждый раз встречает его радостным восклицанием.

— Привет капитану! — кричит она и бросает яблоко. — Алёша, лови! За хорошую работу!

А потом сама взбирается на мостик, ахает от восторга и ласково просит:

— Алешенька, дай поведу. Пять метров!

— Ну что ты! Видишь — неровно. Испортишь.

— Загордился ты, Алёша.

Он больше всего боялся, как бы не подумали, что он и в самом деле загордился. Поэтому давал и Петру и Кате повести комбайн на гладком месте, но сам никогда не сходил с площадки управления и глаз не отрывал от педалей, которые нажимали неумелые ноги друзей. Что ж, не очень давно и он вот так же начинал под руководством брата!

Охотно он уступал штурвал только Сергею, который иногда работал часа два-три, чтобы дать Алёше отдохнуть.

Алёша часто и ночевал здесь же, у комбайна, на пахучей соломе; ему нравились эти ночевки в поле. Приятно лежать, глядеть в небо, где мигают яркие летние звезды, слушать далекие песни девчат и думать, думать о чем придется: об устройстве вселенной, о своей работе, о законах механики, о друзьях, о начале учебного года и о Рае. Иной раз, когда он ночевал недалеко от Криниц и когда в деревне молчал репродуктор, до него долетали звуки единственного на всю округу пианино. Он знал: играет Рая — и, усталый, долго не мог заснуть, радуясь и страдая от противоречивых чувств.

Обед ему обычно приносила мать, изредка Аня или

Адам Бушила. Мать тайком утирала слезы, ей казалось, что Алёша сохнет от работы. Дома она бранилась с Сергеем:

— Хлопцу отдохнуть надо перед школой, а вы его так запрягли.

— Ничего не будет твоему хлопцу. Тоже — младенец. Радуйся, что не лодырь, — отвечал за Сергея отец.

Прошла неделя, и Алёша вышел на первое место в МТС по количеству убранных гектаров. О нем написали в районной газете. Лучший комбайнер их района, из соседней МТС, Антон Староселец, два года державший первенство по области, вызвал его по телефону на соревнование. Алёша вызов принял, но никаких встречных обязательств не взял, отказался писать в стенгазету, хотя замполит не давал ему покоя. Он не считал, что должен непременно, любым способом, недосыпая и недоедая, перегнать своего соперника. Нет, Алёша, когда ему не напоминали, даже забывал о вызове, работал по-прежнему напряжённо, но ровно и за штурвалом больше думал о законах механики и о Рае. О механике нельзя было не думать — ведь скоро в школу. А о Рае он думал всегда.

Через несколько дней ему сообщили, что он *«побил»* Старосельца и идет первым по области. Это был беспокойный день, все время мешали работать. Приезжало руководство МТС, полный *«газик»*, даже бухгалтер, поздравляли, желали новых успехов. Главный механик Леонид Харитонович потирал от удовольствия руки, как будто сам он сделал что-то очень хорошее для себя и других.

— Ну, держись, Костянок, — говорил он. — Большая слава тебя ждет. Не подведи нас.

Алёша смущался и не знал, что отвечать на все это. Он не ожидал такого успеха, но был ему рад. Потом принесли телеграмму от Старосельца, от райкома комсомола, от брата, который в этот день был в самом далеком сельсовете зоны, позднее главный механик

собственной персоной привез телеграмму от райкома партии. В полдень приехали корреспонденты областной газеты. Их было трое. Один из них снимал Алёшу, комбайн, Алёшу на комбайне, комбайн за работой, бестарки. Заметив, что Катя неравнодушна к молодому комбайнеру, снял их обоих на мостике. Другой всё расспрашивал, как Алёша добился таких результатов, какие методы труда применял, как ухаживал за машиной, кто мешал ему и кто помогал; записывал все в блокнот, морщился и вздыхал, явно недовольный скупыми Алёшиными ответами. Помогать? Помогают: своевременно подвозят воду, горючее, аккуратно разгружают бункер. А главное — брат Сергей, он каждое утро осматривает машину, поэтому не было ни одного простоя.

— Ага, брат! Чудесно! — торопливо писал корреспондент. Мешать? Что могло мешать? Машина новая, МТС под боком, это не то, что в Кравцах где-нибудь, тридцать километров от станции: испортится что, так покуда съездишь да назад вернешься — двое суток пройдет.

Третий корреспондент молчал и ничего не записывал. Слушал, улыбался, приглядывался к людям, вылущивал колоски пшеницы и жевал зернышки. Катя, всегда по литературе получавшая пятерки, тайком сообщила Алёше, что это писатель, и Алёша с любопытством следил за ним. Когда корреспонденты наконец оставили его в покое, писатель тихонько спросил:

— Признайся, любишь эту девчину? — и кивнул на повозку, на которой отъезжала Катя.

Алёшу так смутил и удивил этот неожиданный и, как ему казалось, неуместный вопрос, что он не мог и слова вымолвить, покраснел весь, до ушей, уперся взглядом в незапыленный желтый ботинок писателя.

— Будь мужчиной, Алексей! Он мотнул головой: *«Нет!»*

— Не любишь? Значит, любишь другую. Ведь так? — не отставал писатель.

Алёша разозлился. Что ему до этого? Зачем сует нос в чужую душу? Выложи ему, кого любишь, кого ненавидишь, а он завтра это в рассказ или — ещё хуже — в очерк. *«Знаем мы вашего брата!»* Однако надо же как-нибудь отвязаться от него. Алёша поднял голову и дерзко ответил:

— Люблю. А вам что до того? Писатель рассмеялся.

— Ничего. Я сам, брат, люблю, и мне приятно, что я не один такой на свете.

Под вечер к комбайну пришел Данила Платонович. Работал Алексей далеко от деревни, и его удивило появление старого учителя. Он даже растерялся и не знал, как ему быть — поздороваться прямо с мостика, не останавливая ком-байка, или остановиться? Если б Данила Платонович просто прогуливался по тропинке, Алексей, возможно, проехал бы мимо. Но учитель стоял на стерне, явно поджидая его. И Алексей остановил машину, соскочил и пошел ему навстречу, за несколько шагов снял свою замасленную кепку и, как и положено школьнику, тихо и уважительно поздоровался:

— Здравствуйте, Данила Платонович!

— Здравствуй, Алёша, добрый вечер! — Учитель взглянул на солнце и протянул руку.

Алексей смутился ещё больше: впервые здоровался так с ним Данила Платонович, к тему же учитель довольно крепко сжал его пальцы, долго не выпускал их и внимател ь-но-вглядывался в лицо, как бы желая удостовериться, тот ли это Алёша Костянок, который ещё совсем недавно, года три-четыре назад, подложил под ножки стула учителя пистоны.

— Молодчина! — просто сказал Данила Платонович, переводя взгляд на комбайн и на поле. — А пшеничка — дрянь. Мохнач только хвастает.

— Шесть центнеров с гектара. Рожь была получше, — авторитетно заявил Алексей.

— Легко убирать такой хлеб, правда?

— Легко, — до наивности откровенно признался комбайнер.

— Та-ак. — Данила Платонович минуту молча осматривал машину, потом неожиданно спросил: — Ну, а про славу свою что ты думаешь?

— А ничего, — также просто и откровенно отвечал юноша, — Серьезно — ничего?

— А что ж!

— Ничего — это, конечно, не самое лучшее, однако лучше, чем задирать нос и считать себя пупом земли.

Алексея рассмешил *«пуп земли»*, а Данила Платонович почему-то серьёзно сказал:

— До занятий, Алёша, осталось двадцать три дня.

Алёша не знал, что в этот вечер в райкоме два человека писали от его имени письмо-обращение ко всем комбайнерам области. Идея эта принадлежала Бородке. Он вызвал заведующего парткабинетом Воробьева и инструктора Шаповалова, подробно объяснил, что надо сделать.

— Написать, конечно, тепло, с чувством… Поделиться опытом работы, ухода за машиной. Само собой разумеется, отметить, какую помощь оказал комсомол, партийная организация…

Воробьев попробовал возразить:

— Пускай бы сам написал, парень девять классов окончил.

— Его дело — работать, — как всегда спокойно, но твердо возразил Бородка. — Писать — наша с вами обязанность. Завтра поедешь, Шаповалов, в Криницы, Костянок подпишет письмо.

Но письмо не было подписано.

Утро следующего дня выдалось безросное, и Алексей начал работу с восходом солнца. Сначала все шло как полагается, каждая часть машины гудела на свой, знакомый до последней нотки голос, весело пело сердце комбайнера.

Но часов в девять Петро крикнул:

— Лёша! По-моему, недомолот. Погляди.

Алексей остановил комбайн, проверил солому и мякину и увидел, что молотилка и в самом деле нечисто молотит, в колосьях остаются зерна пшеницы. Это показалось тем более странным, что пшеница была сухая и переспелая, вымолачивалась легко. Стали искать причину. Алёша отрегулировал зазоры между планками секций подбарабанья и бичами барабана — первое, что делается в таких случаях. Поработал несколько минут, проверил с Петром — снова недомолот. Более того, теперь в шуме молотилки появились какие-то незнакомые постукиванья. Алёша испугался и долго проверял, подтягивал, смазывал все, что ему казалось возможным. Увеличил число оборотов барабана. Попробовал работать на разных скоростях. Одним словом, проделал всё, чему учили его брат и книги по сельхозмашинам, которых за время учёбы Сергея набралась у них целая библиотека. Но ничто не помогало. Комбайн после всех этих регулировок стал работать ещё хуже. Алексей злился на свое невежество. *«Ставишь рекорды, а машины не знаешь... Герой! И Сергея, как назло, нет»*.

Гордость не позволяла ему обратиться в МТС к кому-нибудь другому, кроме брата. Да и нет там лучшего механика, чем Сергей.

Обливаясь потом, измазанный, обессилев от злости и усталости, лежал он под машиной, когда на мотоцикле подлетел инструктор райкома Шаповалов. Хотя он пообещал Бородке выехать в Криницы на рассвете, но, завладев райкомовским мотоциклом, что не часто

удавалось, не удержался от искушения проведать свою семью, жившую километров пятнадцать в сторону от его маршрута. Конечно, дома он замешкался и теперь хотел форсировать дело. Не слезая с мотоцикла, крикнул:

— Костянок! Где ты тут? Вылазь! Алексей нехотя вылез из-под комбайна.

— Привет герою! Срочное дело к тебе, брат. Знаешь меня? Из райкома.

Он достал из полевой сумки несколько исписанных листов хорошей бумаги, скрепленных блестящей скрепкой.

— Вот, брат, надо срочно подписать, — и полез в карман за самопишущей ручкой.

Алексей протянул руку к бумагам, но Шаповалов испуганно выхватил их.

— Погоди! Ты мне все замусолишь… Ну и измазан же ты, брат. Видно, всю ночь работал?

Алексей виновато улыбнулся, вытер руки о штаны и испачкал их ещё больше.

— Документ этот исторической важности. Становись вот здесь и читай. — Шаповалов положил листы на сумку.

Алексей прочитал первые строчки текста и удивленно взглянул на уполномоченного.

— Что это?

— Как что? Твое письмо, обращение, в котором ты делишься своим опытом… призываешь других…

Алексей и в самом деле ничего не понимал…

— Зачем?

— Как зачем? — в свою очередь удивился Шаповалов и,

решив, что парень, по молодости, и в самом деле не понимает значения всего этого дела, начал терпеливо объяснять: — А как же иначе? Ты поставил рекорд, работаешь лучше, чем другие, применил некоторые новые методы… Надо полагать, что тебе и в дальнейшем хочется остаться первым. Пожалуйста!.. Но в нашей, брат, Советской стране передовики не скрывают своих методов труда. Они обязаны передавать их другим, поднимать массы… А ты как думал? Иначе какой же ты передовик?..

Алексей наконец понял, чего от него хотят, и твердо заявил:

— Ничего я подписывать не буду! — Злость и обида снова охватили его. — У меня вон комбайн стоит.

— Поломка? — испуганно взглянул на машину Шаповалов.

— Дайте мотоцикл, я в МТС слетаю.

И растерянный инструктор, при любых других обстоятельствах никому не доверивший бы райкомовского мотоцикла, послушно слез с сиденья и пожалел об этом, только когда увидел, как комбайнер поехал: не поехал, а полетел пулей…

В конторе МТС Алексей застал главного механика Баранова, и тот проявил несвойственные ему энергию и беспокойство. Не дослушав комбайнера, бросил все дела, схватил кепку.

— Поехали. Мы с тобой, Костянок, не имеем права ни минуты стоять. На нас вся область смотрит!

Главный механик был, как никогда, весел, возбужден. Но по пути от усадьбы до комбайна Алексей невольно испортил ему настроение. Он вез его с такой быстротой, что у Баранова слетела кепка, однако он не решился ни движением, ни криком попросить остановиться. Он сидел сзади, как на колу, длинный, нескладный, сгорбленный, с бледным лицом; пальцы, вцепившиеся в

дужки, посинели. Он боялся глянуть в сторону и почти не узнавал пролетавшие мимо предметы. Одна мысль стучала в голове: *«Угробит, собачий сын, угробит...»*

Возле комбайна кроме Шаповалова и Петра они увидели председателя колхоза Мохнача, низкого и толстого человека с широким красным лицом; на щеках его, точно сквозь стекло, просвечивали склеротические жилки, а глаза, и без того маленькие, заплыли, как будто он только что проснулся. Мятая, неопределенного цвета кепка и длинная вышитая сорочка, покрытая пылью на плечах, подпоясанная узенькой тесемкой, придавали ему сходство с чумаком. Он стоял у повозки, на которой приехал, и, сцепив на животе руки, вертел большими пальцами.

Лошадь, которая чем-то напоминала хозяина, кивала го ловой. Мохнач поздоровался, не поднимая глаз и не посмотрев ни на Баранова, ни на Алексея.

— А я думал, Степаныч, окончим сегодня пшеничку, в третью бригаду перейдем.

Баранов поковырялся несколько минут в машине, сел за штурвал и довольно хорошо (как отметил Алексей) повел комбайн. Следом за ним ехал на мотоцикле Шаповалов, на повозке — Мохнач. Алексей шел пешком, задерживаясь возле выброшенной копнителем соломы. Ничто не изменилось: вымолот плохой. Крикнуть, чтоб остановился, не портил добро! Но Баранов сам остановился в конце поля.

— Комбайн работает нормально, — сказал он и вытер соломой руки, как бы заявляя этим: *«Я свое дело сделал»*.

— Нормально? — удивился Алексей. — А вы поглядите солому! Сколько там зерна остается!

Все подошли к соломе, начали разгребать её, мять в руках. Баранов надел очки.

— Я человек слепой, ничего не вижу. Разве какое-

нибудь недозрелое зернышко… По-моему, нормальный процент потерь. Как вы считаете, Потап Миронович? — обратился он к председателю.

Мохнач ласковым голосом стал улещать Алёшу:

— Степаныч, два дня простоит — больше поверяем. Или, помнишь, жнейками жали?.. Сколько теряли тогда!..

— Потому без хлеба и сидели, — со злостью сказал Але ксей.

— А если не уберем, пока погода, сколько потеряем! — по инерции закончил мысль Мохнач, замолчал, вытер грязноватым платком вспотевшую лысину и, подумав — лицо его стало сердитым, — раздраженно ответил на реплику Алексея — А без хлеба — это ты брешешь… Без хлеба вы при мне не сидели.

Сказал, повернулся и пошел к повозке. *«Разбирайтесь сами, не с меня, а с вас спросят за простой комбайна!»*

— Так вы считаете, что машина в порядке? — спросил Шаповалов Баранова.

Тот пожал плечами.

— У каждой машины свои возможности. Она работает, как работала с первого дня…

— Неправда! — решительно возразил Алексей. — Раньше она не оставляла ни зерна.

— Это вам кажется. Вы в первый раз проверили.

— Я в первый раз проверил?! — возмутился Алексей.

— Я сегодня утром проверял. А потом Петро заметил… Вызывайте Сергея!

Баранов не любил молодого механика, и требование вызвать его, чтоб он отремонтировал комбайн, задело

его самолюбие. *«Братом козыряет… А брат на мое место метит, на каждом собрании критикует…»*

— Вы, Костянок, молоды ещё… У вас голова закружилась.

— В самом деле, — подхватил Шаповалов. — Что ж это вы, товарищ Костянок! Мы вас поддерживали, выдвигали… А вы нас подводите! Да знаете ли вы, что от вашего простоя страна в десять раз больше потеряет, чем то, что вы теряете там, в соломе?

Алексею стало смешно, что двое взрослых людей так его уговаривают. Шаповалов понял его улыбку по-своему и дружески хлопнул парня по плечу.

— Садись, Алексей Степанович, и нажми… удиви мир… Чтоб врагам тошно стало… а друзьям радостно! Подписывай письмо! Вызывай!

— Ничего я не буду подписывать и не сяду, покуда не отремонтируют, — хмуро ответил Алёша и отошёл к комбайну.

Шаповалов, так же молча, как Мохнач, направился к своему мотоциклу. Через мгновение на все поле затрещал мотор. Инструктор мчался по направлению к МТС.

— Что ж, посмотрим ещё раз, — затаив обиду и злость на мальчишку, примирительно предложил Баранов.

Они начали искать неисправность.

А Шаповалов тем временем по телефону разыскивал Бородку. Ему посчастливилось найти секретаря в конторе *«Заготзерно»*. Он подробно сообщил обо всем, что случилось, и в заключение сделал неожиданный вывод:

— Боюсь, Артем Захарович: не поработал ли здесь враг?

В ответ Бородка выругался. Он не любил дураков и слишком хорошо знал семью Степана Костянка. Но

вместо того чтобы прямо сказать это инструктору, сурово спросил:

— А вы там зачем? — И так же сурово приказал: — Немедленно обеспечьте бесперебойную работу комбайна! И чтоб через два часа письмо лежало у меня на столе. Понятно? — и бросил трубку.

В воинственном настроении Шаповалов помчался обратно в поле.

Комбайн стоял.

После ещё одной пробы главный механик и сам убедился, что машина действительно неисправна. Но он не мог найти повреждения и, сконфуженный, разозлённый не меньше, чем Шаповалов, думал, как, не уронив достоинства, сбежать отсюда, вернуться в контору и под каким-нибудь совсем другим, выдуманным предлогом вызвать Костянка-старшего. Пускай разбираются сами! Недаром он, Баранов, был против того, чтобы этому мальчишке доверяли комбайн. *«Как нахально он смотрит на меня!.. Смеется в душе, молокосос, что я ничего не могу сделать...»*

Алексей не смеялся, возможности главного механика ему давно были известны. Ему просто было горько и обидно.

Баранов обрадовался появлению Шаповалова и промолчал, когда инструктор приказал Алексею немедленно начать работу.

— На комбайне работать нельзя, — спокойно сказал Алексей.

Шаповалов вскипел:

— Ты откуда такой взялся? Подумаешь, профессор! Механик говорит, что можно, а тебе — нельзя! Знаем мы это *«нельзя»*! Старые штучки антимеханизаторов! — Но, верно, вспомнив, что ему придется ещё иметь разговор с этим упрямцем насчет письма, сбавил тон, стал приветливее и мягче — Вы человек молодой,

Костянок, и не знаете, чем такие вещи пахнут…

— Чем? — с любопытством спросил Алексей.

— Чем? За срыв уборки в горячее время — разговор короткий: под суд.

— Меня — под суд? — Алексею стало смешно.

— А ты что думал? Тебя — так по юловке погладят! Герой нашелся!

Улыбка исчезла с лица Алексея. Он взглянул на Баранова, но тот отвернулся, как будто не слышал, о чём идет речь. У парня в глазах запрыгали бешеные огоньки, грязные кулаки судорожно сжались.

— Не будьте дураком, Костянок, — изменил тон Шаповалов.

Алексей шагнул к нему.

— Пускай я буду дураком… А вы умники… И пошли вы… — он грубо, по-мужски выругался и, повернувшись, быстро зашагал по стерне куда глаза глядят.

Он не помнил, сколько времени пролежал здесь, на сухом песчаном берегу реки. Его привела сюда мысль: выкупаться, смыть с себя всю грязь и пойти домой. Но желание это пропало, когда он подошел к речке. Алексей почувствовал усталость, какое-то равнодушие ко всему, лег на траву и, закинув руки за голову, устремил взгляд в бездонную синеву неба. На душе было очень скверно, так скверно, что хотелось плакать. Особенно тяжело делалось, когда вспоминал, как он выругался. Провалиться сквозь землю от стыда и позора! Лучший ученик, спокойный, уравновешенный, от которого грубого слова никто не слышал, — и вдруг такое неуважение к старшим. Пускай Баранов бездарный механик, но у него седые виски и дети уже в институтах учатся. И этот второй? Хотя он и моложе Баранова, но ведь — представитель райкома… А он, мальчишка, не постеснялся послать их… Гадко вспоминать слова, которые у него вырвались. Ещё

тяжелей было от мысли, что теперь несомненно его и близко к комбайну не подпустят. Он закрыл глаза, и перед ним встали красавец комбайн и безграничное поле пшеницы — высокой, колосистой, куда лучше той, которую он убирал. А Петро молчун и слова не вымолвил, как будто бы и не было его. Что он расскажет Кате, товарищам? Приедут бестарки, а комбайн стоит. Где Алёша? Выгнали. Выгнали за грубость, самомнение. Загордился, зазнался. По всей деревне разговоры пойдут.

Неизвестно, сколько бы ещё он так пролежал, если б не услышал знакомый смех и голос. Алексей приподнял голову. По тропинке вдоль речки шли Раиса, Орешкин и незнакомая девушка, должно быть новая учительница. Она что-то весело рассказывала.

У юноши сильно забилось сердце. Ему давно уже хотелось поговорить с Раисой, но он никак не мог встретиться с ней, хотя все последние дни приходил по вечерам в деревню, прохаживался под окнами её хаты, насвистывал, чтоб Рая услышала. В другое время он бы счел за лучшее спрятаться, чтоб не попасться на глаза Орешкину. Но сегодня у него был необыкновенный день, и сам он стал другим, каким-то новым, решительным, несдержанным.

Когда они прошли мимо, он поднялся и нарочно громко позвал:

— Рая! Можно тебя? На два слова.

Они все оглянулись, но Орешкин и учительница пошли дальше. Раиса остановилась, покраснела и растерянно посмотрела на него, потом вслед ушедшим, не в силах решить, что ей делать — поговорить с ним или догонять своих спутников.

— Гуляем? — дерзко и насмешливо спросил Алексей, приблизившись.

Раиса не ответила. Но он не мог оторвать от нее взгляда, не мог не любоваться ею. Кажется, никогда

ещё не видел он её такой красивой. Как к ней шло вышитое платье, и цветок георгина в нагрудном кармашке, и даже простые жёлтые тапочки! Куда девалась его дерзость!

— Я хотел поговорить с тобой, Рая, — нерешительно сказал он. — Я давно хочу повидаться с тобой, но ты все… занята, тебе все некогда…

Она подняла глаза, и взгляды их встретились. Она поняла его по-своему.

— Ты не можешь простить, что я не работаю… Но ведь я не умею комбайн водить… И не хочу! У каждого свои таланты…

— Да я не о том. Я сам бросил комбайн… — Бросил?

— Я… Знаешь, Рая, не нравится мне, что этот слизняк, — кивнул он в сторону Орешкина, — этот Хлестаков к вам перебрался жить…

— Ой! — ужаснулась она.

— Зачем ты пустила его? — с угрозой спросил Алёша.

— Я пустила?.. Чего ты пристал ко мне? Не я в доме хозяйка. Мать…

— Неправда! Если б ты не захотела, мать никогда не пустила бы. Ты же матерью командуешь.

— А что тебе до меня и до моей матери?

— Рая! Ты знаешь…

Он потянулся к ней, хотел прикоснуться к её руке. Но она брезгливо отшатнулась, поморщилась.

— Отстань! Хоть бы умылся. На тебя гадко смотреть. Эти слова так больно резанули Алешу, что он онемел от обиды, в горле застрял соленый комок, а глаза наполнились слезами. Раиса подождала и, не дождавшись ответа, пошла догонять товарищей. Но не

сделала она и трёх шагов, как Алёша в отчаянии крикнул: *«Эх!»* — и со всего разгона бросился с крутого обрыва в речку.

Рая услышала, как всплеснула вода, обернулась и увидела расходившиеся по поверхности круги и плывущую вниз по течению Алёшину испачканную мазутом кепку. Крик ужаса вырвался из её груди.

Орешкин и учительница, отошедшие уже довольно далеко, остановились и окликнули её:

— Ра-ая! Что-о там тако-ое?

Но она не могла произнести ни слова и не сводила глаз с реки, где кружилась кепка. И вдруг у другого берега снова всплеснула вода и вынырнула голова Алеши. Он фыркнул и схватился руками за ветви ракиты, низко склонившейся над рекой, подтянулся; с его майки и штанов стекала вода.

Тогда Раиса захохотала и бросилась бежать к ожидавшим её учителям.

Алёша услышал этот хохот и, выбравшись на берег, снова безжалостно выругал себя. Дурак, дурак! Мальчишка! Он представлял себе, как Рая рассказывает Орешкину и незнакомой учительнице о том, что он кинулся в речку, и сгорал от стыда.

В таком состоянии он вышел на поляну, сбросил мокрую одежду, чтоб просушить её, и, лежа в одних трусах, казнил себя, что начал этот разговор.

Однако все эти переживания не помешали ему заснуть, и он часа два крепко проспал на солнцепеке. Проснулся с чувством облегчения на душе, как будто во сне все забылось. Солнце перевалило за полдень, поляну укрыла тень могучих дубов, под которыми он лежал. Дубы стояли молчаливые, торжественные, ни один листок не шевелился. Было душно, парило от земли, щедро напоенной вчерашним дождем. Стучал дятел. Не давали покоя мухи.

Вдруг Алёша услышал стрекотание комбайна. У него заколотилось сердце. Все кончено, кто-то другой работает на его машине, а его теперь и близко не подпустят к ней. *«Что я наделал?»*

Он оделся, вышел на опушку, к речке, но дальше не пошел: стыдно было встретиться с людьми.

Комбайн умолк, и вскоре Алёша услышал у речки голос брата. Сергей звал его. У парня отлегло от сердца: значит, работал не кто иной, как Сергей, и, конечно, комбайн он отремонтировал, иначе не искал бы его, Алёшу. Ему хотелось кинуться навстречу брату. Но он сдержался, только вышел из лесу и, пройдя по лугу так, чтоб Сергей заметил его, лег под кустом.

Брат подошел с каким-то незнакомым человеком. Невысокий, худощавый, с резкими чертами лица и острыми чёрными глазами, на первый взгляд показавшимися суровыми и колючими, человек этот испытующе, внимательно приглядывался ко всему окружающему. Алёша подумал, что это ещё один корреспондент, уже из какой-нибудь столичной газеты.

— Полюбуйтесь! Я так и знал, что он где-нибудь отлеживается и в ус себе не дует! А я летел из Кравцов, чуть голову не сломал, — с возмущением сказал Сергей, указывая своему спутнику на Алексея. — Работнички! На пять минут ремонта, а они весь район на ноги подняли… политику развели…

Алёша молчал. Они сели на траву рядом с ним. Незнакомец с хорошей улыбкой разглядывал братьев, как бы сравнивая их, глаза его теперь не казались уже такими колючими. Сергей, хотя и возмущался, тоже с интересом смотрел на Алёшу, как будто год его не видел. Он до сих пор считал Алёшу мальчиком, тихим, скромным, который даже на младших редко повышал голос. И вдруг мальчик этот показал зубы. *«Матюком, сукин сын!»* — вспомнил он, как кипятился главный механик. Сергей в душе был доволен, что Баранову пришлось проглотить такую пилюлю. Поделом ему, растяпе! Но как этот мальчишка, его брат, позволил

себе такую вы ходку со взрослыми? Этого так оставить нельзя!

— Ты, брат, оказывается, и впрямь герой. Ого! Я и не заметил, когда ты таким стал… Ты скоро всех пошлёшь… Постыдился бы! Школьник!.. Молоко на губах не обсохло!.. Вот попрошу отца, чтоб он показал тебе, где раки зимуют.

Алеше не хотелось оправдываться, но и слушать это было неприятно, стыдно при чужом человеке. Как бы это перевести разговор на другое? О чем бы у Сергея спросить? И вдруг вспомнились корреспонденты. Алёша лег на спину, со вкусом потянулся и, улыбаясь, неожиданно сказал:

— Ты, Серёжа, скажи лучше, когда ты женишься на Наталье Петровне?

Сергей поперхнулся на полуслове, смутился до смешного, начал заикаться:

— Ты-ы б-бездельник… б-болтун!

И вдруг, то ли с умыслом, то ли для того, может быть, чтобы скрыть свое смущение, Сергей повернулся и сказал:

— Вот познакомься лучше… Новый директор нашей школы Михаил Кириллович.

Алёша подскочил, как будто его укололи. Встал на колени и залился краской, не зная, что делать, как после всего, что директор узнал, что здесь слышал, смотреть ему в глаза. Какая суровая кара за все его сегодняшние подвиги!

— Ничего, Алексей. Но от комбайна ты сбежал напрасно. Надо нагонять простой. Тут личным обидам не место, дело общественное.

— Я — нагоню, — тихо, как школьник, опустив глаза, пообещал Алёша.

— Михаил Кириллович будет у нас столоваться, — сказал Сергей, чтоб завершить знакомство.

6

Лемяшевич никогда не думал, что так много разных обязанностей у директора школы.

Правда, Орешкин утверждал, что новый директор сам выдумывает себе дела. Например, с ремонтом. Школа отремонтирована. Чего ещё надо? Но Лемяшевич забраковал все и дал сведения в районо и облоно, что школа не отремонтирована. Сведения эти всех переполошили: середина августа, а одна из крупнейших школ района не готова! Провал! Приезжала комиссия. Долго ходили, крутили носами — склонны были заключить, что школа все же отремонтирована. Лемяшевич злился:

— Какой же это ремонт? До каких пор мы будем содержать в таком состоянии наши школы и клубы? Не первые же это послевоенные годы! Товарищи! Хватит прибедняться! Школа — культурный центр на селе, и она должна быть образцом для всех остальных учреждений.. — А оттого что *«образец»* имеет такой вид, посмотрите, в каком состоянии колхозный клуб! Стыд и позор! И это в деревне, где есть электричество, радио!.. Надо сломать такое отношение… И я не отступлю…

Он нарочно высказался так резко, решительно. При осмотре присутствовал председатель райисполкома Волотович, спокойный и тихий человек. Он и здесь держался на втором плане: ходил позади всех, разглядывал все внимательно и долго. И вдруг, удивив не одного Лемяшевича, председатель райисполкома поддержал нового директора. Он заговорил, отковыривая от стены в коридоре затвердевшие потеки какой-то едкой коричневой краски.

— У Чехова где-то сказано… Не помню, в какой вещи… — тихо начал Волотович.

И все остановились и обернулись к нему, заинтересовавшись: что Чехов мог сказать об этих стенах?

— Дословно не помню, но примерно… О настроении студентов… Настроение это зависит от окружающей обстановки, и потому студент должен видеть вокруг себя только высокое, прекрасное, могучее… Не дай боже ему смотреть каждый день на разбитые стекла, ломаные двери и вот этакие стены, — он ткнул в стену пальцем. — Это о студентах. А если перенести на школьников, на детей… Какое у них будет настроение, товарищи педагоги?..

У Лемяшевича возникло желание ответить на это: *«А где вы были раньше, хозяин района? Почему до сих пор этого не видели?»* Но Волотович смотрел такими добрыми глазами, говорил с такой искренностью, что у Лемяшевича не хватило решимости съязвить — есть люди, с которыми невозможно быть дерзкими или грубыми.

Представитель облоно, председатель комиссии, развел руками:

— Ну, если хозяин района так считает, то — пожалуйста, ремонтируйте, воля ваша, деньги ваши… Только — чтоб все было готово к учебному году.

— Ох, деньги, деньги! — вздохнул Волотович. — Денег-то нет. Ну, ничего, товарищ Лемяшевич, ломайте и делайте, как надо. Поддержим!

С того дня Лемяшевич вертелся как белка в колесе. Не раз пришлось съездить в райцентр за двадцать пять километров, чтоб получить деньги. Никогда он не думал, что даже такая простая вещь потребует столько времени и усилий. То он не заставал Волотовича, то не было заведующего райфо, то банк не принял подписей. Не легче было и на месте. Орешкин, конечно, обиделся, что забраковали его работу, расценил это как подкоп под его авторитет и на простосердечную просьбу Лемяшевича помочь подготовить школу как следует

ответил;

— Дорогой Михаил Кириллович, я три года не отдыхал… Я работал как вол… Конституция дает мне право на отдых. Разрешите воспользоваться этим правом.

«Отдыхай, лодырь! — подумал Лемяшевич. — Переутомился ты, бездельник этакий! Обойдемся и без тебя».

Орешкин, должно быть, нарочно проходил каждый день мимо школы — чистенький, прилизанный, опрысканный крепкими духами, запах которых слышен был за двадцать шагов. Ходил он не один — с Раисой и молодой учительницей Ядей Шачковской, беззаботным существом, хохотушкой, которая всюду чувствовала себя как дома. Что касается Шачковской, то Лемяшевич ничего против не имел: пускай ходит с кем хочет. Но ум и сердце его протестовали против взаимоотношений завуча с Раисой. Это был интуитивный протест, не подкрепленный никакими педагогическими формулами. А Лемяшевичу хотелось найти эти формулы, писаные или неписаные; они могли бы дать ему право требовать от Орешкина иного обращения со школьницей. Правда, ему совсем не хотелось с самого начала портить отношения с завучем.

Более энергично протестовал против прогулок Орешкина Бушила. Увидев завуча, он не жалел крепких слов: *«Лодырь… Интеллигент липовый! Дрянцо…»* И Лемяшевичу приходилось умерять красноречие молодого учителя.

Бушила добровольно стал активнейшим помощником в подготовке школы к учебному году, хотя официально тоже числился в отпуске. Вторым таким помощником, спокойным, мудрым и опытным, оказался Данила Платонович, Лемяшевич, приехав в Криницы, по-разному знакомился с людьми — с преподавателями, колхозниками, работниками МТС. Но, пожалуй, самым интересным вышло знакомство с Шаблюком. Вместе с Орешкиным, по его предложению, они зашли к Даниле

Платоновичу.

— Увидите, до чего может дойти учитель, когда он долго сидит на одном месте, — посулил Орешкин.

— Посмотрим, — сказал Лемяшевич; за три дня он успел услышать о старом учителе столько хорошего, что теперь не верил ни одному слову завуча.

Хата у Шаблюка старая и чуть не самая большая в деревне — с тремя широкими окнами на улицу, без ставен, без резьбы на карнизах, но в добром порядке. Во всем чувствовался хозяйский глаз и умелые руки. Перед хатой не было цветника, а росли два молодых, похожих как братья друг на друга клена с глянцевитыми стволами.

Цветник был во дворе, но не под окнами, как обычно, а поодаль; вдоль него тянулась густой грядой черемуха, свешивающая свои ветки через невысокий заборчик в соседний двор. В цветнике, окруженном штакетной оградой, среди разнообразных цветов больше всего было мяты и резеды. У побеленного сарайчика возвышалась, господствуя над всей деревней, старая липа, укрывшая своей тенью половину просторного двора. Может быть, двор казался таким просторным из-за необычайной его чистоты: нигде ни соринки, всюду под метено, посыпано чистым песком. Под навесом стояли диванчик, верстак, лежали аккуратно сложенные остроганные доски, а на стене висел разный столярный инструмент: пилы, рубанки, циркули, стамески. И пахло в этом дворе не хлевом, не скотиной, хотя где-то в сарайчике и похрюкивала свинья, а мятой, свежей сосной и липовым цветом.

Они не зашли в дом, так как увидели хозяина в саду. Сад начинался сразу же за сараем зарослями малины, густой и высокой, соблазнительно манившей крупными переспелыми ягодами. Кусты малины и крыжовника посажены были и вдоль боковой ограды, но там их заглушали вишняк и желтая акация, редкая в этом районе Белоруссии. Плодовые деревья росли посередине — старые раскидистые яблони и высокие

груши. Прозрачный налив, восковой шафран, зеленая путинка, ребристая крупная антоновка, темно-красная *«цыганка»* и другие сорта яблок, которых Лемяшевич не знал и названия, так густо усыпали ветви, что чуть не под каждую была подставлена подпорка. Под яблонями расстилалась заманчивая тень. Так и тянуло лечь на зеленую, свежую, как ранней весной, траву. В конце сада виднелся дощатый шалашик, вокруг него в строгом порядке размещались рамочные ульи. Там и стоял Данила Платоиович, внимательно разглядывая рамку. У его ног поднимался легкий белый дымок — курился дымарь. Издалека было слышно, как гудят потревоженные пчелы. Пчелы звенели в воздухе над головами гостей.

— Подождите, пока закроет ульи, а то искусают, черти, — предупредил Орешкин, останавливаясь посреди сада. Увидев, с каким интересом Лемяшевич оглядывает владения старого учителя, он иронически заметил: — Поместье. А?

— Нет, просто хороший сад, каких у нас, к сожалению, мало еще, — ответил Лемяшевич.

Орешкин промолчал. Осмотрев еще две-три рамки, Данила Платонович закрыл улей, взял в руки дымарь и направился к шалашу. Они пошли ему навстречу. Старик вежливо поздоровался, снял шляпу. Он догадался, что пришел новый директор. Такое внимание к нему, *«отставному учители»*, как он себя называл, не могло бы не тронуть его, если бы директор пришел один. Но Данила Платонович был уверен, что инициатива визита принадлежит Орешкину и привёл он директора не для того, чтобы их познакомить, а чтоб показать ему *«кулацкое хозяйство»*. Шаблюк знал, как Орешкин при случае отзывался о нем.

А Лемяшевич, поближе приглядевшись к старому учителю, на миг растерялся. Ему показалось, что он уже встречал этого человека раньше. Только неуверенность в своей памяти — такая неуверенность свойственна многим — помогла ему сдержаться и не выдать своего удивления. Но как только Шаблюк

заговорил, он твердо убедился, что так оно и есть — они встречались. И хотя было это десять лет назад, Лемяшевич отчетливо вспомнил и место встречи и обстоятельства. Старик с тех пор почти не изменился, только одет иначе. Тогда он был в лаптях, в штанах грубого, домотканого холста, крашенного в какой-то нелепый темно-зеленый цвет, — другой краски, верно, не было, — и в линялой, с заплатами на плечах и локтях, гимнастерке...

Орешкин познакомил их.

— Отлично, — сказал старик, пожимая руку, и непонятно было, к чему это относится — к новому ли директору или к чему-то совсем другому, может быть к своим каким-то тайным мыслям. Потом взглянул с некоторым интересом, более приветливо и спросил: — Как вам понравилась наша школа?

— Школа хорошая, но отремонтирована плохо, — отвечал Лемяшевич.

Орешкин криво, улыбнулся.

— Михаил Кириллович все меряет на городской аршин. А у нас — Криницы.

Он сказал это так, словно Криницы — что-то совершенно ничтожное, мелкое, не достойное внимания.

Шаблюк нахмурился.

— Да, у нас — Криницы! — совсем иначе, с уважением, с гордостью, повторил он. — И стыдно вам, молодой человек, что у нас такая школа. Довели! А я сам, вот этими руками, — он показал свои широкие, морщинистые и шершавые ладони, — строил её до войны. И какая была школа!

Теперь он обращался к Лемяшевичу, и глаза его под очками стали ласковыми. Лемяшевич с радостью увидел, что откровенные слова его о школе вызвали у старого учителя симпатию к нему, своему молодому

коллеге.

— Стыдно учителю не любить свою школу! А вы, Виктор Павлович, уже не новичок, человек способный, а любить школу не научились.

Орешкин неестественно рассмеялся.

— Данила Платонович непрерывно меня критикует… Из уважения к вашему возрасту я молчу. А я мог бы кинуть камешек и в ваш огород… А?

— Не камешки надо кидать, а смело говорить правду в глаза. А у вас только смелости и хватает — из-за угла камень кинуть.

Орешкин смутился, он, должно быть, проклинал ту минуту, когда ему пришло на ум привести сюда Лемяшевича.

— Вы несправедливы ко мне, Данила Платонович, — сказал он обиженным тоном.

— Что ж мы стоим? Присядем, — гостеприимно пригласил вдруг хозяин и первым направился к лавочке, стоявшей в тени шалаша.

Усевшись, Шаблюк проговорил, должно быть отвечая Орешкину:

— Я в два с половиной раза старше вас.

Над их головами закружилась, зазвенела пчела. Орешкин испуганно замахал руками. А старик медленно провел рукой в воздухе, ласково сказал:

— Пошла, глупая!

И пчела, как бы услышав голос хозяина, послушно отлетела.

Данила Платонович спросил, женат ли Лемяшевич, и, получив отрицательный ответ, недовольно покачал головой:

— Поздно женится наша молодежь. Плохо. Моему старшему сыну уже пятьдесят лет. Полковник... Где же вы собираетесь жить, столоваться? — И, узнав, что у Степана Костянка, одобрил: — Хорошую семью вам выбрали. Счастливая семья, — и улыбнулся каким-то своим мыслям. — Видно, понравились вы Степану, а то — не любит он столовников.

— А я к ним с рекомендательным письмом от Журавских. Кстати, вам от них привет.

— Спасибо, спасибо. Даша — моя ученица. Где только нет моих учеников! — В голосе его прозвучала гордость.

Поговорили еще о том о сем, но настоящей душевной беседы не получалось. Чувствовали себя, как пассажиры, познакомившиеся в ожидании поезда. Орешкин нетерпеливо ерзал на лавке, выбирая удобный момент, чтоб попрощаться. Да, видимо, и хозяин тоже был не против того, чтоб скорее выпроводить непрошеных гостей, — он не тушил дымарь, а даже раза два нажал на мехи, выпустив на Орешкина клубы белого пахучего дыма. Но Лемяшевич и не собирался уходить, не поговорив о том, что его сейчас больше всего занимало.

Воспользовавшись паузой, он тихо сказал:

— Разрешите мне, Данила Платонович, рассказать один эпизод из моей короткой биографии. Сидел, знаете, вспомнил, и очень захотелось рассказать...

Орешкин поморщился.

Шаблюк несколько удивленно, однако с интересом посмотрел на молодого директора.

— В мае сорок третьего года одна партизанская бригада была блокирована у Днепра. Другая шла ей на помощь. Но недалеко от ваших мест, в районе Глинища, гитлеровцы навязали нам бой. Силы у карателей были большие, и бой затянулся. Тогда командование совершило маневр: оставив заслон продолжать бой,

неожиданно повернуло главные силы бригады в другом направлении. Но, изменив маршрут, отряды попали в незнакомые нам болота. Надо было выяснить дорогу, найти проводника. Послали разведку — небольшой конный отряд, в котором, кстати сказать, был и ваш покорный слуга. По карте и по рассказам жителей нам предстояло одолеть непроходимое болото, тянувшееся на несколько километров. Из двухлетнего опыта мы знали, что непроходимых болот нет. Хороший местный проводник — и любое болото будет пройдено. Стали искать такого проводника… Деревня, как мне помнится, называлась Замостье…

Лемяшевич рассказывал спокойно, ровно, ни на кого не глядя, но в этом месте не сдержался, посмотрел на Шаблюка. Старик сидел молча, устремив взор в глубь сада. Орешкин зевнул.

— Мы выбили из деревни отряд полицейских… Это, как вы знаете, лучший способ доказать населению, запуганному провокациями, что мы действительно советские партизаны. После такой операции нетрудно найти связных местных отрядов. Но связные в Замостье оказались людьми комсомольского возраста и болота не знали. Однако они единодушно заявили нам: провести через болото может только один человек — их старый учитель. Мы пошли к нему. Оказывается, у учителя гостил его давнишний друг, с которым они лет сорок назад вместе начинали свой жизненный путь. Одним словом, учителя провели нас к самому Днепру… И как провели! Обойдя все вражеские заслоны, все опорные пункты. Добрых пятьдесят километров мы прошли за сутки, и наши проводники были всё время впереди…

Данила Платонович вдруг положил свою ладонь на руку Лемяшевича, взволнованно улыбнулся:

— Довольно. Дальше уже неинтересно.

Михаил Кириллович в свою очередь с благодарностью сжал руку старика.

— Да, дальше неинтересно. Я только упомяну еще об

одной детали... Только потом нам стало известно, что оба учителя — связные той бригады, которой мы помогли прорвать блокаду и разгромить карателей.

Орешкин вскочил, даже перевернул дымарь.

— Данила Платонович! Да вы герой, оказывается! А молчали... Ай-ай, как нехорошо! А? Жили вместе, работали. И вы молчали... Да о вас поэмы надо писать!

Шаблюк поднял дымарь и, старательно растирая ногой угольки, недовольно проворчал:

— Какие там поэмы! Да и не вам их писать! — И весело обратился к Лемяшевичу — Идемте, я вас медовой брагой угощу. Напиток, я вам скажу, царский, по старинному русскому рецепту.

Через день Шаблюк пришел в школу и, оставшись с Лемяшевичем наедине, заговорил:

— Не могу, Михаил Кириллович, быть в отставке. Бросил работу потому, что не стало сил терпеть непорядки. А теперь не могу — тянет в школу, в коллектив. Вам это должно быть понятно...

Лемяшевич обрадовался. О таком педагоге, который мог бы воспитывать не только детей, но и его, молодого директора, служил бы примером для всего учительского коллектива, он мечтал еще тогда, когда впервые услышал от Журавских о старике. По приезде он горячо пожалел, что Шаблюк оставил школу.

С того дня они стали работать вместе. Лемяшевич понимал, что без помощи Данилы Платоновича, без его мудрых советов, без его авторитета ему, новичку, пришлось бы очень трудно. И так было нелегко. При всем добром желании помочь деньги председатель райисполкома смог выкроить только на самое необходимое. Все остальное посоветовал делать *«методом народной стройки»*. Но в колхозе была горячая пора уборки, а людей не хватало. Колхоз отставал. Мохнача вызывали на бюро райкома и

вынесли решение, после которого он ходил хмурый, злой, ни на кого не глядя. Говорить с ним о чём-нибудь, кроме уборки, стало невозможно. А Лемяшевичу особенно трудно было договариваться с ним: первое знакомство их произошло при неприятных обстоятельствах.

На второй или третий день после приезда он шел на речку купаться. Шёл вдоль Криницы, что протекала возле школы и тянулась через луг к реке.

Остановился в кустах, не доходя до берега. В этот момент речку переходили вброд три женщины с большими вязанками сена за спиной. Женщины присели отдохнуть на берегу, и одна из них, помоложе, скинув юбку, выкупалась прямо в сорочке. Лемяшевич представлял, как тяжело, должно быть, в жару нести такую ношу. И потому, даже когда женщины, вскинув вязанки на плечи, двинулись дальше, он не вышел из кустов: постеснялся с полотенцем на плече встречаться с рабочими людьми.

Молодуха шла впереди, две другие женщины шагов на тридцать отстали. Дойдя до кустов, она испуганно вскрикнула:

— Бабочки! Потап!

Одна из женщин повернула и быстро зашагала через луг напрямки. Самая старшая спокойно подошла к кустам, где уже слышался сиплый мужской бас:

— А-а, голубки, вот когда я вас поймал. Скидайте сено!

— Потап Миронович, в лесу серпом нажали. Лесник разрешил, — веско и сурово сказала старшая женщина.

— Знаю я вашего лесника! Он за пол-литра весь лес продаст. Трудовую дисциплину срывает! На работу не выходите!

— Все утро работали, Потап Миронович. Обедать идучи, зашли…

— Ну, я долгих разговоров не люблю. Скидайте! А не то — сами знаете...

— Да чем же корову кормить, Потап Миронович?

— Я не кормилец ваших коров, у меня пятьсот голов своих.

По этим словам пораженный, недоумевающий Лемяшевич догадался, кто такой Потап Миронович, и его возмутили слова председателя *«у меня своих пятьсот голов»*. *«Выходит, стадо твое, а не колхозное, и только ты один печешься о колхозном добре, а все остальные — рвачи и воры!»*

— На, подавись ты своим сеном! — злобно, со слезами в голосе, крикнула молодая.

— Ну, ну, ты! Полегче!..

Лемяшевич вышел из своей засады и быстро подошел к месту происшествия. На торфянистой, сырой стежке среди кустов лежало сено. Потап Миронович сидел на корточках и чиркал спичкой. От сена поднялся белый дым, но, недосушенное, разгоралось оно вяло.

Лемяшевич подскочил и под самым носом у председателя затоптал огонь. Мохнач поднялся с удивительным для своей комплекции проворством. Как видно, он растерялся от неожиданности и стоял, исподлобья глядя на незнакомца, который появился неведомо откуда и отважился на такую дерзость. Женщины спрятались в кусты.

— Это зачем же добро жечь? Разве у вас так много сена? — внешне спокойно спросил Михаил Кириллович.

Толстая шея председателя вмиг налилась кровью, часто заколыхался под грязноватой сорочкой большой живот.

— Краденое, — прохрипел он.

— Краденое? Конфискуйте. Накажите за кражу. А жечь зачем же?

— Врет он, товарищ начальник! В лесу серпом нажали! — И молодая женщина вышла из кустов на дорожку.

— Да, вы… кто вы такой?

— Я — директор школы.

— А-а-а, — радостно, весело и с удовлетворением протянул председатель, впервые посмотрев Лемяшевичу в глаза. — Культурная сила! Интеллигент! Так-так-так… Вот как вы, наста *«нички, помогаете укреплять трудовую дисциплину…*

— А вы таким способом хотите ее укрепить? Странный метод.

— Ла-адно. Об этом мы поговорим в другом месте. В другом, в другом. — И, сцепив руки на животе, Мохнач двинулся по стежке к реке.

Через несколько дней они встретились в сельсовете как старые знакомые. Мохнач первый протянул руку и ни словом не помянул о стычке на лугу. Лемяшевич тоже промолчал. Он пробовал расспрашивать о председателе и услышал на редкость противоречивые отзывы: одни хвалили Мохнача, другие беззлобно подсмеивались над его чудачествами, а третьи ругали беспощадно, с ненавистью. Лемяшевич решил понаблюдать и составить собственное мнение. То обстоятельство, что Мохнач при встрече не выказал ни обиды, ни злобы, ни пренебрежения, а дружески пожал руку, характеризовало его с положительной стороны. «Значит, человек объективный», — подумал Лемяшевич. Но скоро он почувствовал, чего стоит эта объективность. Почувствовал сразу, как только обратился к председателю за помощью.

Он попросил, чтоб тот разрешил взять со строительства колхозного гаража одного человека — хорошего печника, которого хвалил ему Шаблюк и с которым они уже договорились. Надо было только согласовать это с председателем колхоза.

Разговор происходил на току, у молотилки. Мохнач стоял у скирды соломы, как всегда уставившись в землю и сцепив руки на животе. Пыль и мякина от молотилки летели в его сторону, садились на лицо, на шапку, но Мохнач как будто и не замечал этого; он нарочно стал тут, как только увидел Лемяшевича и понял, что тот хочет с ним поговорить. Молотилка гудела, и потому приходилось почти кричать. Лемяшевич высказал свою просьбу. Мохнач насмешливо посмотрел на него и быстро завертел большими пальцами. Лемяшевича раздражала эта поповская привычка — вертеть на толстом животе пальцами, его так и подмывало спросить, не был ли случайно уважаемый Потап Миронович когда-нибудь монахом, но он понимал, что сейчас эта шутка будет неуместна. Шаблюк его предупредил, что договориться с Мохначом насчет печника будет нелегко. Он, правда, заручился поддержкой Волотовича, но знал, что председатель райисполкома для Мохнача авторитет небольшой. Поэтому он решил пойти на хитрость:

— Между прочим, я говорил с Бородкой. Это его идея…

— Про печника говорил? — спросил председатель, недоверчиво посмотрев Лемяшевичу в глаза, что делал чрезвычайно редко.

— Говорил, — солгал Лемяшевич, хотя это и неприятно было. *«Скажу, что спутал Волотовича с Бородкой. Я здесь человек новый… Мне можно спутать»*.

Мохнач долго молчал, разглядывая солому под ногами, потом недовольно буркнул:

— Ладно. Бери.

Тогда Лемяшевич высказал вторую просьбу: нужны лошадь и человек, чтобы навозить глины.

Мохнач молчал так долго, что директор уже начинал злиться. О чем он думает? Как будто от того, даст он лошадь или не даст, зависит судьба всего колхоза. Смеется он, что ли?

— Ну, так как это практически осуществить, Потап Миронович? Из какой бригады взять?

Мохнач слегка плюнул на пальцы, молча потер ими.

— Деньги? — Лемяшевич удивился. — Слушайте... Это же ваша школа! Ваши дети!

— У меня детей нет.

— Оно и видно. Но как вам не совестно! Председатель колхоза, коммунист — и такие рассуждения: *«У меня детей нет»*. У колхозников дети есть, если у вас нет!

— Сколько вас — желающих жить на колхозный счет! — с издевкой, тонким голосом сказал Мохнач, — Есть закон...

— Никто не собирается жить за счет колхоза. А закон вы просто опошляете, откровенно вам скажу. Другие колхозы строят школы, больницы, клубы... А у вас из-за такого вот отношения колхозный клуб развалился... Во что вы его превратили? В хлев! Стыдно смотреть!

— Не ваше дело! На свою школу глядите!

— Нет, мое дело! Я коммунист. Моя задача — воспитывать молодое поколение. И мы вас, товарищ Мохнач, заставим привести клуб в надлежащий вид!.. — Лемяшевич разозлился и не заметил, как повысил голос.

Девчата, отгребавшие солому, приблизились и с любопытством стали прислушиваться: о чем там спорят директор школы с председателем? Хитрый Мохнач заметил это, покачал головой и притворно ласково сказал:

— Ай-ай, такой молодой, а такой горячий, товарищ Лемяшевич. Нехорошо... Видно, нервы у вас не в порядке. Пойдем отсюда, а то запылится ваш костюмчик. Ишь как летит. — И отошел от молотилки, так ничего и не сказав про лошадь.

Тяжелое впечатление произвел этот разговор на Лемяше-вича. За годы учебы он немного оторвался от деревни, не было у него знакомых председателей колхозов, а в романах, которых он перечитал немало, и в кино председатели были похожи друг на друга: всесторонне образованные, культурные, умные, они за работой, за хлопотами о колхозном хозяйстве не успевали даже поесть, поспать, однако всегда находили время прочитать все новинки литературы, аккуратно посещали клуб, радуясь его великолепию — делу рук своих, и организовывали все культурные мероприятия — от лекции о строении вселенной до футбольной команды включительно. Лемяшевич не был идеалистом и не слишком верил таким розовым романам и фильмам: всякие есть колхозы и всякие председатели. Но такое отношение председателя колхоза к школе, к тому святилищу, где начинается сознательная жизнь миллионов строителей коммунизма — рабочих, колхозников, инженеров, агрономов, государственных деятелей, поэтов и ученых, — не просто разозлило Лемяшевича, а как-то больно задело и обидело.

Как же может такой человек руководить большим хозяйством? В особенности возмутился Лемяшевич, когда узнал, что двое детей Мохнача получили высшее образование: сын у него агроном, дочь — бухгалтер. Мучило еще и недовольство собой, своей несдержанностью, тем, что раскричался: *«Мы вас заставим, товарищ Мохнач...»* — и докричался до того, что этот Мохнач до обидного флегматично, насмешливо обрезал: *«Нервы у вас не в порядке»*, — как будто перед ним был не директор десятилетки, а мальчишка.

Возможно, именно стыд за то, что он не сумел сохранить спокойствие, помешал Лемяшевичу выразить всю силу своего возмущения, когда он рассказывал Шаблюку о стычке с председателем. Выслушав историю про сено, Данила Платонович тяжело вздохнул, и на лицо его легла тень. А когда Лемяшевич передал ему свой разговор у молотилки, старик заметил:

— Чего вы еще ждали от Потапа?

— Вам следовало ему по морде дать… Он любит тех, кто его бьет, — совершенно серьёзно, без тени улыбки сказал Бушила, не отрываясь от работы.

Бушила красил на школьном дворе парты. Данила Платонович сидел на досках у сарая, где складывали на зиму дрова, и следил за его работой, давал советы, так как, хотя мастер как будто и ловко действовал кистью, парты получались почему-то полосатые.

— Возьмите меня переводчиком, Михаил Кириллович, когда надо будет разговаривать с Мохначом, — шутливо подмигнув, добавил Бушила.

— Не ребячься, Адам, — укоризненно остановил его Данила Платонович и, повернувшись к Лемяшевичу, посоветовал — А вы к нему с такими мелочами не обращайтесь. Ваш хозяин, Степан Явменович, — бригадир. Вы ему скажите, он вам любую лошадь даст, а глины накопать и привезти — ребят возьмем. У нас за всякую мелочь привыкли государственную копейку тянуть. Как будто государство — бездонная бочка. А вот когда-то мы ремонтировали, совсем не имея денег…

Лемяшевич присел рядом со стариком, закурил. Вспомнив, что Данила Платонович не курит, разогнал рукой дым.

— Я, конечно, не за сборы на школу… а за коллективную заботу, за коллективную ответственность, — продолжал свою мысль старый учитель. — У нас много говорят о политехнизации, о воспитании любви к физическому труду… А где ее прививать, где учить детей работать? В школе, в колхозе. Нельзя разве добрую часть этого ремонта сделать силами учеников старших классов? При хорошем руководстве можно и научить кое-чему. Кто выдумал, что во время каникул мы не имеем права занять детей? Не потому ли у нас половина школьников целое лето баклуши бьет? Не речами надо приучать учеников к труду, а работой, практикой. Вон Алёша Костянок как полюбил свое дело! Ставит рекорды… А за Раису Снегирь мать тарелки моет… Почему бы ей, к

примеру, не помочь нам в школе?

— Ого! — Бушила захохотал. — Чего захотели! Вас Аксинья за дочку со свету сживет… Лично я не беру на себя такой миссии — предложить ей это! Съест!

— А я скажу! — твердо пообещал Данила Платонович.

7

Наталья Петровна после нескольких дней, проведенных на совещании в Минске, возвращалась домой в нетерпении и тревоге. Как там Леночка? Не случилось ли чего на участке?

Дочка встретила ее на шоссе, за три километра от деревни. У матери екнуло сердце, когда она из кабины грузовика увидела ее в свете фар. Час был не ранний, давно уже над полем спустился вечер, выпала роса. А девочка в одном платье стояла на развилке дорог и внимательно вглядывалась в каждую машину. Наталья Петровна, не дождавшись, когда шофер затормозит, выскочила из кабины.

— Леночка! Что случилось?

Девочка с радостным криком *«мама»* кинулась к ней, крепко обняла — совсем так, как когда-то, еще маленькой. Это испугало мать: Лена, ученица седьмого класса, давно уже не проявляла так бурно своих чувств в присутствии посторонних.

— Что случилось, доченька?

— Ничего, мама. Просто я соскучилась по тебе.

— Только и всего? — счастливо рассмеялась мать. — Стоило из-за этого идти сюда в такой поздний час?

— Какой там поздний! Что ты, мама! Только что смерклось. А чего мне бояться?

Да, она ничего не боялась, так как мать сама воспитала в ней эту черту характера. Но знала бы девочка,

сколько приносят матери душевной тревоги и страха ее смелые выходки! Того материнского страха за ребенка, перед которым кажутся ничтожными и мелкими все другие страхи — боязнь ночи, темноты, недобрых людей, грозы, собственной болезни и даже смерти.

— Ну, поедем, а то люди ждут.

— Наташа! В кабину её посади, холодно, — раздались из кузова заботливые голоса женщин.

— И сами садитесь в кабину, Наталья Петровна, — сказал шофер, — поместимся.

Наталью Петровну всегда трогали доброта и сердечность, с которой относились к ней криничане.

Машина запрыгала на выбоинах полевой дороги. Фары выхватывали из темноты деревья на обочинах; фантастически белые в их свете тополи, казалось, кланялись машине и людям. В полосу света от фар попал заяц и, потеряв голову от страха, бежал перед машиной.

— Заяц! Заяц! — закричали девчата.

Лене тоже хотелось кричать и смеяться, но в присутствии шофера она солидно молчала и только улыбалась своим мыслям, своей радости. Девчата запели:

Ой, взойди, взойди ты, звездочка да вечерняя,

Ой, выйди, выйди, девчинонька моя верная!..

Лене казалось, что все радуются возвращению ее мамы. Она гордилась своей матерью. *«Мама, милая! Ты у меня самая умная, самая хорошая! Тебя нельзя не любить, нельзя не скучать, когда ты уезжаешь хотя бы на один день»*.

— Какие новости, доченька? Что на участке?

Наталья Петровна знала, что — после фельдшерицы

Лена, как никто, была в курсе всех дел и происшествий.

— Все в порядке, мама. Только у Левона Браги захворала Галька. Искупалась, и у нее воспаление легких. Она ведь слабенькая. Тетя Аня пенициллин вводит. Алёша Костянок засорил глаз. Так ему сразу промыли…

— Как Стешанок?

— О-о! Уже сам на перевязку ходит.

— Она у вас, Наталья Петровна, скоро помощницей будет, — заметил шофер.

— Она и сейчас у меня помощница. — Мать тихонько поцеловала дочку в голову. — А Данила Платонович как?

— Школу ремонтирует!

— Что, что? — удивилась Наталья Петровна.

— Новый директор, мамочка, заново школу ремонтирует, красиво так делает, перекрашивает все. И всех заставил работать.

— И Данилу Платоновича?

— Нет, Данила Платонович сам… Ходит бодрый такой… и палку свою бросил… Даже помолодел, мама.

— Верно, верно, — подтвердил шофер.

…Наталья Петровна не утерпела — в тот же вечер зашла к Шаблюку. Их связывала многолетняя дружба. Правда, началась она не с ним, эта дружба, а с его покойной женой, Марьей Антоновной, очень сердечной и приветливой старушкой. Сам Данила Платонович поначалу относился к молодому врачу ревниво — уж очень она быстро завоевала любовь в деревне. Ему казалось, что его, человека, обучившего не одно поколение криничан, никогда за все сорок лет не любили здесь так горячо и преданно, как полюбили ее

за какие-нибудь два месяца. Но вскоре и сам он полюбил Наталью Петровну, как дочь. Любовь эта все крепла и крепла. Во время болезни его жены и его самого Наташа ночами просиживала у их постели. Как дочь, плакала она над гробом Марьи Антоновны и, как дочь, изо дня в день заботилась о нем, старом, больном.

Данила Платонович читал, когда она вошла. Он взглянул поверх очков, узнал ее и поднялся навстречу.

— А, Наташа! Приехала? Добрый вечер, добрый вечер! Соскучились мы без тебя.

Как всегда, он взял ее руку и поцеловал. Когда-то она терялась от этого приветствия и протестовала, но за много лет привыкла.

— Садись в свое кресло и рассказывай!

У Данилы Платоновича было большое мягкое кресло, обитое желтой вытертой кожей, и Наталья Петровна очень любила сидеть в нем. Когда-то, еще при жизни Марьи Антоновны, она приходила вечерами с Ленкой, они вдвоем отлично умещались в этом кресле и читали чудесные книжки под шум осеннего дождя или свист декабрьской вьюги за окном.

Она очень любила красивую одежду, мягкую мебель и уютные, квартиры. Поэтому и комната эта в доме Шаблюка, с множеством цветов, книг и старой мебелью, нравилась ей больше, чем ее собственная. Особенно хорошо тут стало, когда провели электричество и появилась эта лампа под большим зеленым абажуром.

Наталья Петровна с удовольствием села в любимое кресло и вся потонула в нем, стала как будто меньше, совсем похожа на девочку.

— Устала я, Данила Платонович. Не люблю я ездить.

— А вот мне иной раз хочется куда-нибудь поехать. Далеко-далеко… Свет посмотреть… Людей…

Она укоризненно покачала головой.

— Да, мне про вас тут рассказывали чудеса. Пока меня не было, вы здесь как мальчик бегали. Школу ремонтируете! Что это такое, Данила Платонович? Вы забыли о своем сердце, о ногах?

— Забыл, — старик весело улыбался, сидя против нее у стола, — забыл, Наталья Петровна.

И вдруг встал и, расправив плечи, прошелся по комнате, как бы желая доказать, что он совсем здоров. Остановился против нее, повторил:

— Забыл. И сразу лет десять сбросил с плеч. Наталья Петровна подтянула ближе стул и, когда старик сел рядом, взяла его руку, чтобы проверить пульс.

Не отнимая руки, Данила Платонович серьёзно и раздумчиво продолжал:

— Видишь ли, Наташа, все это трудно объяснить даже тебе, врачу. Не умею я говорить о своих переживаниях, о том, что делается у меня в душе. Я очень плохо чувствовал себя последний год… Причин для этого было много. Но возможно, что кроме известных тебе были и другие, о которых, может быть, и сам я не знал… Одним словом, я еще раз убедился: чтобы жить… жить, — подчеркнул он, — человек должен работать до последнего вздоха. Да… Иначе — смерть.

Пришла бабушка Наста, увидела Наташу, и лицо ее, сморщенное, как печеное яблоко, расплылось и посветлело от улыбки.

— Голубка Наталка… медку хочешь?

— Да, бабуся! Хочу! — звонко крикнула Наталья Петровна и засмеялась.

— Слава богу, хоть ты ешь медок… А то никто не хочет… никто не хочет. — Шамкая что-то, старуха пошла за медом.

Наталья Петровна, погасив в глазах искры смеха, серьёзно смотрела на своего старого друга. Он положил

свою широкую шершавую ладонь на ее мягкую маленькую руку. Снова заговорил весело, шутливо:

— И вот докладываю тебе, товарищ доктор: я вернулся в школу. Да, вернулся на работу…

Он подождал, что она ответит, так как это она раньше уговорила его уйти на отдых. Наталья Петровна молчала.

— И в самом деле ремонтирую школу. Помогаю. Не хочу забегать вперед, но нам, кажется, повезло: наконец-то мы имеем директора… Настойчивый, деловой… Ты еще не знакома? Напрасно. Интересный человек… Не женат и твоих лет…

— Последнее меня не интересует, — серьёзно ответила она, еще глубже умащиваясь в кресле; лицо ее изменилось, словно она надела маску, чтоб заслониться от того, что ей было неприятно.

— Напрасно. Напрасно, милая Наталья Петровна.

— Данила Платонович, я не прочь пошутить, но не люблю, когда о таких вещах начинают говорить всерьез. Вы же знаете…

Бабушка принесла блюдце с медом и чайную ложечку. Наталья Петровна, обрадовавшись, что прервали неприятный ей разговор, взяла блюдце и с аппетитом начала есть: макала ложечку в мед, по-детски облизывала ее. Бабка с умилением смотрела, как она ест, и подбадривала:

— Ешь, ешь, голубка Наталка, медок свежий, липовый. От всех болезней лечит…

Данила Платонович встал, прошелся до дверей, заложив руки за спину, и сел поодаль, на диван, стоявший у печки.

Наталья Петровна потихоньку вздохнула: она понимала, что старик собирается продолжить этот разговор и остановить его невозможно.

— Ты права, я действительно всерьез, хотя, конечно, не о директоре, а вообще, — тихо сказал он. — Я не раз тебе говорил… Я знаю, как сильно и горячо любишь ты людей и жизнь. И я не могу поверить, чтоб ты сама не чувствовала, что человеческое счастье твое не полно… что это аскетизм, ненужное самопожертвование…

— У меня есть дочь. — Она поставила блюдце на стол и улыбнулась, как бы желая улыбкой убедить старика, что она действительно счастлива.

Бабка, которая ничего не слышала, но по выражению лиц поняла, что Данила Платонович говорит Наталье Петровне что-то неприятное, накинулась на него:

— Завёл уже… учитель! Не даст и медку поесть… Горе горькое, полынное!

Данила Платонович махнул рукой: *«Не мешай, Наста!»*
— А подумала ли ты, что твое счастье могло бы сделать более полным и счастье твоей дочери?

— Мне тридцать три года, Данила Платонович. — Теперь она печально вздохнула.

— Мне — семьдесят пятый.

Она засмеялась, на глазах ее выступили слезы, нр, видно, пе от смеха.

— Тебя три года назад полюбил человек. Я знаю силу его чувства… И самого его знаю с колыбели… Сергей душевный, талантливый, умный парень…

Наталья Петровна опустила голову.

— Не могу… Не могу, Данила Платонович… У меня — дочка. Ей тринадцатый год, она все понимает. Для нее нет ничего более светлого, чем память об отце, которого она никогда не видела. Она гордится, что похожа на него. И вдруг… Нет, нет!..

Он подошел и, как маленькую, погладил ее по голове.

— А сама, сама ты его любишь?

— Не знаю, — покачала она головой. Потом, как бы опомнившись, поднялась и поправила свои красивые волосы, свернутые на затылке в пышный узел, заколотый шпильками и гладким гребешком. — Я ничего не знаю… Я так устала за эту поездку. — И посмотрела на часы. — Одиннадцать часов.

— Ох, ох, учитель, учитель, — укоризненно вздыхала бабка.

— Прости, Наташа, — ласково сказал Данила Платонович, присаживаясь к столу. — Ты не съела свой мед… Посиди ещё… Старики — народ надоедливый. У меня сегодня хорошее настроение, и вот я, старый дурак, испортил настроение тебе. Всегда у меня так получается…

Наталья Петровна поняла, что сегодня старик больше не вернется к этой теме, и снова села, взялась за мёд.

Повеселела и бабушка. Зашла по-соседски Аксинья Федосовна. Увидела Наталью Петровну, радостно поздоровалась, ласково поцеловала в щеку, а потом, взяв за плечи, посадила на жёсткий стул, а сама села на ее место.

— Дай мне, Наташа, в мягком кресле посидеть, все косточки болят… Лён выбираем. Вырос он у меня — во, — она показала метра полтора от пола, — и крепкий-крепкий, все руки порезали… А механизации никакой… Пока Мохнач ворон считал, теребилку первомайцы захватили. МТС под боком, а машины нам — в последнюю очередь.

Данила Платонович с лукавой улыбкой наблюдал за Аксиньей Федосовной. Он знал, почему неугомонная соседка наведалась к нему в такой поздний час и почему она суетливее, чем обычно, — нервничает, злится. Про теребилку она соврала: машина выбрала почти весь лён ее звена и только дня три назад была переброшена в другой колхоз.

Старик не выдержал и проговорил:

— Ты, Аксинья, кому другому голову морочила бы, а не нам с Наташей. Кого-кого, а тебя не обижают…

— А меня, Данила Платонович, трудно обидеть — у меня мозоли вон какие, — совсем другим тоном, сурово и резко ответила она и показала свои мозолистые, в трещинах, ладони. Но показала их не Шаблюку, а Наташе и тут же шутливо заговорила с ней: — Слышала, что чемодан твой еле с машины сняли. Чего накупила — похвались.

— Ей-богу, ничего. Во время совещания некогда было по магазинам бегать, а кончилось — домой скорее захотелось.

— И то правда. Я сама тоже, как поеду на какое-нибудь совещание… А тебе так вообще лучше не ездить. Только ты уехала — чуть беда не случилась. С Верой нашей. Слышала?

— Я была у нее. Мне в райздраве сказали.

— Была? Спасибо тебе, Наташенька. Ну, как она?

— Лучше.

— Дитятко жить будет?

— Будет.

— Дай боже, а то она не перенесет такого горя. Скажи, пожалуйста, какой тяжелый случай. Я так переволновалась. Ещё счастье, что Артем Захарович у нас золотой человек… Только я позвонила — и он сразу среди ночи свою *«Победу»* прислал. А то неизвестно, что могло быть.

Речь шла о племяннице Аксиньи Федосовны, у которой были очень тяжелые роды и которую пришлось отправить в районную больницу.

— Побегу в сельсовет, позвоню ещё раз, — как она там,

бедная.

Но бежать Аксинья Федосовна не торопилась и, верно, просидела бы ещё долго — она любила поболтать, — если б лампа под зеленым абажуром не мигнула трижды. Механик электростанции давал сигнал.

— Рано сегодня, — взглянула на стенные часы Наталья Петровна.

— Надо на собрании постановить, чтобы электрики наши не дурили. А то один день до трех ночи крутят, а другой в десять вечера выключают, — сказала Аксинья Федосовна.

Наталья Петровна попрощалась.

— А я к тебе, Платонович, — вздохнув, промолвила соседка, когда закрылась дверь за врачом. — Куда это ты мою Райку завтра вызываешь?

— В школу.

Старик, безошибочно угадав, зачем она пришла, подготовился надлежащим образом не только к обороне, но и к наступлению.

— Зачем? — как будто ничего не зная, с деланной наивностью спросила она.

— Поработать денек. Печи переделываем. Надо глину замесить, песок просеять, поднести.

Аксинья Федосовна вскочила, по-солдатски выпрямилась, ноздри ее гневно раздулись.

— Мне думается, каникулы на то и даны, чтоб дитя отдохнуло…

— От чего? Другие дети все каникулы в колхозе работают.

— Ну, Платонович! За свою дочку я работаю в колхозе, от темна до темна спины не разгибаю…

Как ни старался старый учитель сохранить спокойствие, но не выдержал — рассердился.

— Вот это меня и удивляет, что сама ты и спины, верно, не разгибаешь, а дочку воспитываешь неведомо кем… барышней, белоручкой… Стыд!

— Она одна у меня. Отец ее жизнь отдал за то, чтоб судьба ее была другой.

— Да разве от того, что она поработает, судьба ее пострадает, Аксинья Федосовна?!

— А я не хочу, чтоб люди видели, как моя дочка глину месит! — крикнула она.

Бабушка Наста укоризненно покачала головой — на этот раз она осуждала соседку.

Данила Платонович развел руками.

— Ну, прости… Не узнаю я тебя, Аксинья… И удивительно мне. В первый раз слышу, чтоб наш народ терял уважение к человеку, который работает… Странно! Да разве пострадал авторитет хотя бы Натальи Петровны, — он кивнул на двери, — от того, что она вместе с колхозниками и жала рожь и сено сгребала? Ты погляди, как ее люди уважают…

— Уважения от людей и мы имеем не меньше… Меня вся республика знает!

— А почему? Почему тебя знают? Разве не труд твой тебя прославил?

— У каждого своя дорожка, Данила Платонович! Моя Райка, может быть, на весь Союз, на весь мир прославится…

Шаблюк не на шутку рассердился, безнадежно махнул рукой.

— Чем она прославится? Музыкой? Глупости это! Портите вы девушку, вот и все… Морочите голову и ей

и себе.

Аксинья Федосовна даже побагровела вся, сжала кулаки, и казалось — сейчас кинется на старика за такое оскорбление её дочери.

— Потому вы, кроме нее, и не нашли больше никого глину ногами месить? Теперь понимаю! Так не пойдет же она! Не пойдет!

В это мгновение погасло электричество, и темнота как-то сразу успокоила Данилу Платоновича. Он знал, что спорить с этой упрямой и самоуверенной женщиной безнадежно. И опять, уже ровным голосом, сказал:

— Я говорил с Раей… она согласилась. А она не маленькая, разреши ей самой за себя думать…

— А я сказала — не пойдет! — крикнула Аксинья Федосовна.

В темноте мелькнула белая косынка. Хлопнула дверь.

8

Лемяшевичу никак не удавалось познакомиться с человеком, с которым ему особенно хотелось сблизиться и подружиться с первого же дня приезда в Криницы, — с врачом Морозовой-Груздович. Он на каждом шагу слышал ее имя. Колхозницы называли ее просто Наташей, местная интеллигенция — Натальей Петровной, а для тех, кто привык называть людей по фамилии, она была либо Груздович, либо Морозова. Но все отзывались о ней с одинаковым уважением. Избегал разговоров о ней разве что один Сергей Костянок, он ни разу не упомянул имени Натальи Петровны.

Лемяшевич знал причину его молчания — её открыл при их странном и неожиданном знакомстве Алексей. О любви Сергея рассказывали и другие; одни — с иронией, другие — жалея его и мягко осуждая Наталью Петровну.

Все это ещё сильнее разжигало любопытство Михаила Кирилловича, жадного до знакомств и встреч с новыми людьми. Но познакомиться с врачом все не случалось. В первый раз они встретились на крыльце сельсовета, и она в ответ на его приветствие молча кивнула головой. На следующий день, придумав себе головную боль, он пошел в больницу, но в приемной была очередь, ему стало неловко, что он, здоровый человек, из-за своей прихоти заставит какого-нибудь больного ждать, покуда он будет знакомиться. А потом она уехала на совещание. Вторая встреча была не совсем обычная и опять-таки не привела к знакомству. Лемяшевич ввел в обыкновение каждое утро ходить на речку купаться, не считаясь с погодой. Утро выдалось хмурое, ветреное, и вода уже была довольно холодная. Он знал, что на этом широком плесе обычно купаются женщины, но был уверен, что в такой ранний час сюда не явится ни одна живая душа. Он проплыл до другого берега, повернул обратно и… увидел её, Наталью Петровну, с дочкой. Они стояли рядом, с одинаковыми полотенцами на плечах, в одинаковых пестрых халатах, только у девочки была ещё надета тёплая кофточка поверх, а мать держала в руках небольшой чемоданчик.

— Вы захватили чужую территорию, молодой человек! — сказала она серьёзно, без улыбки.

Лемяшевич смутился и, не пытаясь оправдываться, пообещал:

— Я мигом очищу ее. Простите.

Они отошли в сторону, за кусты. Лемяшевич слышал, как девочка сказала:

— Это новый директор, мама.

Мать почему-то засмеялась, отвечая что-то дочери.

Он быстро выскочил из воды, схватил свою одежду и стремглав побежал по берегу к *«мужскому пляжу»*, метрах в трехстах вверх по течению.

Одеваясь, он видел, как они делали гимнастику. Сама Наталья Петровна сделала несколько вольных движений, но девочка выполнила весь знакомый Лемяшевичу сложный комплекс.

Мать руководила ее зарядкой: смотрела на часы, когда та бегала, подсчитывала *«раз-два»*, помогала, когда девочка делала наиболее трудные упражнения.

Потом они купались.

А Лемяшевич сидел на берегу, курил и, уже не видя их, не переставал думать о Наталье Петровне. Он ещё и не разглядел ее как следует, и ничем особенным она не привлекала его. Обыкновенная женщина, среднего роста, с тонкими чертами лица, с гладкими русыми волосами, просто причесанными и свернутыми на затылке в узел. Если что и останавливало внимание в ее внешности, так это фигура, по-девичьи стройная, молодая. Но о жизни этой женщины Михаил Кириллович слышал уже много.

...Работал до войны в Криницкой школе молодой учитель Иван Груздович. На летние каникулы сорокового года к нему приехала девушка, студентка третьего курса медицинского института. Груздович с гордостью представлял ее своим друзьям-педагогам:

— Моя невеста.

Она застенчиво опускала глаза, краснела до слез, робко пожимала руки людям, которые критически осматривали ее с головы до ног, чуть слышно шептала свое имя:

— Наташа.

Замужние учительницы и колхозницы осуждали ее:

— Бесстыдница. Ещё никакая не жена, а приехала, словно к мужу, и живет целое лето. А где-то и отец есть, и мать, и говорят, уважаемые люди, партийные работники... Наверное, и не знают ничего. Ох, молодежь пошла!

Но в один из последних дней каникул Груздович и Наташа появились в сельсовете. Председатель сельсовета Антон Ровнополец, который в то время был секретарем, и теперь помнит (Лемяшевичу рассказали и это), как бедняжка Наталья Петровна растерялась и не знала, на чью фамилию записаться, и записалась на обе — свою и мужа, и как потом ни у кого из молодоженов не нашлось трех рублей, чтоб оплатить пошлину.

На зимних каникулах Наташа уже была куда смелее. Чуть не каждый день приходила в учительскую, смеялась и шутила вместе со всеми, даже попросила у директора разрешения побывать на уроке мужа. Тогда же, зимой, отпраздновали и свадьбу: на квартире у Груздовича устроили вечеринку; собралась вся деревенская интеллигенция; было много водки и вина и мало закуски, о чем молодая хозяйка потом долго сокрушалась.

А через несколько месяцев студентка Морозова-Груздович шла из Минска по могилевскому шоссе на восток вместе с тысячами таких же беженцев, как и она. Нещадно палило июньское солнце, то и дело приходилось кидаться с шоссе в истоптанную рожь, в кусты и, прижавшись к земле, слушать, как со страшным свистом проносятся над головой *«мессершмитты»*, трещат пулеметы в вышине, кругом глухо рвутся бомбы. Она лежала, ощущая частые удары крови, толчки ребенка под сердцем, и думала о муже. Где он сейчас, в эти страшные дни, когда все вокруг горит и рушится? Что с ним?

О судьбе мужа она узнала только через два года, в конце сорок третьего, когда было освобождено Полесье и она могла написать в Криницы, районо и райком. Ей ответили из райкома: Иван Груздович, бывший учитель и командир подрывной группы партизанского отряда, погиб смертью героя весной сорок третьего года.

Вскоре после того она с двухлетней дочкой приехала в Криницы. При первой встрече почти никто не узнал в ней ту девочку, что когда-то, перед войной, прожила

здесь месяца два летом, боясь показаться на люди, а зимнее пребывание её было слишком коротко. Однако почти в тот же день, когда заведующая райздравом привезла её на лошади в Криницы, весь сельсовет уже знал, что в больницу приехала докторша и что это жена учителя Груздовича, погибшего здесь, у них, в Борщовском лесу.

Уже одно то, что она, бросив работу на Урале, в районной больнице, приехала в самое трудное время сюда, на освобожденную территорию, в деревню, где работал её муж, вызвало симпатию и уважение к ней колхозниц, среди которых тоже немало было вдов и которые хорошо понимали женское горе и чрезвычайно высоко ценили верность в те многострадальные годы.

Но, конечно, не только это. Она приехала действительно в самое тяжелое время — зимой, сразу после освобождения. Половина деревни была сожжена, и в уцелевших хатах жило по две-три семьи, даже землянок ещё построить не успели. Через Криницы проходила линия вражеской обороны. Жителей деревни, не успевших уйти в лес, фашисты угнали в тыл. Правда, к счастью, почти все они были потом освобождены советскими солдатами и вернулись назад. Но деревня за это время была обобрана до нитки: голодные гитлеровцы разыскали почти все тайники со спрятанным хлебом, разрыли все картофельные ямы, съели все запасы, заготовленные людьми в тяжелых условиях оккупации, забрали все крестьянское добро. Деревня почти голодала, многие семьи жили только благодаря помощи государства.

Вдобавок ко всем бедам враг, в лютой злобе за свое поражение, отступая, заражал местность инфекционными болезнями.

Приглушённая вначале усилиями, фронтовых медиков эпидемия сыпняка вспыхнула снова среди зимы, когда фронт отдалился и район остался без квалифицированных врачей, без больниц (они везде были разрушены) и необходимых медикаментов. В это время и приехала в Криницы Наталья Петровна со

своей маленькой дочкой.

Лемяшевичу рассказал о том, как она жила в это время, Данила Платонович. Старому учителю Наталья Петровна потом призналась, что по дороге сюда заезжала к родителям на Смоленщину и те очень уговаривали её оставить малышку у них, пока все устроится, наладится, дальше отойдет фронт. Отец её работал председателем райисполкома, и условия у него были получше, хотя по его району тоже прошел огонь войны. Но и родителям своим она не хотела доверить дочку. А вернее — сама не представляла себе жизни без нее. Она могла все перенести, все выдержать, любые трудности и любые мучения. Но одного она, безусловно, не пережила бы — смерти дочери, живой частицы человека, которого гак любила… И потому Наталья Петровна ни на один день не соглашалась её оставить.

Но в то же время она ехала в страшное и опасное место. Даже заведующая райздравом, которая, отчаявшись, молила бога, чтоб он послал ей хоть какого-нибудь инвалида-фельдшера для постоянной работы в Криницах, и которая полчаса подряд целовала Наталью Петровну от радости, когда узнала, что она настоящий врач с дипломом и приехала в такое время по собственному желанию, — даже эта женщина, увидев ребенка, стала отговаривать её и предложила остаться в райцентре или поехать в деревню побогаче.

— Кто сам не видел, тому трудно представить, как она работала в ту первую зиму, как ей тяжело было, — говорил Данила Платонович.

Лемяшевич мог представить, он партизанил и видел потом жизнь в освобожденных районах.

Пока сыпняк не распространился, надо было срочно изолировать всех больных и сделать в хатах дезинфекцию. Довоенное здание сгорело, и больницу устроили в доме предателя старосты. Само собой понятно, что ни кроватей, ни постельного белья не было. Больные лежали вповалку на застланной кое-какими простынями соломе, которую тоже нелегко

было достать. Не хватало посуды для кухни, — в то время самый обыкновенный стакан был редкостью, а тарелка и чугун ценились дороже любых сокровищ. Понятно, что в такую больницу даже сознательные люди, понимающие опасность эпидемии, не желали отдавать своих заболевших близких, скрывали их дома. Врачу приходилось ходить по хатам, отыскивать и забирать их—часто со скандалом, прибегая к помощи председателя сельсовета. Нередко на голову Натальи Петровны обрушивались проклятия.

Одна женщина, когда забрали её сына, в отчаянии крикнула:

— Чтоб твое дитя завтра легло на его место!

Наталья Петровна в ужасе отшатнулась и нетвердым шагом вышла из хаты. Санитарки испугались за нее: она побледнела как мертвец, а потом весь день чувствовала себя больной.

Она работала с рассвета до поздней ночи. Помимо своих прямых обязанностей — принимать, осматривать, лечить больных, ей приходилось заниматься бесконечным количеством дел, какими, вероятно, никогда не занимался ни один врач. Кроме тифозных, немало было и других больных: инвалидов войны, искалеченных, простуженных, обмороженных (зима стояла суровая, а одежда у людей прохудилась). Этих больных она принимала в комнатке сельсовета, в другом конце деревни, а потом спешила в больницу к тифозным — и не только делала обход, а одновременно выполняла обязанности санитарки, сестры, повара. Бывало, когда кончалось топливо, она, собрав персонал больницы, шла вместе со всеми в лес и на саночках, а то и просто волоком доставляла дрова. Она следила, как работают бани, в которых производили дезинфекцию, и опять-таки не только следила, а работала там сама с санитарками, по большей части мобилизованными на это дело, так как добровольно почти никто не шел.

Под вечер она бежала, именно бежала, а не шла (она разучилась ходить обычным шагом) к больным в

соседние деревни — в Выселки, в Задубье, в Хатки — и возвращалась оттуда всегда ночью. Сначала она ходила одна. А время было неспокойное: в бывшей фронтовой полосе, где недавно шли бои, развелось множество волков, и случалось, что они нападали на людей, кроме того, блуждали по лесу ещё и двуногие волки — полицейские и другие предатели. Разумеется, женщины, несмотря ни на какие обиды, не могли не оценить её подвига и скоро перестали пускать её одну: собиралась группа девушек и женщин помоложе и провожали Наталью Петровну до Криниц, до самого её дома.

Так она работала. Но все эти тяготы, весь этот нечеловеческий труд приносил бы ей только утешение в горе, если б сердце не точило другое мучительное чувство — постоянный страх за дочку, которую она бросала на чужие руки на весь день. А как она там, её Ленка? Здорова ли? Накормлена?

Она жила у одиноких стариков, набожных, но хитрых. К её приезду в Криницы это была единственная хата, большая и чистая, где жили одни только хозяева, и председатель сельсовета в довольно категорической форме предложил старикам взять докторшу на квартиру. Старики полюбили её и девочку, но это не мешало им запускать руку в её паёк или присваивать кувшинчик молока, который иной раз приносила какая-нибудь благодарная женщина для докторовой дочки, о чём Наталья Петровна обычно и не знала. Присматривать за ребенком она взяла девочку лет четырнадцати, сироту. Гальку. Наталья Петровна уходила из дому, когда Леночка была еще в постели, и возвращалась, когда дочка опять-таки давно спала. Днём она боялась наведываться к ней, только иногда забегала во двор, чтоб посмотреть через окно, как девочка играет в комнате.

Ночью, возвращаясь с работы, она заходила в баню, где хранилась смена одежды, мылась, переодевалась в чистое, продезинфицированное, и тогда шла домой. И прежде всего подходила к диванчику, где спала дочка.

Щупала её лобик — не горячий ли? И, удостоверившись, что Ленка здорова, с нежностью целовала ее ручки, головку, личико. Самым большим для нее счастьем было вернуться, когда дочка ещё не спала. Леночка кидалась ей навстречу, ласкалась и спрашивала:

— Почему ты так долго не приходила, мамочка?

И все-таки, как ни остерегалась она, как ни просила быть поосторожнее Галину и стариков, уберечь девочку от болезни не удалось. И сама не убереглась. В доме заболели все сразу, чуть не в один день. Сама Наталья Петровна первая почувствовала себя плохо еще с утра: гудела голова, подкашивались ноги. Днём сестра и санитарка заметили, что она больна, и отвели её домой. А в хате уже лежала Галька, к вечеру подскочила температура у Лены. Наутро не встала старуха и сразу же попрекнула:

— Занесла ты нам заразу, докторка.

Горько было слышать Наталье Петровне этот попрек. Она промолчала и, не подавая виду, что сама еле держится на ногах, ухаживала за больными, управлялась по хозяйству, топила печь.

На другой день в Выселках случилось несчастье: подорвался на мине мальчик. Она побежала туда, за два километра, на месте оперировала его, спасла мальчику жизнь и, не окончив перевязки, сама потеряла сознание. Когда её привезли из Выселок, она уже не могла подняться на ноги.

Она лежала рядом с дочкой, и впервые у неё на душе было спокойно: Ленка болела легко и без умолку болтала с матерью о своих детских делах. И только одно волновало ее во время болезни, волновало и радовало: любовь криничан, которую она заслужила за короткое время своей работы. Одна за другой приходили женщины и приносили кто первое яичко, кто сухой липовый цвет — чаю заварить, или просто сердечное слово, чтоб подбодрить. Приходили и те, что ругались с ней, когда она забирала больных или заставляла нести

всё добро в *«вошебойку»*. А когда пришла женщина, которая крикнула: *«Чтоб твоё дитё завтра легло...»* — и с виноватым видом попросила прощения (сын её в это время уже поправился), Наталья Петровна заплакала. В тот же вечер с группой колхозниц пришла жена Данилы Платоновича и предложила ей перебраться к ним; это было общее решение, так как в доме старого учителя и условия лучше и уход будет настоящий. Наталья Петровна отказывалась, возражала, но женщины закутали ее и дочку в одеяла и на носилках перенесли к учителю.

Она поправилась чуть не последней из тифозных больных. Эпидемия была ликвидирована, больница превращена в обычный медицинский пункт, без коек, а Наталья Петровна с дочкой переехали в отдельную хату, которую ей дал сельсовет.

Немало ей довелось пережить тяжелых дней и после того, но никогда уже она не чувствовала себя одинокой, у неё были сотни близких и сердечных друзей, с которыми она делила и радость и горе. Ее приглашали на встречу фронтовика, на свадьбу, и она плясала там и пела, от души радуясь чужому счастью. К ней приходили женщины с великим горем своим — уведомлением о смерти мужа или сына, и она плакала вместе с ними и над их и над своим горем. *«Наша Наташа»*, — говорили о ней ласково. И когда года через два, после войны, уже новый заведующий райздравом, из любителей перебрасывать подначальных с места на место, хотел было перевести её в другую деревню, делегация женщин пришла в сельсовет и потребовала от Ровнопольца, чтобы он не отдавал их Наташу.

... Конечно, ещё не всё это было известно Лемяшевичу, когда он сидел на берегу и смотрел, как Наталья Петровна с дочкой занимаются гимнастикой. О многом он узнал позднее.

Мать и дочь выкупались, оделись и пошли по тропинке к деревне, уже почти одного роста, в одинаковых халатах и с одинаковыми полотенцами через плечо. А

Лемяшевич все ещё сидел и думал о них.

9

Лемяшевичу зачем-то нужен был председатель сельсовета, и по его следу он зашел в сельмаг. Стояла та послеобеденная пора, когда все опять уходят в поле, на ток, и деревня как бы замирает: закрывается лавка, пустеет сельсовет, колхозная канцелярия. Только дремлют на завалинках старушки да малыши вместе с курами роются в песке.

Двери нового сельмага оказались закрытыми изнутри, и на них висела записка: *«Переучёт»*. Но Лемяшевичу уже была известна эта нехитрая уловка, и потому он настойчиво постучал, уверенный, что Ровнополец там. Стук его, очевидно, оказался довольно убедительным: голоса за дверью утихли, раздалось торопливое шарканье, и ему тут же открыли, не спросивши кто. Открыл именно тот, кого Лемяшевич искал, — председатель сельсовета. Кроме него и продавца в просторном магазине оказалось еще два человека: Мохнач и колхозный бухгалтер Андрей Полоз, высокий, красивый мужчина лет сорока, но без правой ноги, на протезе. Председатель колхоза и бухгалтер сидели в разных углах — один на весах, другой на ящике из-под спичек — с таким видом, как будто только что поссорились.

— Фу, черт! Лемяшевич!

Полоз швырнул цигарку, которую сворачивал, встал, скрипнув протезом.

— Заходи, заходи, Лемяшевич! Ты чего испугался? Все свои. А вот нас ты и в самом деле напугал. Думали — Бородка. А ему только попадись на глаза за таким занятием — год будет расписывать на всех пленумах и активах да так разукрасит, что самому любо слушать. Ставь, Петро, обратно…

Продавец, ухмыляясь во весь рот, вынул из-под прилавка две бутылки вина, уже раскупоренные, но

непочатые, и четыре чистых стакана.

— Да, Бородка — это сила! — восторженно поддержал Антон Ровнополец, потирая от удовольствия руки. — Бородка сказать умеет…

— И сделать умеет, — заметил Мохнач, не поднимая глаз.

Председатель сельсовета — одних лет с Полозом, но низенький и подвижной. Глаза его светились неугасимой любознательностью, у него была страсть к разным научным и политическим новостям. Газеты он прочитывал от первой до последней строки и считал важнейшим международным событием какой-нибудь очередной переворот в Уругвае или Гватемале, сообщение о нем обводил красным карандашом и газету эту сохранял. Он таскал в портфеле толстые книги и крестьянам-посетителям приводил цитаты из классиков марксизма-ленинизма — и чаще всего невпопад, не по тому вопросу, о котором шла речь. Узнав, что Лемяшевич писал диссертацию, Ровнополец при встречах слушал его с большим почтением и любил при случае похвастать, что директор школы у него не какой-нибудь там, а учёный…

— Петро, ещё стакан! — командовал Полоз. — И чего-нибудь закусить!

Ровнопольца несколько смутила бесцеремонность друга, и он испытующе смотрел на Лемяшевича, как бы стараясь отгадать, что думает директор об их выпивке за закрытой дверью.

Мохнач все так же молча сидел на ящике и, казалось, рассматривал пятна на полу. Но Лемяшевич заметил, как он время от времени бросает на него косые, с хитринкой и даже некоторым пренебрежением взгляды, наверно, думает: *«А вот сейчас узнаем, что ты за птица!»*

Полоз разлил вино в стаканы, шутливо перекрестил их:

— Изыди, нечистая сила… Останься чистый спирт… — И поднял свой стакан. — Ну, братцы, поехали, а то во рту пересохло.

— Я, товарищи, не пью, и вы на меня не обращайте внимания, — сказал Лемяшевич и повернулся к продавцу: — Дайте мне папирос, пожалуйста.

Полоз спокойно поставил стакан на прилавок. Ровнополец будто поперхнулся и как-то смешно кашлянул. Один Мохнач не двинулся с места, и пренебрежительная улыбка промелькнула на его небритом, покрытом пылью лице.

— Не пьешь? — спросил Полоз, серьёзно и мягко.

— Не могу.

— Слушай, Лемяшевич! — Полоз подошел, взял его за руку выше локтя и сверху заглянул в лицо, в глаза. — Мы знаем, что ты человек ученый. Но ученые такие же люди, как и мы, грешные… Ведь ты же крестьянский сын, партизан… Вот и Антон партизан… И не строй ты из себя замшелого интеллигента, не задавайся. Будь человеком простым. Живёшь с людьми…

Лемяшевич еще почти не был знаком с этим напористым, грубоватым человеком, знал только, что в армии Полоз дослужился до капитана, что бухгалтером работает из-за увечья и что он секретарь колхозной парторганизации. Вообще Лемяшевич был не прочь поближе познакомиться с ним, но ему не нравилась вся эта обстановка — закрытые двери, бумажка, и потому он сухо ответил:

— Я полагаю, не в том простота, чтоб напиться.

— А кто тут думает напиваться? Михаил Кириллович! — как-то по-бабьи вскрикнул и развел руками Ровнополец, озираясь вокруг, словно ища, кто это, в самом деле, хочет напиться.

— Вот именно, — подхватил Полоз, — никто тебя не собирается напоить! Выпить по стакану вина…

Молдавского… Натурального… Оно у нас редко бывает… У нас все райпромкомбинатовское… Пойло какое-то, уксус…

Лемяшевич понял, что дальше отказываться невозможно.

Полоз не отвяжется или обидится и, чего доброго, обругает — характера у него на это станет. Он согласился, взял стакан.

— Ну ладно, за доброе знакомство! — и бросил взгляд на Мохнача.

Но тот сидел, ни на кого не глядя, уставившись в кипы материи на полках. Так, не глядя, он и чокнулся.

Полоз, наоборот, откровенно разглядывал директора с каким-то детским любопытством. Выпив, он уселся на весах, разломил печенье, кинул кусочек в рот.

— Ты вот о простоте заговорил…

— Не я — вы, — улыбнулся Лемяшевич.

— Слушай, Лемяшевич, давай на *«ты»*… Мы с тобой люди свои, коммунисты, — и к чёрту все церемонии! Это тоже — к вопросу о простоте… Согласен? Давай лапу! — И он неожиданно крепко, до боли пожал Лемяшевичу руку. — Так, значит, о простоте. У тебя учитель есть, Ковальчук Павел Павлович… Наш деревенский хлопец, мы с ним вместе свиней пасли, в ночное ездили… учились вместе… Воевал парень… Одним словом, был человек как человек. И вот после войны поучился он в Гомеле, женился там на какой-то стрекозе… приехал работать. И, представь себе, подменили человека — не иначе. Беликов, и даже хуже… Кроме своей особы и дражайшей половины, ничего больше для него не существует. Людей боится… Но сейчас я не об этом… Ребята приехали с учительской конференции — смеются, как он двадцать пять граммов заказывал в чайной! А чтоб тебе!

Ровнополец засмеялся и подмигнул продавцу.

Лемяшевич вспомнил свой разговор в чайной. Ковальчука он знал, учитель этот произвел на него хорошее впечатление своей аккуратностью и точностью. И теперь его удивило открытие, что официантка рассказывала именно о Ковальчуке.

— Но и это бы еще ничего, — продолжал Полоз. — Ну, может, нельзя человеку… Черт с тобой… не пей. Но мне потом батька его рассказывал… Старику седьмой десяток, а он еще плоты гоняет… ноги промочит, опрокинет пол-литра — и черт ему не брат… Ага, так вот он рассказывал… Когда у бедняги Павлика нет аппетита, — а случается это теперь нередко, — его заботливая половина подносит ему… столовую ложку… портвейну!.. Ах, чтоб ты сгорел!

Бухгалтер сделал такой жест рукой и так захохотал, что и остальные не могли удержаться от смеха.

— Ну, брат, не могу я уважать такого человека! Ни вот столечко… Тошно становится… хоть убей! — И он сердито сжал кулак. — Потому что фальшь все это… Мещанство самое поганое… Перерождение! Нет, брат, извини, пожалуйста, не этим интеллигентность меряется! Можно и выпить и погулять, но надо жить с народом… Верно я говорю, Лемяшевич?

На прилавке уже стояли две новые бутылки вина.

— А по-моему, и гулять надо вместе с народом, — сказал Лемяшевич и как бы невзначай бросил взгляд на закрытые двери.

Его поняли. Председатель сельсовета разочарованно крякнул:

— Эх, Михаил Кириллович!

Мохнач молча отошел и сел на свой ящик, а Полоз удивительно живо поднялся, встал перед Лемяшевичем, взял его за лацкан пиджака.

— Погоди. Ты что о нас подумал? Что мы от народа спрятались и, видно, на краденые пьем? Так?

— Да нет… Что вы!..

— Врешь… Подумал… Так вот что — выкинь из головы!.. Я восемь лет бухгалтером, пережили годы знаешь какие? В доме хлеб за кулич считался. Но ни один колхозник, ни один ревизор не попрекнул меня, что я запустил руку в колхозный карман. Потап, конечно, председатель дрянь, ругают его в каждой хате. Но кто посмеет сказать, что он хоть одно яйцо с фермы взял? Я первый заткнул бы такому брехуну глотку! Вот так, товарищ директор, можешь ругать нас, критиковать — и правильно критикуешь, за клуб, например, за культуру, — но не обижай…

— Да у меня и в мыслях не было… Чего ты ко мне привязался? — мирно, дружески возразил Лемяшевич. — Если б я действительно так думал, можешь быть уверен, — не прикоснулся бы к стакану!

Полоз поверил, улыбнулся.

— Коли так—выпьем еще этого кваску. За доверие и дружбу!

Выпили.

— Ты не думай, Лемяшевич, что мы часто сюда заглядываем. Нет. Это я их пригласил, — бухгалтер кивнул на председателей. — Я сегодня, знаешь, разволновался до слез. Пришла ко мне делегация колхозников из четвертой бригады, из Задубья… Бородачи все. И зачем, ты думаешь, пришли? Посоветоваться… Принесли коллективное письмо в ЦК. Благодарят за новый закон о сельхозналоге. Знаешь, прочитал я это простое письмо — и тут только понял до конца, что такое этот новый закон… Читал я его раньше, разъяснял колхозникам, радовался снижению налогов, но главного-то не понимал — что не просто в снижении дело… На свои места ставит закон все взаимоотношения на селе. Вот что. Бьёт по нарушениям нашей главной партийной заповеди: всё для народа, для его счастья… А то что у нас было? Там, брат, дядьки пишут в письме, как у них в Задубье сады вырубали,

уничтожали пасеки, как в нашем в общем-то не слабом колхозе десятки колхозников остались без коров… Читал я — и больно мне было и стыдно… Стыдно, Потап! — сурово бросил Полоз председателю колхоза. — Я же раньше видел всё это, а молчал… Почему я молчал, почему не писал, не сигнализировал в ЦК, как требует от меня устав моей партии? А я помню, как плакал старый Шаблюк, когда хромой Прокоп у себя сад рубил… Забыли мы свой основной долг… Вот что… Полоз вылил в стакан остатки вина, опрокинул с размаху в рот. Лемяшевич с интересом следил за ним и все ещё не мог разобрать — то ли он пьян, то ли в самом деле так возбужден.

— В чем, в чем, а в бескоровности наших колхозников мы с тобой, Потап, крепко виноваты. Хозяйничали, чёрт возьми! Сотни гектаров сенокоса оставались зимовать под снегом, а на ферме скотина дохла и колхознику нечем было корову прокормить. Я знаю, как Лемяшевич не позволил тебе отобрать у колхозниц сено, нажатое ими в лесу… Напрасно ты его, Михась, по морде не съездил, я защищал бы тебя во всех инстанциях.

В голосе его звучала горькая ирония. Мохнач быстро глянул на своего критика. Полоз старался внешне сохранить спокойствие, но нельзя было не видеть, что он весь кипит. Теперь Лемяшевич уже понимал, что он не пьян, а очень взволнован.

— Вообще давно хотел я у тебя, Потап, спросить — для кого ты работаешь?

Мохнач не ответил — считал половицы. Полоз терпеливо подождал и повторил свой вопрос:

— Для кого?

— Как так для кого? — спросил неприязненно Мохнач. Ровнополец от любопытства затаил дыхание.

— Да вот так… Ты даже не знал до сего дня, что все мы работаем для народа… А ты народа не видишь — ты же всегда в землю смотришь, и, кроме своего пуза, ничего

у тебя нет перед глазами… А земля без людей мертва… Ты управляешь колхозом, а не знаешь, как колхозники живут, у кого хлеба нет, а у кого сала полно. И хотя ты не пьёшь, не крадёшь, а народ тебя не любит… Хоть это ты видишь? Должно быть, тоже нет, потому что сказать тебе в лицо у людей не хватает решимости… Так вот я говорю — не любит!.. Ты сам не любишь людей, не видишь их. Так за что же им тебя любить? Но как это с тобой случилось, коммунист Мохнач? Не понимаю… Был бы ты карьерист какой-нибудь, из тех, что рвутся вверх… Но какой ты к черту карьерист! И куда ты можешь подняться? Ты ведь и себя не любишь. Ты газету раз в месяц читаешь, и то одни объявления. Что ты знаешь, что тебя интересует? Председатель крупного колхоза!

— Так-так-так, — быстро на высокой ноте пропел Мохнач и, как будто в подкрепление, выбил это *«так»* пальцами на прилавке. — Гляжу я — что это мой авторитет растет? А оно вот что — парторг его поднимает. Так-так-так…

— Твой авторитет!.. — Полоз пренебрежительно покачал головой. — Нельзя ни поднять, ни уронить того, что не существует, — пустоты. Какой у тебя может быть авторитет? Для того чтобы иметь авторитет, надо жить с народом, вон как Груздович живет.

Мохнач поднялся, бросил продавцу:

— Запиши на меня бутылку вина, — и подошел к бухгалтеру с таким решительным видом, словно хотел ударить. Уставившись в него злобным взглядом, язвительно сказал, ощерив желтые зубы — Дай же, я хоть на тебя погляжу. А то за все время я так и не разглядел, кто у меня бухгалтером сидит. — И вдруг крикнул, обращаясь к остальным — Чего глаза вылупили? Интеллигенты! — И, разразившись длинным, многоэтажным матом, быстро вышел, хлопнув дверью.

Какой-то миг все неловко молчали. Лемяшевич, уже с некоторым сочувствием смотревший на Мохнача, когда тот молча слушал эту безжалостную критику, теперь

окончательно понял этого человека, с которым ему уже не раз приходилось сталкиваться, и был признателен Полозу. Он всегда был сторонником таких вот откровенных разговоров, сразу раскрывающих всего человека. И хотя его тоже несколько смутил неожиданный финал беседы, но в душе он был рад, что окончилось именно так: Мохнач как бы сам разоблачил себя.

Но на мягкого, кроткого по характеру Ровнопольца, который склонен был прощать людям их человеческие слабости, все это, видно, совсем иначе подействовало.

Он огорченно вздохнул:

— Зря ты это, Андрей Николаевич.

— А ну его! — отмахнулся Полоз. — Пускай уходит!.. Тошно мне глядеть на него...

Теперь вид у него был совершенно трезвый и усталый. Он бросил на прилавок сторублевку.

— За все получи... Для сына конфеток дай граммов сто... Погоди, что это меня женка просила купить? Все к черту из головы вылетело.

Лемяшевич неожиданно для себя предложил еще выпить: захотелось закончить разговор теплее. Полоз согласился без особой охоты, больше из вежливости, и, выпив, взялся за печенье, ел с аппетитом, основательно. Теперь говорил главным образом Ровнополец.

— М-да, Николаевич, не знал я, что ты умеешь так... разносить...

— Когда-нибудь и до тебя черед дойдет, — хмуро, не в шутку ответил Полоз.

Выпили еще. Лемяшевич почувствовал, что тело его стало каким-то необыкновенно легким, а душа полна веселья и необычной нежности к себе и к этим своим новым друзьям. Такими добрыми, простыми и

сердечными людьми показались ему Полоз и Ровнополец, что захотелось тут же, немедленно, обнять и расцеловать их. Но он еще сознавал, что если это сделает — его сочтут пьяным, и потому сдерживался. Однако надо же как-то доказать свою любовь, свои добрые чувства! И он, весело смеясь, попросту, как и они, обратился к продавцу:

— Петя! Шампанского, черт подери! — Он чертыхался, подражая Полозу. — А что? Для чего оно лежит здесь и пылится? Чтоб люди пили! А кто должен пить? Мы должны пить! Для нас его делали!

Председатель сельсовета заливался смехом и подмигивал Полозу; более привычные, они не пьянели — и забавлялись теперь, что им удалось *«расшевелить»* директора.

Взлетела в потолок пробка, ударила пенная струя, и, пока они подставляли стаканы, половина драгоценной влаги вытекла на прилавок и Лемяшевичу на штаны.

— А-а, черт! Здесь и пить уже нечего! Давай еще одну, Петя! — рассердился он.

Вторую бутылку откупорил Полоз и не пролил ни капли. Но только они подняли стаканы и пожелали друг другу всяческих радостей жизни, только успели поклясться в вечной дружбе, как застучали в дверь поэнергичнее и понастойчивей, чем стучал Лемяшевич. Но теперь они были уже в таком состоянии, что никто не мог их напугать — ни Бородка, ни сварливая жена Ровнопольца, которой тот боялся больше всего на свете. Председатель смело и даже грозно спросил:

— Кто там?

— Откройте! — отозвался настойчивый женский голос.

— Груздович! — прошептал Полоз и, поставив стакан, сам заковылял к двери.

Наталья Петровна остановилась на пороге, быстрым взглядом сразу охватив всю картину: присутствующих и

стаканы с желтоватой влагой, на поверхности которой лопались пузырьки. В глазах её сверкнул гневный огонек. Но Лемяшевич, ничего этого не заметив, поднял стакан и направился к ней.

— Наталья Петровна! Рад вас приветствовать! Давно мечтал познакомиться с вами поближе!

Она так взглянула на него, что, даже пьяный, он смешался, умолк, растерянно забормотал какие-то извинения. Она презрительно отвернулась и взволнованно заговорила с Полозом:

— Андрей Николаевич! Что же это такое? У меня больная, Марфа Лупач, тяжелый приступ, необходимо срочно в районную больницу, а ваш Потап — ни машины, ни лошади… Минимум не выработала — значит, помирай, так у него выходит… Что за человек, боже мой! Скажите ему — он будет отвечать, если что случится! Я никогда ему не прощу! — И вдруг, неожиданно понизив голос почти до шепота, прибавила — Как вам не стыдно, Андрей Николаевич!

Он покорно склонил голову, тихо произнес: — Ты наша совесть, Наташа. Прости. Не осуди. А этого… — разозлился он, — эту скотину я сейчас палкой! — И, повернувшись, чтобы взять свою палку, покачнулся, схватился рукой за дверь.

— Палкой! — укоризненно протянула Наталья Петровна и быстро сбежала с крыльца.

Они вышли за ней, бросив стаканы с шампанским, и стояли, глядя ей вслед.

Она шла по улице, и от быстрого шага отлетали назад концы повязанной на шее пестрой косынки.

— В МТС побежала, — сказал Полоз и вздохнул.

Лемяшевичу вдруг стало противно, стыдно, пропали куда-то легкость и веселье, все вокруг перестало казаться праздничным и привлекательным. Во рту пересохло и ощущалась какая-то горечь, кровь больно

стучала в виски, — отвратительное чувство. Он проклинал себя в эти минуты. А когда возвращался в школу, боялся бросить взгляд в сторону, шёл как по горячим углям, чтоб не дай боже не покачнуться, не выдать себя. Ему казалось, что из каждого окна, из каждого двора и закоулка за ним следят любопытные, настороженные глаза детей и взрослых. И что его понесло в эту лавку? Что заставило его пить да ещё угощать? Никогда до этих пор никто его не мог подбить на неумеренную выпивку — ни в партизанские времена, ни в институте. Даже на выпускном вечере он оставался самым трезвым. И вот — на тебе! Был человек как человек — и вдруг… Да еще — едва начав работать!.. Но самое страшное — это её взгляд, взгляд этой странной женщины, презрительный, уничтожающий.

«…Чтоб иметь авторитет, надо работать, как Груздович…»

Кто это говорил и кому? Он никак не мог вспомнить. Не ему ли это было сказано?

В квартире было душно, окна выходили на юг, и за день она сильно нагревалась, но он не решился выйти в сад, чтоб не встретиться с кем-нибудь. Закрыл двери и окна и решил никого не впускать, если и постучатся. Лежать на диване было жарко, он стащил одеяло и улегся на полу. И снова перед глазами Наталья Петровна, но смотрит она уже не презрительно, а участливо, как будто ей очень жаль его, беспомощного, обиженного.

Лемяшевич разозлился:

«Чего ты пристала ко мне? Я тебя знать не желаю и знакомиться не хочу. «Ты наша совесть, Наташа!» С чего это ты моя совесть? Моя совесть у меня, и я никому ее не отдам… А пить больше не буду! Теперь меня не заманите! Нет! Дудки!»

Успокоившись, Лемяшевич наконец уснул. Снились ему дурные сны. Проснулся — на дворе темно. Болела голова, и страшно хотелось пить, язык во рту — что

колода, не повернуть. В его холостяцкой квартире не нашлось и капли воды, напрасно он искал ее. Света он не включил. Вышел во двор. Ночь тихая и свежая… С одной стороны, от Снегирихи, долетают мелодичные звуки пианино, а в другом конце улицы два мальчишеских голоса горланят не вполне цензурные частушки.

Лемяшевич не решился выйти на улицу, к колодцу, а прошел огородом, чтоб напиться из криницы. Когда возвращался назад, школу осветили фары машины — промчалась *«Победа»*, красный стоп-сигнал ее скрылся за поворотом.

В школу приехала преподавательница младших классов Сухова и привезла с собой дочку и старуху мать. Уже при первом знакомстве Лемяшевич понял, что жизнь у этой женщины нелегкая — не так просто ей сводить концы с концами при пятистах рублях месячного заработка. И он решил ей помочь—избавить от необходимости нанимать частную квартиру. Но, кроме его, директорской, у школы была еще всего одна квартира — отдельный домик, который занимала Приходченко Марина Остаповна. Зная, почему она пользуется такой привилегией, Лемяшевич решил непременно, ни перед чем не останавливаясь, вселить к ней Сухову. Он вызвал к себе Приходченко. Она явилась часа через полтора после того, как за ней послан был ученик с запиской. Лемяшевич терпеливо ждал в учительской, сначала возмущаясь, потом — с олимпийским спокойствием: сидел и перечитывал школьные программы. Он не поднялся навстречу, когда пришла Приходченко, но она первая приветливо поздоровалась.

— Добрый день, Михаил Кириллович, — и протянула мягкую, холеную руку. Присела сбоку на твердый самодельный диванчик, незаметным движением одернула платье, прикрыв полные красивые ноги.

С минуту, убирая со стола бумаги и книги, Лемяшевич тайком разглядывал ее, хотя встречался с ней уже не первый раз. Это была женщина лет тридцати двух,

довольно привлекательной внешности. Выразительное лицо, несколько широкое правда, с чуть грубоватыми чертами, но свежее и здоровое, с нежными ямочками на щеках, когда она улыбалась. *«Как у чеховской героини»*, — подумал Лемяшевич. И еще очень хороша у нее была шея-полная, точёная, без складочки или морщинки, мраморно-белая. Вообще годы еще не оставили следов на ее лице. Выдавали возраст и пережитое одни глаза — прищуренные и усталые; в них как бы погас свет, и они стали от этого темнее. Хотя еще и сейчас в глазах ее загорались порой короткие вспышки, и тогда лицо делалось еще привлекательнее. Такая вспышка промелькнула, когда Марина Остаповна заметила, как разглядывает ее директор. Она не кокетничала, казалась на удивление простой: ничего искусственного, деланного. Она не пользовалась даже пудрой и помадой. И одета была просто, но со вкусом. Лемяшевичу даже как-то жалко стало, что так глупо растрачивает она свою красоту. Марина Остаповна тоже с любопытством следила за ним, видно пытаясь отгадать, зачем ее вызвали.

Лемяшевич вытер платком вспотевший лоб.

— Да вы откройте окно. Как можно сидеть в такой духоте! Или, может быть, у вас со мной секретный разговор? — И в глазах у неё снова вспыхнул странный огонек.

Лемяшевич послушно открыл окно и, чтоб не вдаваться в лишние рассуждения, сел и, как начальник, в довольно категорической форме сообщил о своем намерении.

Марина Остаповна и бровью не повела, только посмотрела на Лемяшевича, как на наивного мальчика, пытающегося решать большие дела.

— Я надеюсь, вы меня поймете. Семья бедная, тихая, поселится она на той половине, где русская печь. Мешать они вам не будут, девочке уже семь лет, в первый класс пойдет. А старуха может даже стряпать вам.

Она перебила его:

— Я понимаю. Но вы напрасно беспокоитесь. Никого я к себе в квартиру не пущу!

— Квартира школьная. И вы не имеете права занимать такую площадь... Это, знаете, слишком для одного...

Она вздохнула, будто и вправду жалея, что он так наивен.

— Вы новый человек, Михаил Кириллович... и не знаете некоторых обстоятельств...

Последние слова прозвучали насмешкой и хлестнули Лемя-шевича, как пощечина. Он вздрогнул, уставился на нее.

— Каких обстоятельств?

— Да так... кое-каких... — уклонилась она от ответа.

Но Лемяшевичу прекрасно было известно, что она имела в виду, и её бесстыдство возмутило его. Сдерживая гнев, он с минуту неловко молчал, а она насмешливо наблюдала за ним, и глаза её горели, как у кошки. Потом он встал и... закрыл окно.

Она насторожилась...

Лемяшевич прошелся до дверей и обратно, чтобы успокоиться. Остановившись посреди учительской, резко сказал:

— Нет, я знаю, что это за об-сто-ятельства. — Слово это он произнес с издевкой. — Я знаю... И я удивлен, что у вас еще хватает духу говорить об этом. Мне стыдно за вас и за человека, который у вас бывает... Вы—педагог, учите детей, молодежь, преподаете русскую литературу — предмет, который должен воспитывать самые высокие чувства... укреплять нашу мораль. Вы, конечно, твердите об этом на уроках... А в жизни? Что делаете вы в жизни? Вы знаете, как о вас колхозники говорят?

Только теперь она покраснела и, должно быть, почувствовав, как загорелись щеки, осторожно коснулась их пальцами. Потом, как бы опомнившись, со злостью спросила:

— А какое вам, собственно, дело до моей личной жизни? — Не мне одному — всему коллективу… Мы воспитываем людей будущего, людей морально чистых. И мы не позволим!..

— Ой, какие громкие слова! Вы же не на митинге, товарищ Лемяшевич, — поморщилась она.

— Нельзя допустить, чтоб вы своим поведением… позорили весь коллектив…

Марина Остаповна, женщина не глупая и опытная, отлично понимала, что ни возмущение, ни деланная обида или слезы не подействуют на такого человека, как Лемяшевич, это только подольет масла в огонь. Поэтому она применила неожиданный маневр — игривым тоном прервала его тираду:

— Вы это всерьез или только притворяетесь? Не прикидывайтесь, Лемяшевич, ангелом, вам это не идет. Лучше… — знаете что? — женитесь на мне… ведь вы человек без предрассудков… Обещаю вам быть хорошей женой… Верной…

Действительно, такой неожиданный поворот просто ошеломил Лемяшевича, он осекся на полуслове и, растерянно замигав, умолк.

Она встала и подошла к нему. Он испуганно отступил за стол. Она громко и весело рассмеялась.

— Сколько вам лет, Лемяшевич? Вы, должно быть, лет десять прибавляете? — И, не дав ему снова заговорить, закончила уже серьёзно: — А к разговору о квартире и моих отношениях с Артемом Захаровичем советую вам не возвращаться! Для вашей же пользы… Будьте здоровы! — И вышла, гордо подняв свою красивую голову.

Лемяшевич с минуту стоял неподвижно, прислушиваясь к ее шагам в коридоре. Потом грохнул кулаком по столу.

— Нет! Я еще вернусь к этому разговору! Вы мне рот не заткнете! Не на такого напали!

10

В райкоме только что окончилось короткое совещание уполномоченных. Бородка не любил длинных заседаний. Он начинал всегда словами: *«Давайте, товарищи, посоветуемся»*, — но говорил все время один и кончал категорическим предупреждением: *«Через час чтоб ни одного человека не было в райцентре. Увижу кого-нибудь — пусть пеняет на себя»*.

И все знали, что это не просто слова, что сохрани бог попасться теперь Артему Захаровичу на глаза — пощады не будет никому, даже второму и третьему секретарям, даже Волотовичу, не говоря уже о заведующих отделами, инструкторах, инспекторах и прочей *«мелкой сошке»*.

В кабинете, кроме Бородки, остались Волотович и редактор газеты Филипп Жданко, молодой худощавый человек в очках.

Волотович пересел с дивана у окна за длинный стол для членов бюро. Взял одну из многочисленных директив, лежавших стопкой на столе секретаря, это почта из центра. Бородка придвинул к себе другую стопку — директивы райкома вниз, в колхозы, — и начал подписывать. Редактору, который сидел в конце стола, у самой двери, то застегивая, то расстегивая замок своей кожаной папки, бросил официально, давая понять, что разговор будет краток:

— Слушаю вас, товарищ Жданко.

Тот снял очки в золоченой оправе, повертел их за дужку.

— Я просил вас, Артём Захарович, не посылать меня в район, у меня ответственный номер.

— Поручите секретарю. Парень опытный, два месяца замещал редактора.

— Но газета какая была!.. Стыдно читать…

— Я не вижу, чтоб она стала лучше после вашего приезда, — жестко сказал Бородка.

— Возможно, — спокойно согласился Жданко. — Но при таком положении, когда редактор превращается в штатного уполномоченного, улучшить ее…

— Товарищ Жданко, — перебил его Бородка, — у нас сейчас горячая пора: уборка, хлебопоставки и сев озимых. И по всем этим кампаниям наш район не на первом месте. Никакой самый сверхвыдающийся номер газеты не поможет нам выйти в передовые.

— Вот как! — Редактор надел очки и внимательно посмотрел на секретаря. — А уполномоченные помогут?

— Мы должны использовать все средства, организационные и пропагандистские, — ловко исправил свою ошибку Бородка и, взглянув на часы, снова занялся подписыванием бумаг.

Жданко помолчал, потом встал и решительно произнес:

— Хорошо, я поеду. Но заявляю вам: вы не правы… И вообще… Не нравится мне стиль… нашей работы.

Он явно хотел сказать *«вашей»*, но не хватило решимости, и он сказал *«нашей»*. Подождал, что ответит Бородка, но тот даже и не глянул. Это равнодушие, невнимание секретаря оскорбило молодого редактора. Он покраснел и хотел сказать что-то еще, но, взглянув на Волотовича, который ласково улыбался ему, тоже ответил виноватой улыбкой и вышел.

— Не везет нам на редакторов. Чистоплюй! — сказал

Бородка, когда за Жданко закрылась дверь.

Волотович снял очки, положил их на стол.

— А знаешь, он прав. Не нравится и мне стиль нашей работы... вернее говоря — твоей...

Бородка быстро вскинул голову, блеснул удивленным взглядом.

— Ты что?

— Вот видишь, как тебя задело, что я, председатель райисполкома, член бюро, вдруг решился сказать тебе об этом.

— Да нет, ничего... Критикуй, пожалуйста... если тебе пришла такая охота. — И Бородка снова взялся за бумаги.

Волотович с минуту молча разглядывал его.

— Давишь ты, Артем, своим авторитетом людей, глушишь их инициативу.

Бородка энергичным движением отодвинул бумаги и откинулся на спинку стула, лицо его стало сурово и непривлекательно: от углов рта пролегли тяжелые складки, и щеки как будто обвисли.

— Так... так, старик, давай...

— На словах ты — за критику. А по сути в районе право на критику имеешь ты один, ты захватил на нее монополию...

— Гм... Интересно...

— Ты безжалостно и часто бестактно критикуешь и разносишь всех и каждого, но никто не отважился критиковать тебя...

— Чепуха. Ты и то вот отважился...

Волотович умолк и укоризненно, с обидой посмотрел

Бородке в глаза, в которых снова прыгали насмешливые искорки.

— Да, ты пользуешься моей слабостью. Вернее говоря, тем ненормальным положением, в котором у нас подчас оказываются председатели исполкома… Хозяин в районе секретарь, а председатель… он или становится тенью секретаря, исполнителем его воли, или, если ему такая роль не по душе, должен начать борьбу с ним. Когда я приехал, у тебя был уже немалый авторитет. Ты был хозяином района. А я никогда ни с кем не воевал ни за власть, ни за первое место… Я добросовестно выполнял свои обязанности…

Бородка навалился грудью на стол, вытянул руки во всю длину, сцепив пальцы позади письменного прибора, лицо его покраснело, как будто он пытался сдвинуть этот прибор с места и никак не мог.

— А я что — недобросовестно? — спросил он злым приглушенным голосом. — Я шесть лет на своих плечах район тащу!

Волотович тоже разволновался, хотя и сдерживал себя.

— И куда ты его вытащил? — тихо спросил он, и вдруг в голосе его прорвалось возмущение. — Куда? Чем можем мы похвастаться сейчас, когда партия вот как ставит вопрос? Семьюстами литрами молока с коровы?

— Ах, вот оно что! — Бородка, как бы почувствовал облегчение, опять откинулся на спинку стула и застучал ногтями по настольному стеклу. — Ты решил перестраховаться? Снять с себя ответственность? А я не боюсь!

Он расправил грудь, раскинув руки в стороны, к углам длинного стола, и голос его загремел, как всегда, когда он кого-нибудь *«распекал»*:

— Мне не стыдно выйти на любую проверку… товарищ Волотович! Я приехал — полрайона было в землянках. А сейчас — ни одной нет. Я вывел людей из землянок! Я

построил райцентр, заводы!.. Полюбуйтесь! — Величественным жестом он указал на окно.

Но Волотович не шевельнулся и в окно даже не взглянул. Только голос его снова стал спокойным, кротким.

— Артем Захарович, а почему *«я»*? Почему всегда одно только *«я»*? Где народ, партийная организация? Погоди, — остановил он движением руки Бородку. — Никто не отнимает твоих заслуг… Но к чему их так раздувать? Я знаю, что ты человек волевой… Но иной раз думаю: куда направлена твоя воля, твоя энергия?

— На службу народу, партии, товарищ Волотович, — сухо и неприязненно ответил Бородка и снова сел.

— А вся ли на это, Артем? — сердечно и просто спросил Волотович. — Не кажется ли тебе, что добрая доля твоей энергии идет на то, чтоб возвысить самого себя?.. Тебе хочется быть первым лицом…

— Послушай, только из уважения к твоим, сединам… — секретарь угрожающе двинулся на стуле.

— А ты не уважай, если они того не стоят. Давай разговаривать как коммунист с коммунистом. Ты шестнадцать лет в партии, я — двадцать семь. И давай бросим расточать друг другу комплименты. Хватит!..

Бородка взял из пачки на столе папиросу и молча закурил, с наслаждением затянулся и прищурился. Казалось, он вдруг нашел средство отразить неожиданное нападение.

Его, случалось, критиковали и раньше. Не с одним коммунистом пришлось ему крепко побороться, но он всегда выходил победителем. И эти победы портили его: сделали самоуверенным, властолюбивым, слишком требовательным к другим и снисходительным к себе.

Скажи ему все это кто-нибудь другой, не Волотович, его б это мало встревожило… Но Волотович, который, казалось, всегда его поддерживал, которого он, Артем

Захарович, считал другом… Неожиданно, обидно и несправедливо… Однако самый испытанный метод отбить такое нападение, обезоружить противника — это сделать вид, что все ерунда, что ему, Бородке, наплевать на такую критику, что он видит в ней лишь вспышку уязвленного самолюбия.

Бородка плавным движением стряхнул в пепельницу пепел с папиросы и, дружелюбно улыбаясь, спросил;

— Ты чем недоволен, Павел Иванович? Кресло мое хочешь занять? Пожалуйста… уступаю.

Волотович разгадал его маневр и ничего не ответил, только в голосе его опять зазвучали резкие, недобрые нотки.

— Давай посмотрим — как мы руководим с тобой сельским хозяйством? Через уполномоченных штурмуем каждую кампанию. Кстати об уполномоченных. Ты их используешь не только для штурмовщины, но и с другой целью… Когда тебе надо кого-нибудь *«разнести»*, доказать, что он плохой работник, ты его посылаешь туда, где он наверняка не справится. И тогда этот работник у тебя в руках. Ты даешь ему понять, что теперь он держится только благодаря твоей милости. А Потом сам едешь по его следам и, конечно, с твоим опытом, волей и властью делаешь больше, в известной мере вытягиваешь проваленный участок… И сразу убиваешь двух зайцев… Создается миф, что один Бородка может все сделать… Хотя очень часто ты вытягиваешь одних за счет других… Бородка, уже не на шутку встревоженный, начинал понимать, что Волотович не так слаб, как он себе это представлял, и что не смутить его деланным спокойствием и безразличием. Спокойствие это дорого стоило Бородке; он едва сдерживался, то бледнел, то краснел. Поэтому, когда секретарша доложила, что просит приема директор Криницкой школы, он с облегчением сказал:

— Пожалуйста. Пускай заходит.

Он поднялся из-за стола и приветливо встретил Лемяше-вича на полдороге от двери, пожал руку.

— Вот хорошо, что и вы здесь, — обрадовался Лемяшевич, увидев Волотовича. — Сразу и решим. — Он просил отпустить денег на оборудование физического и химического кабинетов, которых раньше не было в школе.

Довольно сложный этот вопрос Бородка разрешил, к удивлению и радости Лемяшевича, быстро и просто: тут же подсказал Волотовичу, откуда взять нужные средства. Председатель райисполкома не возражал, но усомнился — можно ли так сделать? Секретарь райкома взял ответственность на себя.

— Живое дело, Павел Иванович, требует не формального, а живого и оперативного руководства. — И он повернулся к Лемяшевичу. — Вот так. Деньги мы вам дадим… Дадим… Делайте школу образцовой… Скоро переходим ко всеобщему среднему обучению… Но, — он опять налег грудью на стол, приблизившись к Лемяшевичу, сидевшему по другую сторону, против Волотовича, — но должен вас предупредить… по-отечески, по праву старшего… Некрасиво получается, товарищ Лемяшевич. Мне рассказали — я верить не хотел… Молодой педагог, ученый, директор крупнейшей школы — и вдруг пьянка…

Бородка повернулся к Волотовичу:

— Понимаешь, заперлись в лавке Полоз, Ровнополец и уважаемый директор… словом — актив сельской интеллигенции… и нализались так, что на карачках домой ползли… Все Криницы теперь смеются.

«Неправда! — хотелось крикнуть Лемяшевичу. — Никто не полз, и никто не смеется, все это выдумки».

Но была в этом и доля правды. В душе Лемяшевича и до сих пор остался неприятный осадок, и потому он не мог решительно отвергнуть слова секретаря. В первую

минуту он был огорошен. Он почувствовал себя мальчишкой, школьником перед строгим учителем, а при его самолюбивом и независимом характере это было мучительно, нестерпимо.

«Кто же мог донести? Неужто Наталья Петровна? Немыслимо!.. Приходченко, конечно. — И он разозлился. — На себя поглядите! О вас что говорят!»

Волотович сидел молча, опустив глаза.

— Звание педагога — святое звание… И если запятнать его, скомпрометировать, не будут вас уважать ни ученики, ни родители. А ваша обязанность воспитывать у подрастающего поколения новую, коммунистическую мораль… Вы к тому же директор, коммунист, представитель партии… Вы должны воспитывать не только учеников…

Бородка умел говорить. Даже самые избитые, газетные фразы звучали в его устах в своей первородной силе — проникновенно, свежо и разительно; слова били, как камни.

Но Лемяшевич уже не слушал — гордость и злость овладели всем его существом. Идя сюда, он имел намерение поговорить с Бородкой насчет квартиры Приходченко. Поговорить, разумеется, в корректной форме, попросить, чтобы он повлиял на нее. Он знал, что Бородка, конечно, обидится, разозлится… Ну и пусть… На это директор и рассчитывал. Позлится, но потом должен будет задуматься над своим поведением, а это уже не так мало.

Но теперь, когда все так неожиданно обернулось, когда взвели на него такой поклеп, Лемяшевич, человек вспыльчивый, не мог выдержать вежливого, спокойного тона. Он заговорил так же, как и его обвинитель:

— Вы правы, звание педагога — высокое звание. Но еще выше звание партийного руководителя… секретаря райкома… И я вынужден сказать вам: не одного меня, а

весь наш коллектив возмущают ваши ночные визиты к Приходченко. Вот это действительно предмет шуток и острот для всех Криниц!

Бородка медленно поднялся и, опершись о стол, смял пачку папирос; лицо его опять как будто обрюзгло, обвисли щеки. Лемяшевич тоже встал.

С минуту стояли они, разделенные столом, с неприязнью и раздражением глядя друг другу в глаза: Бородка — сверху (он был значительно выше ростом), Лемяшевич — снизу.

— Это не ваше дело. Не суйте носа, куда не следует. Бородка не выдержал взгляда, опустил глаза и только огромным усилием воли сдержал себя, чтоб не закричать, не выгнать вон этого мальчишку, который решился так разговаривать с ним.

— Я — коммунист и директор школы, — внешне спокойно ответил Лемяшевич, и это спокойствие его выбило почву изпод ног секретаря, который обычно умел найти выход из любого, самого трудного положения. Но тут… Если б они были один на один, если б не блестели из-под очков насмешливые глаза Волотовича или хотя бы не было перед этим того неприятного разговора…

«Прежде всего — спокойствие, чтоб «критик» этот не подумал, что я испугался». Артем Захарович заставил себя сесть и взять телефонную трубку. Попросил, чтобы вызвали обком, давая понять, что разговор окончен; другого выхода из создавшегося положения он не нашел.

Лемяшевич вышел на улицу взволнованный, разгоряченный, но довольный собой. Его остановило смутное чувство, что он что-то потерял или забыл. Пощупал в кармане партбилет… Все на месте, а ощущение это не проходило. И вдруг он рассмеялся: от крыльца райкома шел Волотович с его соломенной шляпой в руках.

— Что ж это вы *«голову»* забыли? — пошутил Волотович. Возвращая шляпу, он ласково сжал Лемяшевичу кисть руки. Михаил Кириллович понял: председатель райисполкома одобряет его.

— Пойдем подумаем, как оформить вам деньги, — сказал Волотович.

Когда из кабинета не спеша, но с озабоченным видом вышел Волотович, Бородка дал волю своему гневу. Только сутулая спина председателя скрылась за дверью, он вскочил, заметался по просторной комнате. Рванул ворот сорочки.

— Мальчишки!.. Критики сопливые! — злобно шептал он, должно быть забыв, что один из этих *«мальчишек»* лет на десять старше его. — Сговорились? Мое место хочется вам занять, товарищ Волотович? Не с вашей хваткой! Не с вашими талантами! Только благодаря мне ты держался здесь, старый мешок! Я работал и за себя и за тебя! Я тащил район! Новатор нашелся! Руководитель… *«Не так руководили»*… Решил сыграть на перестройке? Перестроимся без тебя!

Немного успокоившись, он остановился у стола, что закурить, но папиросы были смяты, и от этого снова вспыхнула злость. Он взмахнул кулаком с зажатыми в нем папиросами.

— Да стоит мне захотеть — и следа от вас в моем районе не останется! — И окончательно смятая пачка полетела в угол. — А вообще — наплевать мне на вас!

Он был уверен в своей силе, в своем авторитете среди масс и в высших руководящих инстанциях. Он знал: его ценят в обкоме, считают опытным, настойчивым, оперативным работником. А заведующие отделами обкома и облисполкома даже побаивались его. *«Бородка? С ним лучше не связываться, а то он тебя на очередной конференции так пропесочит, что тошно станет»*.

И он *«пропесочивал»* кого надо, иногда добираясь даже

до секретарей обкома (только не первого, разумеется), до министров, и за ним укрепилась слава человека принципиального. Секретари райкомов, недовольные кем-нибудь из областных работников, обычно просили Бородку: *«Артем Захарович, одному тебе под силу свалить этот дуб. Рубани!»*

Ему дважды предлагали повышение: пост заведующего отделом обкома и — последний раз — заместителя председателя облисполкома. Он отказался.

«Главное звено — район, и я прошу оставить меня в районе. Не кабинетный я работник!» — говорил он в ЦК. Не согласиться с этим не могли. Как не уважить желание остаться в районе? Человек отказывается от повышения, от значительно большего оклада и других материальных благ, от переезда в большой город ради работы в далеком районе, в гуще народа, — чего же заслуживает он, кроме похвалы? А на деле Артем Захарович просто не в состоянии был пойти в чьи-то заместители, не в его это характере, не мог он изо дня в день быть на глазах у начальства. Он знал, что проявить все свои способности организатора и руководителя он может только в роли *«первого лица»*.

Тьфу! Черт! Никогда он так не думал — *«первое лицо»*. Это выдумка Волотовича! Но в конце концов что тут плохого? Первое так первое! Почему бы и нет? Он один тащит район, один умеет разрешить любой вопрос, и люди в первую очередь обращаются к нему. Даже этот… директор, критик этот несчастный, без году неделя в районе, а уже знает, к кому пойти, чтоб получить деньги; не пошел к Волотовичу, а обратился прежде всего к нему, к Бородке.

«Черт меня потянул за язык сказать ему о пьянке… Ну выпил — и шут с ним! Кто не пьет!.. Не цеплялся бы только к Марине! А то ишь какой ход придумал: вселить к ней семью! Нет, надо было его поставить на место… И поставлю! — стукнул он кулаком по столу. — И Волотовичу его место укажу! Хватит либеральничать…»

Зазвонил телефон. Бородка совсем забыл, что просил вызвать обком, и сначала растерялся — с кем и о чем говорить?.. Но тут же нашел выход, попросил соединить его со вторым секретарем.

— Петр Андреевич! Приветствую и поздравляю! С чем? А как же! Передо мной сводка по республике. Кончилось? Ну, все-таки приятно. Как там соседи? Устименко обогнал? Ничего, я решил ему уступить — пускай разок потешится. Сам говоришь — кончилась погоня за сроками. А? Зато сеют у меня — дай бог! Уже двадцать процентов плана… З сухую землю? Ничего. У меня ноги ноют — будет дождь… Боюсь? Конечно, боюсь. Хотя у меня на поле почти ничего и не осталось, но жаль даже тонну какую-нибудь потерять… урожай ведь в амбаре меряем… Петр Андреевич! Договаривались мы, договаривались все лето тряхнуть стариной — на рыбалку… Что? Не твои ли слова — не все делами заниматься? Последние теплые дни. Послушай, если до воскресенья не раздождится, приезжай в Глуховку, а я с ночи выеду, подготовлю… Сетку, а не то неводок… Ну, бери свой спиннинг… Я больше уважаю дедовские способы. Надежней… Толика, конечно, захвати, а я Колю возьму, пускай перед занятиями получат удовольствие. Договорились? Гляди же, в субботу позвоню, напомню… Что? Как вообще дела? Да так, живу, воюю… Слушай, я как-то говорил уже… председателя райисполкома мне бы покрепче надо… Задачи — вон какие!.. Не сжились, говоришь? Нет, наоборот, — хохотнул Бородка. — Семейственность развели, душа в душу… Он читает книжки и нянчит внуков, а я работаю. Да нет, и не думаю жаловаться. Вытяну, конечно! У меня плечи широкие. Нет, кроме шуток, помозгуйте там, пожалуйста…

Кончив разговор, он довольно потер руки, все его волнения из-за стычки с Волотовичем и Лемяшевичем показались незначительными и смешными. И чтоб доказать им, что он и внимания не обращает на их нелепую критику, что он волен делать что хочет, он решил сегодня же поехать в Криницы и не поздно

ночью, а днем заехать к Марине.

Он вышел из райкома внешне спокойный, веселый, но дома жена его, Алена Семеновна, по каким-то одной ей ведомым признакам увидела, что мужу кто-то испортил настроение. На её простом крестьянском, загорелом, обветренном и преждевременно увядшем лице промелькнула улыбка. Ей несвойственно было злорадство, но в последнее время она испытывала невольное удовлетворение, когда находился человек, которой этому *«грозе района»*, как назвала ее мужа одна женщина, портил настроение. Вообще-то и сама она относилась к мужу с затаенной иронией, как взрослые относятся к юнцу, вдруг возомнившему себя пупом земли. Никто лучше ее не знал этого человека: она прожила с ним двадцать лет. Пятнадцать из них, даже больше, она любила его горячо и преданно и считала лучшим человеком в мире, умным, мужественным, волевым. Потом она узнала, что он ездит к другой. Больно пережила она свое большое женское горе. За несколько дней на висках ее заблестела седина, а на лице под ласковыми карими глазами пролегли морщинки. Однажды, разозлившись, когда они довольно шумно поговорили, — так шумно, что Алена Семеновна в первый раз в жизни и совершенно неожиданно для себя запустила в мужа тарелкой, — он крикнул, что не любит ее и не желает с ней больше жить. Но у них были дети — сын и дочь, и ради них она примирилась со своей судьбой, а он, должно быть, испугался партийного взыскания. В конце концов Алена Семеновна свыклась со своим положением — к чему только не привыкает человек! — как будто и страдать перестала. Только иной раз, когда он вдруг проявлял неожиданную ласку (а ей, простой, слабой женщине, так нужна была эта ласка), она плакала, оскорбленная в своих лучших чувствах жены и матери.

В детстве Алена Семеновна окончила только четыре класса, с таким образованием и взял ее в жены председатель сельсовета Артем Бородка, который в ту пору и сам был не намного грамотнее. За годы

замужества она, правда, много читала, но специальности не приобрела: пошли дети (из троих средний мальчик умер во время войны), одолевали хлопоты по хозяйству. В эвакуации на Урале она заведовала детскими яслями. Здесь, в районе, ей не хотелось браться за ответственную работу, но работать, быть среди людей стало уже потребностью, и она пошла в местный колхоз, в огородную бригаду. Бородка сначала возражал, но скоро понял, что это и для него выгодно. Он не раз козырял этим перед председателями колхозов и сельсоветов: — Жена секретаря райкома и то работает в колхозе. А твоя? У твоей жены сколько трудодней?

И даже в обкоме хвастал, что его жена — колхозница.

… Дочь Бородки Нина, студентка второго курса педагогического института, сидела с ногами на диване и читала какой-то, если судить по истрепанной обложке, довольно популярный роман. Артем Захарович любил старшую дочь, тихую, задумчивую, красивую девушку, соединившую в себе, казалось, все лучшие черты матери и отца. Он ласково похлопав ее по плечу:

— Читаем, дочка? Читай, читай, пока есть возможность. Я вот и рад бы почитать, да где там! С утра до ночи мотаешься по району. Газету просмотреть некогда.

Артем Захарович заметил, что жена спрятала ироническую улыбку, и разозлился, снова всплыли сегодняшние обиды. Стало жалко себя. *«Работаешь-работаешь, ночей не спишь, а благодарности даже от жены не дождешься»*. За обедом он искал, к чему бы придраться, чтобы уколоть жену, отомстить ей за неуместные улыбки. Но, Как назло, всё было удивительно вкусно: и окрошка, и вареники с творогом. Привязался он к третьему — киселю.

— Опять эта вечная клюква! Черт знает что такое — август месяц, а свежего яблока никогда не съешь!

— Сады повырубали, товарищ руководитель, — сурово отозвалась из кухни Алена Семеновна. Бородку даже

передернуло. — Вырасти сады, тогда и требуй яблок!

Она вернулась в комнату, на ходу допивая кисель.

— Ты это что? — спросил Артем Захарович.

— А ничего. Так.

— Критикуешь?

— А ты уже считаешь, что тебя даже жена покритиковать не имеет права?

Нина с таким восхищением посмотрела на мать, что Бородка растерялся и только покачал головой.

— Ну и денёк, чтоб он пропал! — Он встал из-за стола и взял планшетку, с которой никогда не расставался.

— Ты куда едешь? — спросила Алена Семеновна.

— В район.

— Я знаю, что в район. Но куда? Тебя ведь часто спрашивают из обкома и уполномоченные разные.

И тут он решил ей отомстить.

— В Криницы поеду, — ответил он, глядя жене в глаза. Она даже не моргнула, ни одна черточка не дрогнула на её лице. Но Артем Захарович увидел, как вдруг вспыхнула, покраснела до ушей дочка, как она быстро вскочила и вышла из комнаты. Это страшно его поразило.

«Знает дочка, Нина знает». И впервые ему стало стыдно за себя.

Жена укоризненно и презрительно покачала головой. А тут еще на беду в комнату вбежал сын Коля, шестиклассник. Он, должно быть, слышал последние слова отца и сразу же налетел с просьбой:

— Папа! Возьми меня с собой в Криницы! Там такие места! И речка, и лес. Не то что этот твой районный

центр! Ни деревца, ни воды! Возьми, папа. Я тебе не буду мешать! Ты же обещал.

— Ни в какие Криницы ты не поедешь! — решительно сказала мать.

— Ну что ты, мама, боишься этих Криниц как неведомо чего? Съедят меня там, что ли? У меня же там хлопцы знакомые есть. Мы на олимпиаде встречались.

— Отстань и забудь думать о Криницах!

Коля уловил в голосе матери угрозу и обиженно отвернулся, только проворчал:

— Ну вот!.. Называется, воспитывают детей.

Артем Захарович, ничего не ответив, схватил фуражку и поспешно вышел.

11

За неделю до начала занятий по решению *«семейного совета»*, которое поддержал и Лемяшевич, Алексей оставил работу в МТС. Боялись, что он будет возражать, но Алёша выслушал молча и сразу согласился: в своём колхозе, где он работал, уборка закончена, а в чужой ехать ему не хотелось. Расстроился из-за этого один только Ращеня.

Но на другой же день Алексей пожалел, что не остался работать до самого конца каникул. Без работы было скучно, да и роль героя, в которой ему пришлось выступать; не нравилась ему. Когда отец, обычно скупой на похвалы детям, сказал просто и коротко *«молодчина, Алёша»*, когда Лемяшевич за ужином крепко пожал ему руку, а сестра Аня шутливо поцеловала в облупленный нос, — это еще он стерпел, Но когда он заметил, что пожилые женщины, ровесницы его матери, первые здороваются с ним, Алексей почувствовал себя неловко, как будто был в чем-то виноват. Однажды женщины целой гурьбой остановили его на улице, да, как назло, против

Раисиной хаты.

— Здравствуй, Алёша! Ну, Алёшенька, низкий поклон тебе от всей нашей бабской армии. Поработал ты этим летом один за всех нас!

— Спасибо тебе, Алёша. А то, бывало, метесе под боком, машин до черта, а мы по старинке спину гнем, половину серпами дожинаем. И до дождей дотягивали, добро пропадало.

— А теперь с хлебом будем.

— Первыми убрали.

Говорили наперебой и, конечно, не обошлись без шуток — такой уж народ эти женщины.

— Вам бы, девчата, расцеловать Алёшу по очереди. Ого, мне бы ваши годы!

Алексей не умел отвечать на шутку шуткой, и похвалы эти были ему горше брани. Не утешало даже и то, что их могла слышать Раиса. А когда он увидел, что из окна Снегирихиной хаты выглядывает Виктор Павлович, вдруг совсем разозлился.

Вечером, на заседании правления, тоже начали хвалить его, и Алексей, не дослушав до конца, незаметно вышел и долго один бродил за деревней. Потом лежал на лугу, вглядывался в далекие звезды и слушал, как играет на пианино Раиса. И стало ему очень грустно — грустно оттого, что Раиса теперь такая далекая, недосягаемая, утраченная навсегда. Он сейчас чувствовал ненависть не только к Орешкину, но даже к пианино. А дома не давала покоя мать: ей казалось, что за время работы Алёша очень похудел, и она старалась за оставшуюся до занятий неделю *«поправить»* сына. Буквально каждые полчаса она спрашивала: *«Алёша, выпьешь парного молочка?.. Алёша, может, сметанки поешь? Холодненькая… Алёша, дед груш прислал, сладкие как мед»*.

И тут еще этот директор. Зачем только родители взяли

его к себе столоваться? Жадность стариковская, денег побольше им надо, как будто мало тех, что зарабатывают Сергей, Адам, Аня и заработал он, Алёша. Правда, новый директор — человек как будто ничего, но с него хватает учительского глаза в школе, а тут еще и дома сиди за одним столом с директором. И Алексей старался пореже обедать и ужинать со всеми. Это ему до некоторой степени удавалось благодаря матери. Семья завтракала очень рано, так как все, кроме зятя, работали в колхозе, а пора была горячая. Степан любил придерживаться заведенного порядка, и особенно приятно было ему видеть всю свою большую и дружную семью за столом.

Домашние это знали, и из уважения к тестю даже Бушила вставал к завтраку, хотя снова потом заваливался спать где-нибудь в саду. Лемяшевичу предложили завтракать часов в девять, но он, чтобы не нарушать привычного уклада и зная, как это трудно хозяйке — кормить всех врозь, поднимался в такую же рань и приходил завтракать вместе со всеми. Одного Алешу мать в те дни не будила: *«Пускай дитя поспит»*. Ужинали тоже все вместе, но Алёша перехватывал что-нибудь пораньше и уходил гулять. Только обедать мать просила его со всеми, и ему приходилось оставаться. Ей хотелось, чтобы за столом было побольше народу, а то Сергей, как правило, к обеду не являлся — уезжал куда-нибудь в тракторные бригады, да и отец, несмотря на свою аккуратность, тоже часто опаздывал — у бригадира дел хватает. Первые два дня обедали втроем: Лемяшевич, Бушила и он, Алексей. Алексей ел быстро и молча, не поднимая глаз от тарелки, разговоров с директором он избегал.

Михаил Кириллович внимательно, с большим интересом наблюдал за юношей. Ему хотелось понять, как Алёша относится к своей славе. Почему так молчалив, задумчив, как будто чем-то недоволен? Однажды, когда Алексей вышел, Лемяшевич спросил:

— Что, он всегда у вас такой… серьёзный?

— В отца, — гордясь сыном, отвечала Улита Антоновна,

но тут же встревожилась, обратилась к зятю — А и правда, Адамка, почему-то он невеселый. Может, нездоров?

— Как же, нездоров! Дуб этакий! Вчера на огороде как хлопнул меня, так и сегодня еще спина болит. Просто скучает без работы и занятий, руки чешутся. — А когда старуха отвернулась, Бушила похлопал себя ладонью по груди, в том месте, где находится сердце. — Вот что с ним… В этом возрасте — страшное дело, брат, особенно когда без взаимности.

Алексей и в самом деле скучал без работы. В первый, день он ремонтировал свой старый велосипед, а потом два дня трудился над удилищем для спиннинга. Лемяшевичу очень хотелось завоевать доверие, уважение и дружбу юноши, сблизиться с ним. И он в конце концов нашел, чем его привлечь. Алексей никогда не видел спиннинга. Михаил Кириллович показал парню спиннинг и предложил пойти на речку поучиться забрасывать его. На речке он еще раз подивился ловкости молодого рыболова: через полчаса Алексей забрасывал не хуже его, старого минского спиннингиста. А главное, юноша очень увлекся новым занятием и был по-детски счастлив, когда после трех часов стараний и труда ему удалось подцепить небольшую щучку. Лемяшевич радовался — основа для дружбы заложена.

— Катушка запасная у меня есть, остальное тоже найдется. Нам бы только удилище как-нибудь раздобыть, и у нас с тобой, Алексей, каждый день будет свежая уха, — говорил Лемяшевич, когда они возвращались домой.

Через два дня Алексей показал ему сделанное им удилище для спиннинга. Директор не мог скрыть удовольствия: удилище на вид было ничуть не хуже настоящего, покупного — гибкое, разборное, отлично отполированное и даже покрытое лаком, с начищенными до блеска кольцами и держателями катушки.

Бушила, относившийся к спиннингу так же скептически, как и к удочке, шутил:

— А я гляжу: что это мой шурин с механики на столярное дело переключился? Чуть хату не сжег — клей варил. Ну, теперь мне не жизнь, а масленица, только успевай есть вашу рыбку. Вы еще Сергея втяните в свою компанию, а то его, кроме тракторов и Морозовой, ничто не интересует.

Сергей виновато улыбался, как бы извиняясь, что такой уж он нескладный.

Мать жалела старшего сына, даже пыталась как-то поговорить с Наташей. Но Сергей узнал об этом и очень рассердился. Теперь она только молча вздыхала, когда кто-нибудь поминал об этом. Алексей, склонившись над тарелкой, принимался орудовать ложкой с такой энергией, будто не ел три дня; он боялся, чтоб этот болтун Адам не ляпнул чего-нибудь и о нём. Но в таких случаях его всегда спасала добрая, умная Аня, она накидывалась на мужа:

— Брось молоть, Адам. Был бы ты на что другое так ловок, как на болтовню. — А я на всё ловкий!

Алексей сам предложил Михаилу Кирилловичу съездить в воскресенье на Днепр на рыбалку. Он попросил у Сергея эмтээсовский мотоцикл, сам собрал все необходимое, чтобы прожить день на природе: котелок, ложки, хлеб, сало, лук, соль. Лемяшевич, чтобы не проспать, завел будильник. Но его разбудил треск мотоцикла под окном прежде, чем будильник зазвонил.

Выехали, чуть начинало светать. Над, лугом и в низинах стоял молочный туман, и в лицо приятно било влажным холодком. А в поле, на пригорках, их овеял поток сухого и теплого воздуха, и не верилось, что это один из последних дней лета. Только когда рассвело и взгляду открылись просторы, летящие навстречу мотоциклу, стали видны приметы осени — поля лежали обнаженные, серые и печальные. Лишь кое-где

зеленела ранняя озимь. Молодые деревья у дороги приветливо кланялись пыльными, все еще зелеными кронами. Но и при быстрой езде можно было заметить на березках и тополях золотые пятнышки — жёлтые листья; листья лежали на дороге, взлетали и кружились в пыльной метелице, взвивавшейся за мотоциклом. Несмотря на хорошее настроение, в котором он пребывал с утра, Лемяшевичем овладела неосознанная грусть. Чувство это частенько приходило к нему в начале осени. В этом году оно явилось впервые и как будто раньше, чем обычно, — в городе осень замечалась позднее.

Алексей ехал с такой бешеной быстротой, что у Лемяше-вича, который не очень удобно сидел сзади, держась одной рукой, дух захватывало.

Не хотелось просить Алексея, чтоб убавил ход: еще подумает, что директор — трус! Но в конце концов Лемяшевич не выдержал и шумливо взмолился:

— Алексей Степанович, потише, пожалуйста, а то всё снаряжение растеряю.

Тот немного сбавил газ, однако ненадолго, через минуту опять так и замелькали деревья да телефонные столбы.

Но вдруг он затормозил. На краю большого поля перезревшего овса, неподалеку от дороги, недвижимо стоял комбайн, рядом с ним курился костёр и виднелась черная фигура спящего сторожа. Алексей проехал мимо комбайна на самой малой скорости, как бы отдавая честь машине. Миновав комбайн, он вздохнул и, со злостью нажав на педаль так, что мотор взревел, бросил:

— Эх, работнички!

И в слове этом прозвучали укор и презрение к людям, которые так затянули уборку, что овёс уже почернел, и одновременно сожаление о том, что он не может остановиться, взойти на мостик комбайна и убирать

весь день, дотемна, покуда не падёт роса или пока на поле не останутся одни копны соломы.

В лесу, через который они проезжали, также чувствовалась близкая осень. Правда, здесь не видно было желтых листьев, но стоял какой-то особый грибной дух, какого не услышишь ни весной, ни летом.

К лугу подъехали, когда уже всходило солнце. Остановились на горе у опушки, под старыми, узловатыми соснами.

Перед ними широко — сколько видит глаз — раскинулись луга.

Алексей остановился якобы потому, что с пригорка вниз шла песчаная дорога. Но он, конечно, сделал это нарочно, чтоб Лемяшевич мог полюбоваться открывшимся пейзажем. Алёша смотрел на директора с радостным и победоносным видом, как бы говоря: *«А что? Видите, какая у нас красота?»*

И правда, было чем полюбоваться.

Внизу, за песчаным спуском, шла гряда ольховых кустов, еще прикрытых тенью леса. За кустами, залитая первыми лучами солнца, блестела водная гладь.

— Днепр? — спросил Лемяшевич.

— Нет. Это озеро со странным названием — Козодои… Но только так говорится — озеро, на самом же деле — старое русло. А Днепр… Видите вон там сигнальный столб? За ним песок — это уже другой берег.

Луг начинался за Козодоями. На север и на юг широкая долина густо уставлена была стогами, самыми разными по форме: были тут низкие и пузатые, высокие и тонкие, ладные и неуклюжие, кое-где наклонившиеся, скособоченные, с березовыми и дубовыми притугами. Говорят, что стога похожи на хозяев, которые их ставят. Между стогами возвышались старые дубы-великаны, а вдоль вьющихся в балочках ручьев и на песчаных пригорках разросся лозняк. В низинах ярко зеленела

отава. Крупная роса сверкала в лучах солнца, вспыхивала и переливалась всеми цветами радуги.

Такие широкие дали, открывающиеся с высоких берегов большой реки, всегда вызывают острое ощущение необъятности родной земли, ее неповторимой прелести и рождают светлое чувство гордости за свой край, восхищения им. Хочется подняться в воздух и лететь, лететь, чтоб с высоты открывались все новые и новые просторы.

Должно быть, испытывая нечто подобное, Алексей спросил:

— Вы на самолете летали, Михаил Кириллович?

— Не раз.

— Должно быть, интересно смотреть вниз, на землю? Видно далеко… Правда?

Лемяшевич понял юношу и минутку помолчал, обдумывая, как лучше передать свои впечатления.

— Видно-то далеко, но, знаешь, там, — учитель показал на небо, — теряется — как бы это выразить? — живое восприятие земной красы. Сверху, особенно со значительной высоты, земля напоминает топографическую карту. Так что красоту земную надо рассматривать с земли же, с неба её не видно.

Алексей засмеялся.

Где-то вдалеке, за озером и кустами, зазвенели о бруски косы.

— Верно, наши, — сказал Алексей.

Бригада Степана Костянка косила отаву и уже с неделю жила на лугу. К ним Алексей и ехал, чтоб оставить в бригаде мотоцикл. Вскоре они встретили в низине человек восемь косцов из их колхоза. Девчата, которые должны были сгребать сено и метать стога, еще спали в шалашах из веток, прикрытых сеном.

В косьбе отавы нет той привлекательности и поэзии, которую таит в себе сенокос, когда снимают первую траву. Сено из отавы лишено того аромата, которым полны луга в июне. Потому и косят второй раз без особого подъема. Но эта небольшая группа косарей шла довольно дружно, так как вел ее сам бригадир — высокий, крепкий, в лаптях, в белой сорочке.

Встретили рыболовов приветливо.

— Посмотрим, что поймаете на эту вашу дорогую снасть!

— Одним словом, уха сегодня обеспечена. — Обеспечена, если мы с тобой с бреднем побродим. Приходите к нам на уху, товарищ директор.

— Говорят, удочка эта столько стоит, что можно год рыбу есть, не выходя на рыбалку.

Потом кто-то надумал:

— А что, если испробовать эту штуковину на Бездонной? Сведи их, дядька Степан.

Степан Явменович повел сына и директора к Бездонной. Так называлось глубокое озерцо, куда, как говорили косари, с бреднем лезть никто не решается, а с сетью — лодку далеко тащить. Шли по росистой отаве, через кусты, по песчаным гребням, брели через болото и наконец остановились в живописном местечке под раскидистыми дубами. Из-за кустов блеснула вода. Это и была Бездонная — круглое, как тарелка, озерцо, метров сорок в диаметре, не больше, с черной, как деготь, неподвижной водой, в которой тускло отражались небо и дубы.

Лемяшевич отнесся к этой *«луже»*, как он назвал озерцо, скептически и не спеша стал собирать спиннинг.

— Это не лужа, Кириллович, — как бы обидевшись за озерцо, сказал Степан. — Вода здесь чистая и холодная, попробуй. Видно, подземные ключи бьют.

Алексей тем временем быстро наладил свой самодельный спиннинг, сгорая от нетерпения поскорее закинуть его. Подойдя к озеру осторожно, как будто боясь спугнуть рыбу, он представил себе, как сейчас закинет и… удивив Лемяшевича и отца, подцепит щуку килограмма на три.

Что ж… бывают и в таком деле, как рыбная ловля, неожиданные удачи, когда осуществляются самые, казалось бы, невероятные мечты и надежды. Редко, правда, но бывают.

Взмах — и всплеснула где-то на середине озера блесна, разбив спокойную гладь воды, пошли зыбкие круги. Все как полагается! Алексей начал вертеть катушку. Но что это? Неужто зацепился? Его даже потащило вперед, натянулся, как струна, шнур, потом катушка с трудом завертелась снова. И вдруг словно кто-то большой камень кинул в воду, даже радугой вспыхнули на солнце брызги. Алексей еще не успел сообразить, что к чему, как услышал взволнованный голос Лемяшевича:

— Алёша, есть! Алёша! Тащи!

Забыв о своем спиннинге, о присутствии Степана и о какой бы то ни было субординации, директор школы, как мальчишка, с радостным криком бежал к Алексею. А у того уже вовсю колотилось сердце — кажется, перед самым трудным экзаменом оно никогда не билось так отчаянно, — дрожали руки, по лбу бежали струйки пота. Щука, на минуту притихшая, начала рваться и бить хвостом, как бы поняв, что ее ждет. Алексей напрягал все силы, чтобы вытащить ее.

— Отпусти! Сорвется, черт возьми! Отпусти! — кричал над ухом директор. — Что ты делаешь? Дай мне!

Но Алексей шагнул в сторону и только крепче сжал удилище. Лемяшевич понял, что спиннинг не отобрать у него сейчас даже силой, и уже более хладнокровно стал давать советы:

— Не тащи вперед, отпусти и поводи ее. Поводи!..

Пускай устанет, а то сорвется. Ух, черт! Прямо вода кипит. Так... — Михаил Кириллович в азарте потирал руки и несколько раз хватался за удилище. — Так, так... Теперь тащи на себя... Отпускай! Ага, начинает сдаваться. Еще разок!

Степан Явменович стоял в сторонке, покуривая и спокойно наблюдая за борьбой двух человек с одной щукой.

— Быстро к себе! — командовал Лемяшевич. Алексей торопливо завертел катушку, щука пошла без особого сопротивления. И вот она уже в прибрежной траве, вся на виду — огромная, черная, с разинутой окровавленной пастью, со страшными глазами. Алексей наклонился, разглядывая ее, и, удовлетворенный, засмеялся, забыв о том, что делать дальше. Но Михаил Кириллович вдруг ахнул и кинулся в воду. Миг — и щука, изгибаясь, подскакивала на берегу в траве. Степан Явменович подхватил ее и отбросил подальше от воды. А Лемяшевич барахтался в воде, хватаясь за траву. Алексей стоял с растерянным видом. Наконец директор выбрался.

— Брр... И верно, какая холодная вода! — дрожа говорил он и, немного смущенный, стал оправдываться — Я увидел, что держится она только на одном крючке и вот-вот сорвётся. Видишь, ударилась о землю и действительно сорвалась.

Степан Явменович, подняв щуку за жабры, прикидывал:

— Кило пять будет! Неплохой улов. С таким не стыдно домой возвращаться.

— Удачник он у вас, Степан Явменович.

— Да, сыны у меня — мастера на все руки, — с гордостью подтвердил Костянок...

За какой-нибудь час Лемяшевич тоже поймал в *«луже»* одну такую же щуку и двух чуть поменьше. Поймал еще парочку и Алексей. Всего набралось около пуда рыбы.

— Ну, это уже бойня, а не рыбная ловля. Не люблю я болтаться на одном месте, — сказал Лемяшевич, однако после того, как перестало клевать. — Идем к реке.

Отдав большую часть рыбы Степану Явменовичу, они двинулись к Днепру.

Клевало здесь хуже, но зато до чего было хорошо! Широкое течение реки дышало прохладной свежестью, манило к себе. Они не удержались, чтоб не окунуться перед завтраком, и, выкупавшись, пришли к выводу, что вода все-таки *«не такая, как летом»*, хотя стояли жаркие дни и ночи были теплые.

Приятно идти берегом и спокойно, без усилия, не выбирая места — нигде ничто не мешало, — закидывать и закидывать блесну, следить с обрывистого склона, как *«играет»* она в воде, как идут следом за ней окуньки. Уже самая возня со спиннингом доставляла огромное удовольствие. А когда Лемяшевич подцепил первую небольшую щучку, белую, хорошенькую, не похожую на своих черных озерных сестер, Алексей метров двести пробежал, чтоб на нее посмотреть.

До полудня рыболовы прошли вниз по течению километров десять и совершенно неожиданно в тенистом местечке встретили Бородку. Он сидел на берегу под дубом в одних трусах и курил; рядом торчали воткнутые в землю две удочки. Красно-зеленые поплавки медленно покачивались на воде.

Бородка первый заметил рыболовов и поднялся навстречу, оставив удочки.

— О! Кого я вижу! Удалые рыбаки! Хвастайтесь—что поймали? — И, заглянув в сумки, где лежали обернутые травой щуки и окуни, даже нахмурился, как будто был огорчен их богатым уловом. — Ого!

— А мы еще большую часть косцам нашим оставили, — вдруг совсем по-детски похвастался Алексей.

— Ну? Тогда вам придется дать немного на общую уху, а

то с нашего улова уха будет жидкая. Не возражаете? Хотите вместе пообедать?

Алёша взглянул на директора — как он? Отказаться было неудобно. Кроме того, Лемяшевич видел, с каким любопытством и восхищением смотрит юноша на секретаря райкома.

Алексей находился в том возрасте, когда для комсомольца старший товарищ, коммунист, и особенно партийный руководитель, кажется человеком необыкновенным, идеалом, которому хочется во всем подражать. Непоколебимый авторитет отдельного человека очень легко прививается в среде таких вот скромных, работящих и честных юношей, как Алексей Костянок. И неудивительно, что Алексей, которого еще год или два назад выгоняли из колхозной канцелярии, когда приезжало районное начальство, считал за честь пообедать с первым секретарем, да еще в таком месте — на рыбалке.

— С радостью принимаем ваше приглашение, Артем Захарович, — ответил с серьёзным видом Лемяшевич, но от Бородки не укрылась тонкая ирония в его словах.

Секретарь искоса» глянул на директора и хотел что-то сказать, но помешал Алексей.

— У нас и лук, и сало, и картошка — все есть, — с той же детской наивностью и непосредственностью выдал он свое желание пообедать вместе.

И эта непосредственность покорила Бородку. Он ласково усмехнулся:

— Это и у нас есть, а вот рыбки маловато. Однако ближе к делу. — И он крикнул в сторону кустов: — Ребята! Толя! Коля! Сюда!

Из-за кустов выглянул мальчик лет двенадцати.

— Что, папа?

—.. Обед! — И Бородка, сложив ладони рупором,

крикнул погромче: — Петр Андре-е-ви-ич!

Откуда-то издалека донеслось в ответ:

— О-го-го!

Подошли к машинам, стоявшим на опушке под дубами. У потухшего костра безмятежно и сладко, раскинув руки, спал обкомовский шофер. Бородка в такие поездки шофёра не брал, водил машину сам. Он, шутя, разбудил парня сигналом.

— Давай, Иван, огонь и готовь котелок. Улов! Подбежали мальчишки, оба одинакового роста, но один подвижной и бойкий, похожий на Бородку, другой — черненький, тихий и застенчивый, Артем Захарович, засучив рукава, умело и ловко стал чистить щук и окуней. Алексей с такой же сноровкой раскладывал огонь. Мальчики восторгались уловом, взвешивая в руках щук:

— Ух, какая зверюга! А зубы-то, гляди, зубы! А почему она черная?

— Не умывалась, должно быть, — пошутил Бородка. Ребята весело хохотали. Алексею тоже было смешно, но он удерживался от смеха, чтобы его не поставили на одну доску с этими малышами.

К огню подошел высокий солидный мужчина в шелковой рубашке и белых, парусиновых брюках, с новеньким спиннингом. Было много общего между ним и Бородкой — и в росте, и в повадке, и в лице, так же чисто выбритом, упитанном и по-мужски красивом.

— Поймал? — насмешливо спросил Бородка, разрезая щуку на куски. — Чудак рыбак! А вот мы — пожалуйста.

— На дензнаки?

— Да нет... Вот они, — Бородка показал на Лемяшевича и Алексея, — ловили на такую же снасть, как у тебя. Знакомьтесь: директор Криницкой школы — Лемяшевич; секретарь обкома — Малашенко Петр

Андреевич; а это — Алёша Костянок.

Секретарь обкома, крепко пожав руку Лемяшевичу, Алеше протянул руку с той небрежностью, с какой часто взрослые здороваются с детьми.

Бородка делал вид, что весь поглощён ухой, но от его зоркого ока ничто не могло укрыться. Он заметил, как покраснел и смутился от этого небрежного пожатия Алёша, и отомстил за него: как бы между прочим, после довольно длинной паузы, во время которой Малашенко уже успел присесть рядом с Лемяшевичем, добавил:

— Тот самый Алёша Костянок, который побил непревзойденного столько лет Старосельца. Вот какие у нас герои, Петр Андреевич!

Секретарь обкома круто повернулся к Алеше, недоверчиво спросил:

— Комбайнер Костянок? — И, увидев застенчивую, виноватую улыбку юноши, снова протянул руку, и на этот раз рукопожатие его было долгим и крепким. — Вот ты какой! Молодчина! Рад. Рад познакомиться. Значит, с комбайна на рыбу?

Алёша совсем растерялся от такого внимания к его особе.

— А послезавтра — за парту. Ведь он ученик десятого класса, — сказал Лемяшевич.

— Знаю, знаю. Ей-богу, молодец! Приятно смотреть на такую молодежь!

— Он во всем удачлив, — сказал Бородка, прилаживая над огнем котелок. — Сегодня с первого раза пятикилограммовую щуку вытащил, не то что мы с тобой. Знаешь анекдот про спиннингиста? Ходил, ходил такой рыболов, как ты, целый день с утра до вечера, намахался удочкой — руки поднять не может, мозоли натер на руках и ногах. И хоть бы для смеха лягушка поймалась. Ничего. Разозлился, повернул назад. Но решил по дороге закинуть еще разок. И что ж вы

думаете?.. — Бородка обвел всех взглядом.

— Щука? — нетерпеливо спросил Коля.

Мальчики слушали рассказ, разинув рты, как интересную сказку.

— Да не просто щука, а с доброго поросенка — килограммов на восемь. Еле вытащил… Посмотрел, отцепил и… бух назад в речку.

— Эх! — даже подскочили мальчики. — Зачем?

— Все равно, подумал, не поверят. Скажут — купил. Анекдот особенно понравился младшему поколению.

Даже Алёша забыл свою солидность и хохотал вместе с мальчиками. Хорошо ему было здесь среди взрослых, серьёзных и в то же время простых и доступных людей, под старым дубом, листья которого шелестели от дыма и горячего воздуха. Вкусно пахло ухой, жареным салом и рыбой. Его смешило, как деловито и ловко орудовал котелком и сковородкой секретарь райкома, как нюхал еду, пробовал, словно женщина.

Секретарь обкома и Лемяшевич вели серьёзную беседу о школе, о воспитании, о научной работе. Оказалось, что Малашенко тоже педагог, работал директором педучилища, тоже собирался когда-то писать научную работу и… не написал.

Алексею никуда не хотелось уходить отсюда, но мальчики потащили его «*поспиннинговать*», поучить их. «*Ты же удачник!*» Шофёр пошёл за хворостом. У костра остались секретари и Лемяшевич. Воспользовавшись удобным моментом, Бородка, опять как бы между прочим, заговорил шутливым тоном:

— Лемяшевичу пальца в рот не клади. Беспокойный человек. Без году неделя в районе — и уже успел поссориться с первым секретарем. Представляешь, восстал против того, что я иногда заглядываю к Марине. «*Моя преподавательница, кричит, и я никому не позволю наведываться к ней!*» Каков гусь?!

— А ты все ещё наведываешься? Ой, гляди, Артем, — укоризненно покачал головой Малашенко, — не пришлось бы нам заниматься тобой на бюро.

Видимо, Бородка рассчитывал на другой эффект. Пошутят, как водится среди мужчин, и делу конец. Таким образом он даст понять Лемяшевичу, что для него, Бородки, все это мелочь, о которой он не боится говорить даже при секретаре обкома. Но тут явно получилась осечка, и Артем Захарович сразу забыл о кулинарии, повернулся к Лемяшевичу — раскрасневшийся, колючий, с недобрым огоньком в глазах.

— Марина мой старый друг, чудесный товарищ, партизанка. А все остальное — бабские сплетни, болтовня. Кто может лишить меня права заехать к другу?

— Посреди ночи? — с недоброй иронией спросил Лемяшевич.

Бородка зло взглянул на него, но сказал спокойно, доверительно:

— Хорошо. Будем откровенны. Я люблю эту женщину. Кто запретит мне любить?

Малашенко погрозил ему пальцем:

— Артём! Не увлекайся!

— А ваша семья, дети? — спросил Лемяшевич.

— Вы — молодой идеалист, Лемяшевич. Когда вы женитесь и поживёте с моё...

— Ну, знаешь, года не служат оправданием распущенности, — потеряв терпение, зло остановил его Малашенко. — Я вижу, не миновать тебе бюро.

— Что вы мне все *«бюро»*, *«бюро»*! — в свою очередь рассердился Бородка и даже побледнел. — Я хочу поговорить как мужчина с мужчиной. Имею я право

любить?

Лемяшевичу неприятен был этот разговор, ему хотелось скорей его окончить, но он не мог уже остановиться: когда доходило дело до спора, он не способен был промолчать, остаться в стороне, а тем более сейчас, когда все это так близко его касалось.

— А кто ж не имеет права любить! — горячо сказал он. — Любите, пожалуйста. Но давайте поговорим не как мужчины, а как педагоги. Я молодой педагог, вы — постарше…

— Я? — переопросил Бородка.

— Вы… Почему вы не хотите считать себя педагогом? Вам партия доверила воспитание…

— Полсотни тысяч людей, — подсказал Малашенко, переворачивая вместо Бородки рыбу, которая уже начала подгорать.

— Да… и вы старший среди нас… Вы руководитель, представляете партию, стоите на страже ее высоких моральных принципов. На вас смотрят, вам подражают, особенно молодежь… Вы заметьте, какими глазами смотрит на вас этот юноша, Костянок… Возможно, вы его идеал… И вот я думаю… Видимо, он не понимает… Не знать он не может… Видимо, не придает значения… Или, может быть, и эти ваши деяния ему кажутся геройством, положительной чертой сильного человека. Представьте, что так оно и есть. Нет, вы представьте! — настойчиво потребовал Лемяшевич, встав против Бородки. — Я не говорю обо всем остальном: о ваших собственных детях, о вашей семье… Они как? Что скажет ваш Коля?

Напоминание о детях вызвало в Бородке то же чувство, которое он испытал, когда убедился, что Нина обо всем знает, — стыд, неловкость, растерянность. Он спрятался за облаком дыма от костра, закашлял и сквозь кашель, махая рукой, примирительно сказал:

— Ну, вы… моралист!

Потом вдруг сурово и властно отрезал:

— Ладно! Хватит!

— Нет, не хватит! — так же сурово возразил Малашенко. — Недостает мужества выслушать правду? А ты выслушай!.. Выслушай!

— Петр Андреевич! — взмолился Бородка, кивнув в сторону подходившего к костру шофёра.

Артем Захарович кликнул детей и во время обеда был по-прежнему весел, разговорчив, шутлив. Лемяшевич с тревогой следил, как восторженно ловит Алёша каждое слово секретаря.

12

Утро первого сентября выдалось хмурое и холодное, ночью шёл дождь. Однако это не испортило общего радостного, праздничного настроения. Как всегда в этот день, и школьники и учителя явились задолго до начала занятий, и свежеотремонтированные гулкие классы и коридоры школы наполнились звонкими детскими голосами, смехом, топотом ног.

Оживлённо было и в учительской. Слегка взволнованные, приветливые преподаватели шутками встречали каждого своего коллегу. И каждый, входя, считал своим долгом поздороваться со всеми за руку, хотя только накануне все встречались на заседании педсовета, а некоторые даже и поспорили там. Но сейчас никто не высказывал неудовольствия по поводу расписания, *«окон»*, никто не нервничал по поводу двоек и других неприятностей. И все они нравились Лемяшевичу в этом новом для него, а в действительности — истинном своем качестве. Он с интересом присматривался к каждому из учителей, даже к Адаму Бушиле, с которым трижды на день встречался за столом.

Раскрасневшаяся, как бы чем-то взбудораженная, сидела на новом диване против открытого окна Марина Остаповна; непрерывно дрожали от смеха ее полные щёки, на них то исчезали, то снова появлялись задорные ямочки. Одетая в новое синее платье из шерстяной ткани, она выглядела очень красивой, красивее всех. Лемяшевич поймал себя на том, что невольно любуется ею. Он заставлял себя неприязненно думать о ней и такого же неприязненного отношения ждал от нее. На педсовете он снял Марину Остаповну с руководства десятым классом, хотя она вела его в прошлом году, и назначил классным руководителем Данилу Платоновича. Марина Остаповна не потребовала объяснений, слова не сказала, точно ждала этого. А сейчас она приветливо смотрела на директора, на Данилу Платоновича и больше всех смеялась и шутила. *«Актриса»*, — подумал Лемяшевич, не веря в её искренность.

Орешкин сделал ей комплимент:

— Вы все хорошеете, Марина Остаповна!

— А вы лысеете, Виктор Павлович, — ответила она под общий смех.

Завуч, как никто, удивил Лемяшевича своим видом и поведением. Ежедневно на протяжении месяца Лемяшевич видел его в каких-то необыкновенных пестрых одеждах: белые или клетчатые штаны, куртки с *«молниями»*, то зеленая, то соломенная шляпа. И походка какая-то развинченная, ленивая. И вдруг он явился на занятия в простом, новом, тщательно отутюженном костюме, в кепке, без трости, оживленный к подтянутый, как исправный офицер. Он один был деятелен: заглядывал в расписание, напоминал, кому в какой класс идти, выходил в коридор успокаивать ребят. Возвращался и опять отпускал какой-нибудь комплимент женщинам.

— И все-таки не могу не отметить, что в нашем коллективе самые красивые женщины. Букет! А? — И поглаживал сердце.

— Ничего удивительного! У нас же и директор и завуч холостые, — с серьёзным видом, однако не без иронии отвечала Ольга Калиновна, поливая цветы. Девушка эта, низенькая и некрасивая, держалась в учительской как заботливая хозяйка.

Данила Платонович сидел на табуретке, облокотившись на длинный стол, стоявший посреди комнаты. Он случайно сел здесь, а казалось, что так и следует, чтобы старейший наставник, ветеран, в эти торжественные минуты сидел в центре.

Участие Данилы Платоновича в разговоре ограничивалось скупыми замечаниями, он как бы берег силы для урока. Для него не составляло тайны, почему все так возбуждены и шумливы. Люди волновались, правда, одни больше, другие меньше, в зависимости от их стажа, да и сам он, хотя работает уже полвека, тоже немного волновался. А больше всех, конечно, волновалась эта молоденькая, совсем еще ребенок, Ядвига Казимировна: ей через несколько минут предстоит дать первый в жизни самостоятельный урок. И потому она больше и громче всех смеялась, от любой мелочи, но смех ее был неестественный, нервный.

Молча и неподвижно в углу, как чужие и лишние в этом коллективе, сидели муж и жена Ковальчуки. Правда, лицо у Павла Павловича несколько раз расплывалось в улыбке — Лемяшевич наблюдал за ними и видел это, — но Майя Любомировна с укором взглядывала на мужа, и он сдерживал смех. Они переговаривались между собой, но только о деле, просматривая планы уроков. И — удивительная вещь — самые острые на язык ни словом не задели их.

«Вот кому в первую очередь надо заглянуть в душу — Павлу Павловичу этому, — думал Лемяшевич. — Только как подступиться, как ключик подобрать? А надо обязательно!»

— Что это Морозовой сегодня нет, — сказала Приходченко.

— Да, всегда первого сентября приходила. Что это с ней?

— Занята, — коротко ответил Данила Платонович.

За дверями шумели ребята.

— Подглядывают в замочную скважину, — засмеялась Ольга Калиновна, поправляя развешанные на стене снопики ржи, ячменя, проса, клевера.

— А это очень соблазнительно и интересно — подглядеть, чем занимаются учителя, — сказал Бушила. — Я сам любил это делать. А снопам твоим довольно уютно здесь, Ольга…

— В сельской школе в первую очередь должен быть биологический кабинет. А вы не подумали об этом, Михаил Кириллович…

Внезапно с грохотом отворилась дверь, и в учительскую пулей влетел ученик. Он едва удержался на ногах и остановился возле Данилы Платоновича. Ядя прыснула, но, заметив серьёзные лица остальных преподавателей, прикрылась косынкой. Смущенный и испуганный мальчуган, ученик пятого класса, не дожидаясь допроса, притворно всхлипывая и не поднимая головы, оправдывался:

— Меня п-пихну-у-ли…

— Ах, бедняжка, его пихнули! — зло, с издевкой и в то же время как бы радуясь, что нашел себе жертву, пропел Орешкин и строго закричал — Тебя толкнули, потому что ты подсматривал в щель.

— И другие подсматривали.

— Ты о себе говори… О себе! Ты и в прошлом году хулиганил.

— Я ничего не делал. — Мальчик утер рукавом нос.

— Иди… и больше не подглядывай, — вмешался

Лемяшевич, которому не понравился тон завуча.

Орешкин вышел следом за учеником, должно быть, чтобы продолжить расправу.

— Я б таких выгоняла из школы, — бросила Майя Любомировна.

— За что? — удивленно, даже с возмущением спросила Ольга Калиновна. — Ваня — хороший ученик. Поэт. Стихи пишет… Непоседа. Ну и что ж? Мы сами были такими… И сразу кричать — хулиганишь. Нельзя так!

— Детей надо любить, — серьёзно сказала Марина Остаповна.

Ковальчук многозначительно хихикнула, и Лемяшевич удивился, увидев, как Марина Остаповна, эта женщина, которую, казалось, никогда и ничем смутить нельзя, вдруг вся вспыхнула, лицо её передернулось и сразу подурнело.

В этот момент за дверями снова послышался тонкий, язвительный голос Орешкина:

— Иди, иди, голубок! Герой! Рыцарь без страха и упрека! Там ты был смелее! А?

Дверь отворилась, и через порог нерешительно и тяжело перешагнул Алёша Костянок, бледный, с дрожащим подбородком. Он взглянул на директора и потупился.

Лемяшевич почувствовал, что сам краснеет. Настороженно поднялся Бушила, повернулся к двери Данила Платонович.

— Пожалуйста, полюбуйтесь на этого героя, учинившего в классе Мамаево побоище! А? Как вам нравится? — торжествующе и злорадно говорил Орешкин. — Застегни ворот.

Алёша стал застегивать воротник помятой рубашки и никак не мог найти пуговицу: пальцы у него дрожали.

Лемяшевич заметил, как неловко почувствовали себя все преподаватели, как они отводят глаза, точно им всем стыдно.

— Алёша? — коротко спросил Данила Платонович. Алёша поднял голову, дернулся к нему.

— Данила Платонович! Хлопцы хотели меня качать… И всё.

Он сказал это *«и всё»* с такой искренностью, что всем сразу стало легче. Данила Платонович подошел, ласково взял юношу за плечи, повернул к двери.

— Иди на урок, Алёша.

А сам, сердито засопев, начал перекладывать на столе тетрадки, как бы разыскивая что-то очень важное и срочно ему необходимое. Адам Бушила, сжав кулаки, угрожающе шагнул к Орешкину.

— Ты — педагог!.. Надо знать меру!

— Какую меру? По-вашему, пускай на головах ходят? Пускай ломают, бьют? Так-то мы укрепляем дисциплину! А? Вы сами её нарушаете! Вы заступаетесь за свояка! Товарищ директор! Я прошу меня поддержать… Это старая история!

— Спокойно, товарищи.

Лемяшевич, так же как и Бушила, был возмущен бестактным поступком завуча, но выказать своё возмущение не мог. Что надо сделать, сказать, чтоб правильно разрешить вопрос, как подобает директору?

Данила Платонович повернулся к Орешкину, внимательно разглядывая его, тихо просил:

— Зачем вы испортили нам настроение?

— Я? — смешался завуч. — Кому? Почему я?

— Мне… Всем нам… Костянку… Классу… В такой день!

Алёша — не ребенок. Алёша — взрослый человек... Поймите это!

— Взрослых тоже приучают к дисциплине, — дерзко и самоуверенно ответил Орешкин.

Данила Платонович вздохнул и отвернулся. Бушила демонстративно вышел, хлопнув дверью.

Пора было давать звонок, и Ольга Калиновна, взяв со стола колокольчик, громко зазвонила почти над самым ухом завуча; она знала, что Виктор Павлович терпеть не мог, когда звонили в учительской.

В десятом классе шумели и баловались так же, как в пятом. В первый день занятий десятиклассники чувствовали себя такими же детьми, как и все остальные. Никто ничем не был озабочен в это утро: ни плохой отметкой, ни нерешенной задачей или невыполненным упражнением.

Володя Полоз, сын колхозного бухгалтера, взобрался на стул и старался перекричать всех:

— Хлопцы, сенсация! Павлик написал стихи! Пусть прочитает!

— Свои прочти!

— О! Я от этой болезни уже вылечился.

— Володя у шептухи Гарпины лечился. Она его заговаривала.

— Не болтай и не остри! Павлик, прочитай стихи *«Первое сентября»*.

— Пошел к черту, болтун!

В класс вошла Рая. Зашумели девушки. — Девочки! Райка в Москву ездила!

— За песнями? — насмешливо крикнул кто-то из парней.

— Еще б ей не ездить! У нее тысячи на книжке!

И хотя в этом девичьем голосе не было зависти или недоброжелательства, Рая поспешила скорее сесть за парту, затеряться среди одноклассниц.

Один только человек занимался серьёзным делом— Левон Телуша, самый взрослый на вид, рыжеватый парень, круглый отличник, верный кандидат на золотую медаль. Он сидел на задней парте и читал свежий номер *«Огонька»*. Однако когда в класс вошел Алёша Костянок и, встреченный шумом, несколько растерянно остановился у двери, Левон первый предложил:

— Хлопцы! Качнем Алешу! Он у нас герой!

Мужская половина класса вскочила, как по команде, кинулась к Алёше, и первым из них — Володя; девочки шарахались в стороны, к стенкам, очищая дорогу. Алёшу силком вытащили на середину класса и подкинули так, что он даже головой о потолок стукнулся. Он стал довольно энергично отбиваться, но ребята не выпускали его из рук и все подбрасывали, — молодежь не знает меры. И вдруг кто-то крикнул:

— Орешка!

Все мгновенно разбежались, а Алёша остался один посреди класса.

— А? Мамаево побоище! Пыли сколько, пыли! Стыдитесь! Десятиклассники! А? Это ты силу меряешь? Один против всего класса? — глядя на Алешу, повысил голос Виктор Павлович. — Силушка играет — на ринг, на ринг, в боксёры! А сейчас — в учительскую! Пускай с тобой там поговорят! Пускай посмотрят, какой ты герой!

— Я не пойду, — сказал Алёша.

— Что?

— Алёша! — с отчаянием и мольбой прошептала Катят Гомонок, которая работала с ним на комбайне.

И он пошёл…

Он вернулся неожиданно быстро, в классе никто даже не успел высказать своего мнения о случившемся.

Опустив голову, ни на кого не глядя, он прошел к задней парте, сел на свое место и закрыл лицо руками. Класс виновато молчал: все почему-то решили, что Алёша плачет. Наконец Левон, который чувствовал себя главным виновником и потерял всю свою солидность и спокойствие, тихо спросил, робко коснувшись его плеча:

— Ну что?

Алёша опустил руки. Глаза у него были сухие и лицо такое же, как всегда.

— Ничего, — хмуро ответил он и больше не сказал ни слова, сколько его ни расспрашивали.

Володя снова овладел всеобщим вниманием и нарочно громко, не стесняясь, высказывал свое возмущение завучем: — Формалист он и вообще… — Если б речь шла не о преподавателе, Володя, вероятно, в довольно крепких выражениях расшифровал бы это *«вообще»*. — Мы не маленькие, не ребятишки из пятого класса! И надо это ему дать понять!

Петро Хмыз заметил:

— Ты, Володя, точь-в-точь пьяный заяц.

Володя обиделся, и, если б не звонок, дело, наверное, не кончилось бы миром.

За всем этим забыли, что первый урок — история — директора, которого ждали с любопытством и нетерпением, как всегда ждут нового учителя.

Лемяшевич весело поздоровался, представился, шутливо ответил на несколько касавшихся его особы вопросов. Всё, казалось, шло как положено. Но он сразу же, как только вошёл в класс, почувствовал некоторую

настороженность и сдержанность учеников, особенно мальчиков: они сидели, не по годам серьёзные, даже суровые, улыбались скупо, только для приличия, и как будто избегали смотреть директору в глаза. Михаил Кириллович догадался, в чем тут причина, но не знал, как себя вести, чтобы выразить свое отношение и в то же время не уронить авторитет завуча. Он стал расспрашивать, как они отдыхали, что делали летом, думая таким образом подвести разговор к Алешиной работе и похвалить его. Мелькнула даже мысль объявить благодарность Алёше от педсовета. Но его предупредил Володя Полоз (Лемяшевич уже знал его) — он поднял руку. Получив разрешение, Володя вскочил и, волнуясь, заговорил:

— Михаил Кириллович… Я хочу сказать… Я от всех, — он оглянулся назад, где сидели Костянок, Телуша, Хмыз, — весь класс подтвердит, что Алёша не виноват. Уж если кого…. если кто виноват, то мы все, и я первый… Мы просто качали его за его работу.

Лемяшевич, тронутый такой солидарностью, постучал карандашом по столу, чтобы успокоить класс, и сказал, обращаясь к ним, как к взрослым:

— Товарищи! Кто же обвиняет Костянка? Никто. Произошло недоразумение… А работал Алёша действительно геройски!.. Нам, людям земли, детям колхозников, следует поблагодарить Алешу за его труд.

И — удивительный, невиданный на уроке случай — ученики захлопали, отчаянно смутив этим Алёшу, на долю которого и так уже выпало слишком много переживаний.

Михаил Кириллович прибавил — и теперь он уже обращался к детям:

— Но зачем качать в классе? На улице — вон какой простор.

И сразу же все лица, кроме Алёшиного, стали приветливыми, дружелюбными.

Перед последним уроком в школу приехал Бородка. В учительской все растерялись, когда он вошел, даже Лемяшевич почувствовал себя неловко. Правда, Бородка со свойственным ему умение быстро втянул всех в общий разговор, как будто шутливый, но по существу совершенно серьёзный, — об общественной работе учителя. Однако Лемяшевич заметил, что к нему секретарь обращается намеренно официально, сухо и даже неприязненно, как бы желая дать понять коллективу, что новый директор не пользуется благосклонностью райкома. И первым раскусил это Орешкин, он даже весь засиял. К Приходченко Бородка обращался на *«ты»*, как к близкому человеку:

— Ты, Марина, не спорь. Сколько ты сама прочитала лекций?

Лемяшевичу он сказал:

— Соберите учеников после занятий. Старшие классы.

— Зачем?

— Представьте себе, товарищ Лемяшевич, что секретарь райкома хочет поговорить с вашими учениками. Разрешаете?

Погода разгулялась, и учеников собрали на школьном дворе, на площадке.

Бородка говорил о роли труда в воспитании человека нового общества. Говорил он просто и интересно. Слушали его внимательно и ученики и преподаватели; даже колхозницы, направлявшиеся с поля домой обедать, остановились у забора, да так и простояли до конца речи.

Секретарь высмеивал тех школьников, которые, окончив *«с горем пополам семь классов»*, записываются в *«интеллигенты»* и считают ниже своего достоинства работать в колхозе.

Потом он говорил о политехническом обучении, и, хотя, как заметил Лемяшевич, несколько упрощал вопрос,

окончательные выводы у него были правильные, ясные.

— Все возможности для политехнизации у вас, в вашей школе, есть: хороший пришкольный участок, а главное — МТС под боком, любые сельскохозяйственные машины… И, наконец, перед вами отличный пример, который показывает, какую пользу может принести освоение машины и добросовестный труд на ней… Пользу и народу, и обществу, и тому, кто за это взялся… Вы знаете, что я имею в виду. Работу на комбайне ученика вашей школы Алексея Костянка… — И Бородка позвал: — Товарищ Костянок!

Еще раз до смерти сконфуженного Алёшу товарищи вытолкнули из задних рядов. Если б он знал, что речь снова будет о нем, он ни за что не остался бы на этом собрании.

— Подойди, пожалуйста, поближе, — пригласил его секретарь.

Алёша несмело подошел.

— Товарищи! Райком и райисполком приняли решение: Алексея Степановича Костянка за его героический труд в МТС, на комбайне, премировать ценными подарками: часами и велосипедом. Разрешите мне вручить ему эти подарки.

Секретарь райкома достал из кармана небольшую коробку и под бурные овации протянул Алеше. Тот неловко зажал ее в правой руке. Бородка, взяв обе его руки, переложил коробочку в левую, а правую крепко пожал. Тут шофер принес разобранный, упакованный в бумагу велосипед.

— Ну, ты — механик, соберешь сам… — сказал Бородка Алеше.

Секретарь, видимо, собирался прибавить еще несколько слов, обращенных ко всем, но школьники сорвались с места, окружили Алёшу, чтобы рассмотреть подарки, ближайшие друзья уже начали распаковывать

велосипед, чтоб тут же собрать его и испытать коллективно.

13

Спустя несколько дней на бюро райкома, с некоторым опозданием, утверждали новых директоров школ. По сути, новым был один Лемяшевич, все остальные утверждались в связи с переводом из одной школы в другую. Директорам пришлось долго дожидаться: на заседании, тянувшемся уже часа три, обсуждался главный вопрос повестки — выполнение плана хлебозаготовок. Из кабинета первого секретаря вылетали один за другим красные и взмокшие от пота председатели отстающих колхозов. В приемной каждый из них с облегчением вздыхал, жадно закуривал и с веселой иронией обводил взглядом ожидавших: *«Достанется и вам, погодите, придет ваш черед!»*

— Да-а… Сам дает сегодня *«прикурить»*… Гремит! — сказал один председатель с каким-то своеобразным восхищением.

Лемяшевича неприятно задело это *«сам»*.

Он знал, что утверждение — недолгая и по сути формальная процедура, Однако почему-то волновался, как бы в предчувствии неприятностей. Слушая разговоры других директоров, он впервые подумал, что его вмешательство в личные дела Бородки и в самом деле, может быть, мелко и неуместно. Но ведь дело не только в отношениях Бородки с Приход-ченко. Есть много и другого, против чего не может не восставать его совесть коммуниста, в том числе и вот это *«сам»*. Кто дал Бородке такие права, такую власть? Почему он все решает один? Почему его больше боятся, чем уважают?..

Всех остальных директоров (их было четверо) утвердили в течение каких-нибудь десяти минут, и они вышли из кабинета все вместе. Лемяшевич остался один, чувствуя, что волнуется все больше и больше. Бородка

встал (до сих пор он сидел), приветливо кивнул ему головой и обратился к членам бюро ровным, безразличным и чуть усталым голосом:

— Товарищи, есть такая думка... Товарищ Лемяшевич молодой, энергичный работник, человек образованный... Хорошо зарекомендовал себя во время ремонта и оборудования школы. Словом, его организаторские способности райком уже оценил... Добавлю: человек принципиальный, настойчивый, коммунист с десятилетним стажем. А мы все знаем положение нашей Липняковской школы... Школа отдалённая, за рекой, растущая десятилетка, в этом году имеет уже девять классов. Школьного здания нет, занимаются в четырех хатах... Но будем строить. А хорошего директора никак не подберем... Туда нужен именно такой руководитель, такой вот энергичный молодой организатор. И потому есть мысль... я согласовал с облоно... перевести товарища Лемяшевича из Криниц в Липняки. Лемяшевич должен принять это как боевое задание райкома. Человек он холостой, семьей не обремененный, вольный казак, как говорится, и никаких объективных причин, — Бородка развел руками, — не вижу...

Лемяшевич, выслушав эту речь, вдруг почувствовал, что от волнения его не осталось и следа, наоборот, стало спокойно и даже весело.

— А в Криницы кого? — спросил прокурор Клевков, молодой, беспокойный человек, который давно нетерпеливо поглядывал на часы, вызвав уже однажды ироническое замечание Бородки: *«А прокурор все торопится»*.

— В Криницы — Тихончука, из Дятловской семилетки.

— Тихончука? — переспросил Волотович. — М-да-а... — И полез в карман за очками.

Бородка постучал карандашом по настольному стеклу.

— Наш заведующий районо, — он кивнул в сторону

Павла Васильевича, — не поддерживает этого перемещения… Но прошу учесть: в Липняках нам нужен не только хороший директор, нам нужен человек, которого мы могли бы сделать секретарем парторганизации, который наладил бы там всю политико-массовую работу. Известно, какое там положение…

Волотович, надев очки, повернулся, с улыбкой посмотрел на Лемяшевича и перебил Бородку:

— А как сам Лемяшевич на это смотрит? Дайте ему слово.

— Я поехал сюда на работу по собственному желанию. Сам выбрал школу. И никуда не намерен переводиться. Не понимаю, кому понадобился мой перевод… Я благодарю на добром слове, но товарищ Бородка явно преувеличивает мои организаторские способности.

— Воля партии — закон для коммуниста, и кому-кому, а вам бы это следовало знать! — сказал Бородка.

Лемяшевичу сразу припомнилось услышанное в приемной словечко *«сам»*, и он не стерпел — хотя, идя на бюро, твердо решил держать себя в руках, — ответил Бородке:

— Смело вы отождествляете свою личную волю с волей партии!

Бородка и бровью не повел, словно не слышал.

— Мнение членов бюро?

— Я не вижу логики в таком перемещении, — сказал редактор Жданко, пожимая плечами.

— Я вам сказал, в чем логика! Какая еще нужна логика, кроме той, которая направлена на пользу дела! — раздраженно ответил Бородка, зная, что только так можно переубедить редактора, человека неискушенного и слабохарактерного.

— Думаю, Артем Захарович, не стоит нам это затевать, — деликатно, но твердо сказал Волотович. — В самом деле — зачем? Убейте меня — не пойму. А что мы скажем Боровому, который сам просится в Липняки? Куда его денем? Что же касается Тихончука — это не директор десятилетки. Рохля, трус…

«А Бородке такой и нужен, чтоб не мешал», — подумал Лемяшевич, но заставил себя помолчать, пока шел разговор между членами бюро.

— Один просится туда, другой — сюда, а нам непременно надо сделать наоборот, — сказал прокурор, поглядывая на часы и зевая.

— Вам, товарищ Клевков, очень спать хочется? — саркастически спросил Бородка и резко добавил: — Если где что и делается наоборот, так это у вас в райпрокуратуре. Я предупреждаю: вопрос согласован в областных инстанциях… И дискутировать, думаю, не о чем. Голосую. Кто — за?

— За что *«за»*? — спросил Жданко.

— За перевод Лемяшевича в Липняки!

Бородка сам поднял руку и ждал, внимательно следя за каждым из членов бюро, — во взгляде его были и нетерпение, и приказ, и затаенный гнев. Ни одна рука больше не поднялась. Члены бюро не смотрели на него. Они сидели, опустив головы, как будто им было стыдно, и занимались кто чем. Второй секретарь Птушкин, на которого особенно пристально смотрел Бородка, быстро расписывался на чистом листке бумаги, тайком поглядывая на других — голосует ли еще кто? Редактор щёлкал замком своей красивой зеленой папки. Волотович, протирая очки, укоризненно качал толовой. И только Клевков, демонстративно взглянув на часы, сказал:

— Я голосую против.

После его слов Бородка сразу опустил руку и спрятал

ее под стол.

— Так, — внешне спокойно сказал он и повернулся к Лемяшевичу — Можете идти… и работайте покуда…

Лемяшевич встал, направился к двери, но на пороге остановился и, улыбаясь, спросил:

— Почему *«покуда»*?

Бородка не ответил, он стоял и торопливо перебирал на столе бумаги, как будто спеша куда-то. Лемяшевич ждал ответа. Прокурор повторил его вопрос:

— В самом деле, почему *«покуда»*?

Бородка тихо сказал:

— Идите… работайте…

А когда за Лемяшевичем закрылась дверь, он шумно набрал полную грудь воздуха. Ему было тяжело: впервые за всю многолетнюю работу члены бюро не поддержали его предложения, предложения первого секретаря. И как не поддержали! Случалось и раньше иной раз, что спорили, не соглашались, два-три человека голосовали против. Но так… чтобы все отклонили… Так не бывало! И самое обидное, что это не какой-нибудь запутанный, сложный хозяйственный вопрос, а мелочь — перевод одного человека. Он уже забыл об истинных мотивах, по которым требовал перевода Лемяшевича. Теперь, охваченный гневом, он был твердо убежден, что это действительно необходимо для дела, что его решение единственно правильное и разумное. И потому позиция членов бюро его взорвала.

Кто-то заглянул в дверь, он крикнул:

— Подождите!

Заложив руки за спину, он прошелся по комнате и остановился в конце стола, там, где только что сидел Лемяшевич.

Теперь уже все смотрели на него: Птушкин — настороженно, с тревогой, Клевков — с веселыми искорками смеха в светлых, по-девичьи красивых глазах, Жданко — грустно. Но он не смотрел ни на кого, взгляд его был устремлен на раскрашенную карту района, висевшую над его столом.

— Так, товарищи… Та-ак, — сказал он после долгой паузы, как бы сожалея о том, что произошло, и вдруг неприязненно спросил: — Как же будем работать дальше, а?

Никто не ответил.

— Как можно работать, когда в бюро такой разлад?.. Анархия!.. Когда на предложения первого секретаря нуль внимания?! Я спрашиваю: как будем работать? Как я могу руководить районом, если члены бюро…

— Артем. Захарович, — спокойно и по-прежнему деликатно перебил его Волотович. — Каждый из нас, в том числе и ты, может ошибаться… Мнение коллектива — оно всегда самое правильное! И если бюро с тобой не согласилось…

— Нет! — крикнул Бородка, точно пролаял, и закашлялся. — Это демонстрация! Сговор! И все это — твоих рук дело, товарищ Волотович! Я понимаю!.. И я этого так не оставлю!..

— Ну, знаешь! — Волотович энергичным движением отодвинул от себя пепельницу, бумагу. — Всем известно, почему ты хочешь выжить Лемяшевича из Криниц. Вот как… И не кричи, пожалуйста. Не пугай. Веди заседание, люди ждут.

Лемяшевич считал, что раз члены бюро были против его перевода, Бородка больше не решится поднять вопрос — и он, Лемяшевич, может работать спокойно. Но ровно через три дня пришел приказ облоно о переводе его в Липняки. Михаил Кириллович был удивлен не столько приказом, сколько оперативностью, с которой действовал Бородка. Если б он сам просил

перевода, дело, наверно, решалось бы несколько месяцев. А тут даже письмо доставлено из областного центра за один день, чего никогда не бывало. Он разозлился. *«Ах, ты так!.. Ты показываешь свою силу? Так и я покажу свою волю! Посмотрим: кто — кого? Теперь я не отступлю! Нет!»* Он твердо решил бороться до конца. Никому в школе не сказав о приказе, он на следующий же день поехал в облоно.

Заведующий, толстый, флегматичный человек в хорошем бостоновом костюме и стареньком, замусоленном галстуке (Лемяшевича всегда удивляло это неряшество: заплатит человек две тысячи за костюм — и не может купить за семь рублей галстук), выслушав его, устало прикрыл глаза, как бы говоря: *«Ох, надоели вы мне со своими жалобами!»*

Потом раскрыл глаза, с любопытством посмотрел на Лемяшевича, как будто вспомнив что-то, и откровенно признался:

— Ничем, брат, не могу помочь. Ты думаешь, что сам я это выдумал? Думаешь, сидит этакий толстый бюрократ, нечего ему делать, вот он и прикидывает: кого бы куда переместить?.. Так?.. Нет?.. Верю… Ты не думаешь… Другие так думают… А мне подсказали.

— Кто?

Заведующий облоно зевнул, глаза его снова потухли и зажмурились.

— Не имеет значения — кто.

— Но ведь вы заведующий облоно.

— Ну и что же из этого?

— Чёрт знает что! Никто у нас ничего сам не решает.

Заведуюший выпрямился, надулся, глаза его стали колючими, недобрыми.

— Вот вы какой! Недаром вы ни с кем не уживаетесь!

— Мне ещё ни с кем не приходилось ссориться. Я только начинаю жить — и буду уживаться, с хорошими людьми, конечно.

— Вот-вот, только начинаете... Это и видно...

Но, должно быть, руководителю облоно что-то понравилось в этом решительном человеке, может быть, старик припомнил свою молодость, свою горячность в борьбе за правду, потому что вдруг предложил:

— Послушайте... — как вас? — Лемяшевич! Хотите, я дам вам другую школу? Здесь, в городе.

— Нет, не хочу.

— Не хотите? Чудак. Любой директор обрадовался бы.

— Я ехал в Криницы и буду работать там!

Из облоно Михаил Кириллович направился в обком к Малашенко. Он не сомневался, что секретарь обкома, бывший свидетелем его разговора с Бородкой на лугу, сразу поймет, чем вызван его перевод, возмутится и остановит его самодурство.

Ему повезло: Малашенко был у себя и через час с чем-то, закончив совещание, принял его. Принял приветливо, как старого знакомого. Крепко пожал руку, усадил на диван и сам сел рядом.

— На рыбалку не ездили больше? Чудесно мы тогда провели денек. Сын просто бредит... Покоя не дает: *«поедем»* да *«поедем еще»*... А куда там нашему брату поехать! Не вырвешься. Как ваш ученик Костянок? Золотой парень. Поддержите его. Удастся вам его примером заразить других — большое дело сделаете...

«Не знает», — с радостью подумал Лемяшевич после этих слов секретаря. Они минут пятнадцать говорили о политехническом образовании, просто, сердечно, как говорят люди, которых этот вопрос по-настоящему волнует. Потом Лемяшевич изложил свою жалобу — свое несогласие с решением о переводе. Изложил

спокойно, ни в чем не обвиняя Бородку.

Малашенко перешел с дивана за стол, Лемяшевич пересел в кресло у стола, и прием сразу принял официальный характер. Видно почувствовав это, Малашенко, человек простой, не чиновник в душе, по-домашнему почесал затылок.

— Не знаю, что вам ответить. Трудно, не разобравшись, вмешиваться в дела райкома. Райкому на месте видней.

— Но бюро райкома высказалось против… Один Бородка…

— Бюро тоже может ошибаться…

Лемяшевич даже вздрогнул и пристально посмотрел на секретаря: тот ли перед ним человек, с которым он так откровенно разговаривал? Малашенко внимательно разглядывал толстый красный карандаш, который вертел в руках. Теперь Лемяшевич уже был уверен, что опасения его целиком оправдались: указание, данное облоно, было указанием Малашенко. Бородка убедил его в необходимости перевода директора Криницкой школы в Липняки. Сейчас Малашенко неудобно отступать — не позволяет гордость.

— Ведь вы знаете, почему я мешаю Бородке в Криницах? Помните наш разговор на лугу?

— Помню. Все помню, — быстро ответил Малашенко, но ответил так, что у Лемяшевича пропала охота напоминать этот разговор и вообще всю историю с Приходченко.

Он молча ждал, что же наконец решит Малашенко. Тот опять поскреб затылок и спросил:

— А почему бы вам, Лемяшевич, туда не пойти? Я знаю Липняки. Ей-богу, там не хуже.

Михаил Кириллович разозлился.

— Да тут в конце концов дело принципа, Петр

Андреевич! Почему я должен уступать Бородке, его самодурству? Я приехал в Криницы… Я такой же, как он, коммунист…

Малашенко поморщился, ему не понравилась эта вспышка.

— У вас свой принцип, у Бородки — свой. А нам — разбирайся. Легко это, думаете? Нет, не легко. А сколько таких жалоб, заявлений!.. К тому же я должен вам сказать… вы человек умный, образованный… хороший коммунист… Мы должны поддерживать авторитет секретаря райкома, мы — сверху, вы — снизу… Иначе что же у нас получится?..

Лемяшевич хотел было сначала возражать, но после этих слов осекся, умолк, бросил взгляд на Малашенко и дрожащей рукой вставил в высокий бокал на приборе синий карандаш, который неведомо как очутился у него в руках. Малашенко понял, что не надо было этого говорить, что во имя какого-то фальшивого этикета он покривил душой, подорвал веру и уважение Лемяшевича к себе как к человеку и секретарю обкома, поняв это, почувствовал себя очень неудобно и решил: *«Прав Лемяшевич, и я должен поддержать его, а не Бородку»*.

— Хорошо, я разберусь, товарищ Лемяшевич. Я обещаю вам разобраться объективно, — вдруг твердо сказал Малашенко. — Знаете что? Вы напишите заявление и оставьте… Ничего не поделаешь, такова форма. Не осудите. Думаю, что можете считать себя директором Криницкой школы на долгие годы.

Лемяшевич встал.

— Спасибо. Я напишу.

Он на прощание крепко пожал секретарю руку.

14

В ту сентябрьскую ночь многие партийные работники

легли очень поздно. Далеко за полночь горел свет и в кабинете Бородки. Секретарь райкома читал. Зазвонил телефон. Бородка с неудовольствием оторвался от газеты, взял трубку.

Говорил второй секретарь Птушкин, квартира которого была как раз против райкома.

— Артем Захарович, что же ты режим дня нарушаешь? С тебя берут пример...

Бородка засопел в трубку и не сразу ответил.

— Какой там к дьяволу режим. Режим — это для других. А нам, секретарям сельских райкомов, не до режима сейчас. Читал постановление?

— Читал.

— Быстро вы читаете... Я вот целый вечер сижу, по косточкам разбираю, анализирую каждое положение.

Он взглянул на развернутую на столе газету. Она выглядела довольно странно, вся пестрая от разноцветных подчеркиваний, стрелок, надписей, кружков. Поля, просветы между разделами густо исписаны красным, синим, зеленым карандашами, чернилами. Отдельные фразы подчеркнуты: *«Коровы Адамчука», «Мохнач и его политика», «Как создает материальную заинтересованность Лазарев?», «Бюрократы из «Минзага», «Опять коровы... Синицын, Кот, Пузиков», «Ращеня и Баранов» и др. Смысл этих выражений был понятен только одному Артему Захаровичу, хотя некоторые из них тут же разъяснялись, получали дальнейшее развитие на полях газеты в мелких чернильных строчках. Читая вот так, с карандашом, с пером, Артем Захарович испытывал радость творчества. Не было ни одного пункта постановления, на который он не нашел бы примера из жизни своего района. В его голове уже окончательно сложился доклад, который, он знал, придется делать в самые ближайшие дни на собрании актива или пленуме райкома.*

Доклад обоснованный, яркий, достаточно критический, с веселыми примерами. От этих веселых примеров многим станет грустно. Представляя себе это и вообще весь тот резонанс, который вызовет его доклад, Бородка довольно потирал руки, улыбался, качал головой и принимался даже насвистывать задорную мелодию.

Несколько дней он ходил с тяжелым чувством, под впечатлением того заседания бюро, на котором впервые *«провалили»* его предложение о переводе Лемяшевича, и особенно недавнего звонка Малашенко, который вдруг решительно потребовал оставить Лемяшевича в Криницах. А ведь при нём, Бородке, Малашенко звонил завоблоно и поддержал предложение о переводе. Вот и верь начальству! При воспоминании об этом Артемом Захаровичем овладевали злоба и неразумное упрямство себялюбца — добиться своего: выжить Лемяшевича не только из школы, но и из района.

«Мальчишка, выскочка, начитался дрянных романов и корчит из себя героя. Надеется на поддержку Журавского. Дайте только дождаться съезда. Я вам покажу протекцию».

Но в тот вечер, читая постановление, готовя свой доклад, он забыл обо всем остальном. Его, человека энергичного, деятельного, всегда радовали задачи, требующие перестройки работы, новых решений, перестановок, новых людей. Задачи, о которых он читал, были грандиозны. Партия нацеливала на крутой перелом в сельском хозяйстве, и Бородку особенно радовала возможность проявить свой опыт, свою волю, свои способности, в которые он так твердо верил. В новых условиях открывалось широкое поле для его деятельности.

— Черт побери, вы еще увидите, на что способен Бородка! Вы убедитесь, кто настоящий руководитель — Волотович или я! — вслух рассуждал он, любуясь разрисованной газетой и мысленно обращаясь к своим воображаемым недругам.

Вспомнив Лемяшевича, вдруг подумал, что выживать

его не стоит, пускай побудет, убедится, что суть не в бытовых мелочах — человек не ангел! — суть в работе. А работать он, Бородка, умеет.

Утром главный механику Баранов, мрачный, небритый, с красными глазами, сказал Ращене:

— Выгонят нас с тобой, Тимох Панасович, мы — практики.

Ращеня вспомнил свои ночные страхи, когда он читал постановление, ссору с женой, опять напомнившей ему о больном сердце, и своё неожиданное и твердое решение остаться в МТС и очень разозлился на паникера механика.

— Так-то вы прочитали постановление! Да это слова человека, который сам себе не верит… Такого действительно надо гнать!..

Баранов ни разу еще не слышал, чтобы Ращеня так кричал.

— За что выгонят? Партия зовет людей в МТС, а ты — выгонят, — понизил голос директор и заговорил уже более спокойно: — Могут заменить человеком с образованием, с опытом, потому что, скажу тебе откровенно, механик ты слабый, техники не знаешь. — Ращеня, человек по характеру деликатный, впервые решился сказать главному механику в глаза суровую правду. — Но ты можешь работать… К примеру, бригадиром…

Баранов побледнел, встал со стула.

— Это что, уже решено? Бригадиром я не пойду! Директор снова рассердился:

— Так иди главным инженером завода, министром, если ты такой гений!.. Ты трактора разобрать не умеешь… Тебя трактористы учат…

— Так же, как и вас… Вы у Костянка, у школьника, комбайн учились водить.

— Учился и буду! И не считаю это позором для себя. И бригадиром пойду, если партия сочтет нужным… хотя я двадцать пять лет в МТС, а не три, как некоторые… Не в самолюбии тут дело… Не так надо работать, товарищ Баранов, как мы до сих пор работали, — относя это и к себе, мягко заключил Ращеня, желая загладить свой резкий тон.

Но Баранов уже стоял перед ним — официальный, сухой, непроницаемый, как в панцире, — и комкал шапку.

— Я вам не нужен?

Он приходил по делу, но ничего не сказал о нем и вышел, сгорбив худые плечи.

Во дворе станции его встретил Сергей Костянок.

— Ну что, решили наконец с тракторами? — спросил он.

— Ничего я не решил и не желаю решать, — угрюмо ответил Баранов.

— Как это вы не желаете решать? Тракторы стоят, а вы, главный механик, не желаете…

— Я практик! Пра-ак-тик! — со злостью, по слогам, приблизив лицо к Костянку, прошипел Баранов и повернул прочь из усадьбы.

Сергей не сразу понял, в чем дело, а когда уразумел, до глубины души возмутился. Его поразило, что нашелся человек, который не радуется великим и мудрым решениям партии, а злобствует и боится за свою карьеру, за свое теплое местечко.

«Дурак безмозглый! И чем скорее тебя выгонят, тем лучше будет для МТС… Скажи пожалуйста, незаменимая особа! Профан!»

Костянок сам пошел к директору, чтобы разрешить вопрос, по которому приходил главный механик. Три дня стояли тракторы из-за поломки деталей, которых,

как назло, не оказалось ни в МТС, ни на базе. Сергей болезненно переживал этот простой в такой момент, когда колхозы зоны опять, как в прошлом году, непростительно затягивали сев озимых. И потому он прямо, с порога заговорил о деле:

— Тимох Панасович! Надо нам наконец решать с тракторами…

Но Ращеня остановил его. Он ходил по кабинету, довольный собой, своей решительностью в разговоре с главным механиком, и ему не хотелось портить хорошее настроение, а требовательный голос Костянка, которого он любил, уважал и приходу которого был рад в такую минуту, сулил неприятности. Директор сжал его руку, не давая говорить.

— Погоди, погоди, Сергей Степанович!. Садись, брат, и побеседуем… Все обсудим.

Сам он сел за стол напротив молодого механика и взял газету.

— Читал?

— А разве есть такие, что не читали? — Ну и что скажешь?

— Хорошо.

— Мало сказать *«хорошо»*. Отлично. Мудро. Да ты понимаешь, что это значит, Сергей Степанович? Подкинут нам с тобой миллиончика два! Эх, и строительство же мы развернем! Любо-дорого! Гаражи! Навесы! Типовую мастерскую… Каждая машина у нас будет как игрушка.

— А пока тракторы стоят, а мы и пальцем не шевельнем… В двух колхозах срывается сев… Так-то мы отвечаем на постановление!

— А что мы можем сделать, что? — Лицо Ращени сразу стало озабоченным, грустным, растерянным. — Кто виноват, что нет деталей? Об этом знают и в райкоме и

в обкоме, вчера Бородка первому секретарю обкома звонил. Но когда нет, так на нет и суда нет, как говорится. В постановлении тоже ведь о запчастях...

— Легче всего, Тимох Панасович, доложить по инстанции, снять с себя ответственность и ждать... А живое дело стоит, потому что еще не перевелись бюрократы. Ну, представьте, база их не получит ни сегодня, ни завтра, ни через пять дней?.. Что тогда?

— Ну, что ты! Обком занялся.

— Я предлагал выход... Чего нет на базе, можно найти в других МТС. Надо искать... Со мной не согласились. А я сегодня ночью созвонился с Холмицкой МТС. Там у меня друг, вместе на заочном учились. Так вот, дайте машину, и я к вечеру детали привезу. Займу.

Ращеня, не отвечая, снял трубку, позвонил в районный центр — в одну, другую, третью организацию — и, разыскав наконец свого заместителя по политчасти, который почти каждый день вынужден был ездить в район на разные заседания, приказал ему немедленно, без задержки, вернуть машину. Покончив с этим, директор через стол протянул Костянку руку.

— Спасибо тебе, Сергей Степанович. Вернется машина — садись и поезжай.

— В промышленности это широко развито — взаимовыручка, а мы как будто конкуренции боимся, как будто не одно общее дело делаем, — по инерции еще продолжал защищать свое предложение Костянок.

Должно быть думая о чем-то своем, Ращеня взглянул на него и оказал:

— Счастливый ты человек, Сергей Степанович. Академию окончил... Инженер. Хватило у тебя воли, терпения... А я... тоже ведь мог учиться, да сам виноват — поленился. Думал, одной практикой проживу!

— Что это вы сегодня на практику ополчились? Баранов кричит: *«Я — практик!»* — и ни черта делать не хочет.

— Ты меня с Барановым не равняй, — помрачнел Ращеня. — Баранов — копеечник... Ему лишь бы теплое местечко. А я прицепщиком пойду, а МТС не брошу. Я душой прирос...

Он поднялся, отошел к окну и, барабаня пальцами по подоконнику, после довольно долгого молчания сказал:

— Независимо от того, как станет вопрос обо мне, я предложу и буду добиваться, чтоб главным инженером оставили тебя.

— Ну что вы!

— Если ты действительно болеешь за дело, ты не должен отказываться.

— Да меня просто не назначат.

— Назначат! — уверенно заявил Ращеня и хорошо, отечески-ласково улыбнулся молодому механику. — А теперь я на грузовичке поеду в бригады, с людьми поговорю, а ты дождись *«газика»* и лети за деталями.

На дворе шел дождь, осенний, но еще теплый, сеялся, как Сквозь сито. Тяжелая туча, без единого просвета, висела низко над землей. За мастерской плакали вербы, роняли на землю первые желтые листы. Один еще не пожелтевший листок слетел с дуба. Сергей поймал его на лету, нежно стер ладонью дождевые капли и, закинув голову, поглядел на дуб. Ему каждый раз, когда он видел сломанную ветку, становилось жаль этого богатыря, как будто в том, что в дуб ударила молния, виноват он, Сергей. Но и расколотое, раненое дерево украшало усадьбу. Баранов предлагал его спилить, а Сергей воспротивился, сотрудники поддержали Сергея: к дубу привыкли и не представляли МТС без него.

По привычке иметь при себе гайки, шурупы, прокладки и другие мелкие детали, Сергей и дубовый листок машинально положил в карман.

В кузне при мастерской гулко стучал автоматический молот и гудел горн. Когда молот умолк, стало слышно,

как на гидростанции шумит вода. Кроме этого шума и чуть слышного шелеста дождя о листья, нигде больше ни звука. Ни живой души — ни на усадьбе, ни на дороге, ведущей из МТС в деревню. Странное настроение овладело Сергеем: в душе росла радость, какая-то торжественность и в то же время, как это часто случается в такие хмурые осенние дни, зарождалась печаль. Радость от того, что дела идут хорошо, от удовлетворения своей работой и разговором с директором. Он не был честолюбив и не гнался за высокими должностями, но предложение Ращени сейчас, после постановления, пришлось ему по душе. А почему бы ему в самом деле не стать главным инженером, если, понятно, назначат? Он чувствует, что с его умением, опытом, знаниями он сможет работать в десять, двадцать раз лучше, чем работал *«практик»* Баранов. Сергей рассмеялся, вспомнив, как прокричал ему Баранов это слово *«практик»*, показавшееся ему, должно быть, обидным.

Грусть рождали неосуществленные желания и мечты, мысли о Наталье Петровне и еще что-то неясное, быть может, этот мелкий и тоскливый дождь. Хотелось спрятаться от него, но не куда попало, не под любую крышу. Он представил ее светлую, чистую комнату с красивыми тюлевыми гардинами на окнах. И вот он уже там… Пускай на дворе дождь, пускай с клёна под ее окнами падают золотые листья и на кого-то другого, кому не выпало такое счастье, нагоняют грусть. А ему радостно, уютно, хорошо. Ничего ему больше не надо, только глядеть ей в лицо, в ее глаза, — лучше глаз на свете нет! — глядеть без конца, молча… Нет, взять её руку, нежно сжать всегда чуть холодные от спирта и эфира тонкие пальцы… Горячая волна счастья разливается в его груди, остро и гулко стучит сердце, волна докатывается до лица, горят щеки, уши. Он крепче сжимает ее руку, наклоняется и целует маленький кулачок. *«Наташа! Милая, славная, родная! Я не могу так больше… Я люблю тебя! Люблю!.. И дочку твою люблю. Вы для меня самые близкие, самые дорогие… И ничто не может нам помешать! Наташа! Скажи одно только слово. Нет, лучше не говори… Не*

надо… Лучше помолчим… Позволь мне посидеть вот так возле тебя и поверить… поверить, что я всегда… всегда буду с тобой… И пусть себе идет дождь!»

То, что рисовало ему воображение, так завладело им, что несколько минут он, забыв обо всем окружающем, видел себя в комнате Натальи Петровны, разговаривал с нею.

На самом деле он подходил к деревне. Опомнился и вздохнул.

— Эх, Наташа, Наталья Петровна!

Эти мечты породили в нем желание поскорей увидеть её (он не видался с ней уже несколько дней), сказать ей несколько самых простых, будничных слов — хотя бы о погоде — и услышать её милый голос. Но он знал, что в такое время её не застать дома, она в амбулатории. И он не удержался, чтоб не зайти туда, когда проходил мимо. Он надеялся, что из-за непогоды там никого не будет (ведь рассказывала Наталья Петровна, что ей иной раз часами приходится поджидать больных), и тогда хоть отчасти воплотится его внезапно возникшая мечта: он посидит с ней вдвоём в комнате, где приятно пахнет лекарствами и свежей известкой.

Но, как назло, в просторной приемной сидело семь женщин. Он поздоровался кивком головы и скромно присел у самой двери, мысленно ругая себя — зачем он сюда пришел? Теперь и уйти сразу было неудобно, и ждать — чего, собственно, ждать? За дверью, ведущей в кабинет, слышался строгий голос Натальи Петровны: она отчитывала больного за нарушение режима.

Одна из женщин, его соседка и ровесница, насмешливо посмотрела на Сергея из-под надвинутого до самых бровей платка. Другая, постарше, сказала ему:

— Иди, Степанович, вперед, как выйдет Рыгор… Ты человек рабочий.

Сергей вскочил.

— Да нет, ничего. Я потом... Я только хотел от головы попросить. — И, чтоб показать, что у него в самом деле болит голова, он потер лоб. — Но это пустяки... Я потом. — И поспешно вышел.

В коридоре он услышал, как, засмеявшись, соседка сказала: — От головы! От сердца ему надо, а не от головы.

15

В школе работал один агрономический кружок Ольги Калиновны, не слишком многочисленный — девочки из шестого — восьмого классов. Девяти и десятиклассники в кружке не участвовали: их мечты были уже далеко — в институтах, и всякие кружки казались им детской забавой. Лемяшевич разгадал эти настроения и сразу же, с самого начала учебного года, решил добиваться, чтобы воспитательная работа стала интереснее и плодотворнее. На одно из заседаний педагогического совета он пригласил председателей сельсовета и колхоза, Полоза и Сергея Костянка. Мохнач не явился, хотя и обещал прийти.

Преподаватели охотно поддержали предложение о создании кружка, участники которого не только бы знакомились с устройством мотора, но и учились водить автомобиль, трактор, комбайн. Особенно обрадовались согласию Сергея Костянка руководить этим кружком.

Но когда Лемяшевич заговорил о драматическом, хоровом, литературном и других кружках, от его внимания не укрылось, как упал интерес многих из преподавателей, — кто отвернулся и стал шептаться с соседом, кто зевнул. Виктор Павлович иронически улыбался, а Ковальчуки испуганно переглянулись — только бы директор не вздумал их нагрузить! Лемяшевич решил сделать хитрый ход, чтобы расшевелить коллег, — взять на себя руководство драматическим кружком. Но его неожиданно предупредил Данила Платонович.

— А драматический дайте, — сказал он, — старому любителю.

— Кому? — не понял Лемяшевич.

— Как кому? Мне. Вспомню молодость. *«Грозу»* поставлю. И не будете в обиде. Даю слово. — Старик даже немного смутился и, обведя присутствующих взглядом, прибавил — *«Гроза»* — моя любимая вещь. Я в ней все мужские роли переиграл. Первой — Бориса Григорьевича, лет этак, пожалуй, пятьдесят пять назад, в учительской семинарии… Последней — Кулигина, перед войной… Тоже школьным коллективом ставили. Адам помнит, — кивнул он в сторону Бушилы.

Орешкин взглянул на старика иронически. Лемяшевич, конечно, вовсе не предполагал нагружать такой работой старейшего из преподавателей. И молодых довольно. Но теперь обрадовался — прекрасный пример для остальных.

— Решено, Данила Платонович! В помощники вам Бушилу… И будем соревноваться. Я возьму на себя колхозный драмкружок. Ну, а что касается хорового, то тут, я думаю, Виктору Павловичу и карты в руки. Ведь так?

— Мне? — удивленно спросил Орешкин, вытянув длинную шею и ткнув себя пальцем в грудь. Он деланно засмеялся. — Гм… Какой певец!

— Вы же сами хвалились своими музыкальными талантами.

— Да, — смутился он. — Но, Михаил Кириллович, моя загруженность. Поймите… У меня минуты свободной нет. И, наконец, я просто не могу… Я — завуч школы!

— Не можете? — переспросил Лемяшевич и подождал, не скажет ли еще чего Орешкин, но тот молчал и, должно быть нарочно, потирал ладонями щеки, лоб, чтобы прикрыть таким образом глаза. — Не можете? Ну что ж, не можете — не надо. Незаменимых у нас нет.

Орешкин сразу оживился и передернул плечом. Он рассчитывал, что его будут упрашивать, собирался, немного *«поломавшись»*, набив себе цену, в конце концов согласиться быть музыкальным консультантом, при условии, что организатором будет кто-нибудь другой. Он не ожидал такого поворота и, чувствуя неловкость своего положения, поспешил дать согласие:

— Ну что ж, я человек подначальный. А?

— Мы не собираемся вас неволить, Виктор Павлович, — вежливо, но холодно ответил Лемяшевич. — Кто хочет, товарищи, руководить нашим хором?

— Вы все обходите меня, — будто бы в шутку, но с заметной ноткой обиды сказала Марина Остаповна. — Представьте, что я тоже умею петь.

Лемяшевич принципиально не хотел поручать ей кружка и вообще намеревался, назло Бородке и ей в отместку, временно *«бойкотировать»* её — борьба есть борьба! — чтоб Приходченко и Бородка знали, что он не думает отступать. Но спокойствие и такт, с какими она вела себя по отношению к нему, часто обезоруживали Лемяшевича; ему хотелось презирать её, а он не мог. Он невольно поддавался её обаянию…

После заседания Орешкин догнал Марину Остаповну на улице и заговорщицки зашептал:

— Что же это вы? Ножку мне подставили, захотели добренькой быть? И перед кем? А? Он вас и Артема Захаровича грязью обливает, под вашу дружбу подкапывается… А вы… Эх, Марина Остаповна!.. Поймите: если мы будем так продолжать, он нас всех в бараний рог согнет и не одного только старика на свою сторону перетянет… А кто он такой? А? Вы, я, Ковальчуки, Лапич — мы основа коллектива, и мы должны…

Марина Остаповна остановилась, посмотрела ему в лицо и с раздражением сказала:

— Идите вы к черту, Орешкин! Надоело мне это все! И не лезьте вы ко мне! Не путайте меня в ваши интриги. Мне своих хватает!

Алёша записывал учеников в автотракторный кружок. Взялся он за это дело с энтузиазмом, твердо уверенный, что при таком руководителе, как его брат, и заинтересованности самого директора результаты должны быть именно такие, о каких он, Алёша, мечтал: по меньшей мере полкласса, а не он один, будут водить мотоцикл, автомобиль, трактор и комбайн. И как приятно было бы, если б в ответ на призыв о политехнизации в аттестате его товарищей, да и у него, особым пунктом появилась запись: за время обучения в школе приобрел профессию шофёра, тракториста или комбайнера. Алёша был убежден, что только при таком условии выпускник имеет право на признание действительной зрелости. А то — какая ж это зрелость, когда делать ничего не умеешь!

Но Алёше скоро пришлось разочароваться в своих ожиданиях. Всё шло хорошо, пока он проводил запись в младших классах — в седьмом и восьмом, частично в девятом: там записывались охотно. Но когда дело дошло до десятого класса, то на его горячий призыв, на его агитацию откликнулась одна только Катя Гомонок, секретарь школьного комитета комсомола. Эта неутомимая и неугомонная Катя записалась во все кружки — и везде поспевала. Остальные отнеслись к кружку иронически, острили, безобидно подшучивали; каждый агитировал соседа, а сам не записывался.

— Рая, давай, тебе это необходимо, у тебя мать богатая, *«Москвича»* купит!

И тут же язвительный голосок с последней парты с прозрачным намеком на энтузиаста кружка:

— У нее свой шофёр есть, что ей музыкальные пальчики пачкать!

Но шутку не подхватили. Алёшу уважали и давно уже не подтрунивали над его любовью, даже самые заядлые

насмешники относились к нему с полной серьёзностью. Зато других не щадили.

— Павлику Воронцу необходимо овладеть этой профессией, ему на свидания далеко ходить.

— Вот это любовь!

— Мать говорила — не напасется сапог. *«Разорил, говорит, сынок на одной обуви»*.

— Не диво! Двадцать километров отшагивать! Павлик, небольшого роста неприметный паренек, краснел до ушей и боялся голову поднять. Он ходил на свидания в дальнее село к девушке, с которой год назад познакомился в межрайонном пионерском лагере. За это ему всячески мстили одноклассницы — ревновали, как все деревенские девушки, когда хлопцы ходят в соседние деревни.

Оставив Павла, стали вспоминать разные происшествия и аварии с машинами и тракторами.

— А помните, как Лошак в речке трактор утопил? Подъехал к обрыву, не затормозил — и бултых! Еле сам выскочил.

— Ха-ха… А трактор потом волами вытаскивали.

— Девочки, а слыхали, как Дубовик на тракторе в Заречье на свидание ездил?

— Ага. Едет — распевает: *«Где ты, милая моя?»* — а навстречу Ращеня.

— Вот тебе и *«милая»*!

Напрасно Катя, помогая Алёше, горячо доказывала, что нет занятия интересней, чем изучение моторов.

Алёша решил изменить тактику и действовать иначе: поговорить с каждым из своих ближайших друзей в отдельности. Ему не верилось, что хлопцы, многие из которых были способнее его в физике и математике,

откажутся от такого интересного дела. На своего соседа по парте Левона Телушу он не очень надеялся, но предложил и ему. Тот посмотрел на него с иронической улыбкой.

— Вырос я, брат, из таких кружков.

— Почему вырос? — удивился Алёша.

— Да так… Когда я сам не знал, кто я и что, тогда — пожалуйста! — я брался за что угодно. А теперь меня это не интересует… Теперь я знаю свое призвание. Историку механика ни к чему.

— Во-первых, это неверно… Ломоносов все знал, — горячо возразил Алёша. — А во-вторых, еще неизвестно, правильно ли ты определил свое призвание. Ты ведь и физику лучше всех нас знаешь…

— Наивный ты человек, Алёша, — отвечал Левон. — В пределах программы я все обязан знать. Эти знания получат оценку в аттестате.

Володя Полоз на предложение Алеши замахал руками:

— Не пойду. Нет и нет. И ты меня не агитируй, пожалуйста. Я человек слабый, могу записаться, а все равно ничего делать не буду.

— Но ведь ты мечтаешь поступить в электромеханический.

— Вот потому что мечтаю, что я непременно должен поступить, — я никуда! Вот и все! У меня тройки проскальзывают. Пора взяться за ум.

Алёша решил поговорить с ним по душам. Кстати, была большая перемена, и они, отделившись от товарищей, спустились к Кринице, в ольшаник, где особенно явственно чувство вался приход осени, её неповторимые запахи, которым нет ни названия, ни сравнения. Не только листья и трава — сама земля пахнет осенью иначе, чем летом и весной. А ручей, полноводный, прозрачный, переливался через

поваленную ольху, служившую кладкой, журчал, булькал; в крошечном водовороте кружились красные листья.

Юноши остановились здесь, заглядевшись на ручей.

— Ну, а если не поступишь? — тихо спросил Алексей друга.

Он давно хотел поговорить с одноклассниками: что они собираются делать, если не удастся осуществить заветную мечту — поступить в институт?

— Не поступлю? — резко повернулся к нему Володя и с размаху кинул в воду веточку.

Алеше показалось, что лицо его побледнело от волнения, а может быть, от солнца, выглянувшего из-за тучи.

— Почему не поступлю?

— Да мало ли что бывает… Знаешь, какой конкурс? А ты — не Левон, у нас с тобой медали не будет. Что тогда?

— Пойду в другой институт. Пережду год-два.

— А делать что будешь этот год?

— Повторять предметы.

Алёша вздохнул и ничего не ответил; он видел, что разговор по душам не получается — слишком по-разному смотрят они на вещи, по-разному думают.

Получив от Алеши малоутешительные сообщения, кружком занялся сам Михаил Кириллович.

Рая категорически отказалась участвовать в школьном хоре. Это вызвало недоумение. Лучшая певица, самая активная до этого участница самодеятельности! Никто не мог объяснить причины, а сама она твердила одно:

— Не желаю — и все! И отстаньте от меня, пожалуйста.

Катя считала своим долгом поговорить с ней если не как подруга, то как секретарь комитета комсомола. Ещё не так давно они были самыми близкими подругами: сидели на одной парте, читали одни книги, мечтали об одном и доверяли друг другу свои сокровенные мысли, пели одни песни. И вдруг в прошлом году (Кате казалось, что произошло это после областного смотра школьной самодеятельности) Раиса начала как-то избегать её, сторониться, искать себе других друзей, а потом и вовсе стала себя вести так, что её враждебное отношение к бывшей подруге заметили все. Катя делала уже попытки выяснить их взаимоотношения, вызвать Раю на откровенный разговор, но пока безуспешно.

Теперь она решила попробовать ещё раз, воспользовавшись своими правами секретаря комитета и подвернувшимся поводом — Раиным отказом участвовать в хоре. Она дважды приходила к Снегирям домой, но каждый раз заставала квартиранта — Виктора Павловича. Наконец она подстерегла момент, когда Рая под вечер, после того как пригнали стадо (осенью его рано пригоняют), пасла за огородом у ручья, на участке, где колхоз собрал капусту, свою корову, ту самую знаменитую корову, о которой шла слава, что она дает по три ведра молока в день.

Рая держалась в стороне от мальчишек и девчонок, которые тоже пасли коров, и читала книгу. Присесть было не на что, и она читала стоя.

Заходило солнце, лучи его золотили верхушки лип и тополей на усадьбе МТС. Из-за леса поднимался и расплывался по небу неестественно яркий багрянец, какой бывает только осенью — и, говорят, к дождю. Сначала он расходился в стороны, потом, когда погас последний луч на самой высокой липе, стал ползти вверх. А навстречу багрянцу с востока надвигался синий сумрак, как бы борясь с этой последней вспышкой горячего света.

От ручья и с луга тянуло осенней сыростью и холодом.

Катя подошла к подруге незаметно и как бы случайно, — её младший брат тоже пас тут корову.

— Объедятся они листьев, — сказала она о коровах, чтобы с чего-нибудь начать разговор.

Рая взглянула на небо, потом на свою одноклассницу.

— Что ты читаешь?

Рая молча показала обложку книги и посмотрела на часы. Часы эти появились у нее совсем недавно, и злые языки на деревне были почти правы, когда говорили, почему купила их для дочери Снегириха: после того как Алёша Костянок получил в премию обыкновенные часы, Аксинья, всем на зависть, купила для дочки золотые. На деле это было не совсем так. Раиса сама попросила мать купить ей часы. Аксинья Федо-совна, поехав в город, не нашла там простых часов и, рассердившись, купила золотые. Пусть знают, что для единственной дочери ей ничего не жалко. Пускай тешится дитя! Отец жизнь отдал за её счастье.

Катя видела, что Рая опять уклоняется от разговора; она подошла к корове, собираясь гнать её домой, но корова жадно хватала капустные листья, с хрустом сгрызала кочерыжки и не хотела уходить, повернула в другую сторону, к кустам.

— Пускай походит, рано еще, — сказала Катя и, помолчав, прибавила: — А хорошо как!

И правда, было хорошо. Крепко пахло молоком, капустой и ольховым листом. Влажная свежесть наполняла бодростью и каким-то торжественным покоем. В кустах баловались мальчишки, лес за рекой отзывался на их крики и смех, и голосистое эхо катилось обратно по лугу.

Катя отбросила всякую дипломатию и спросила прямо, настойчиво:

— Скажи, Рая, почему ты такая?.. Сторонишься товарищей... Почему отказалась от хора?

— Не желаю я!

— Нет, ты скажи!

Рая закрыла книжку и прижала её к груди, — А кто ты такая, что я должна перед тобой исповедоваться?

— Мы так долго дружили, — задумчиво и грустно сказала Катя. — А теперь ты меня не любишь.

Рая злобно блеснула глазами.

— Я тебя ненавижу, если хочешь знать, не только… Катя отшатнулась и даже сделала движение рукой, как бы защищаясь, но рука её повисла в воздухе.

— Меня? За что? — прошептала она испуганно.

Раиса, верно, поняла, что сказала лишнее, и злобный блеск погас в её глазах.

— Отстань ты, Катька, от меня, — бесстрастно, обычным тоном сказала она. — Ты просто жить людям не даешь своими допросами.

— Нет, ты скажи — за что ты меня ненавидишь?

— Какая ты скучная, Катя, с тобой и пошутить нельзя. Катя смешалась: а может быть, это и в самом деле шутка?

Она ждала, что подруга сейчас весело засмеется, может, даже, как раньше, бросится на шею и признается, что она просто отлично сыграла выдуманную роль — ей, как будущей актрисе, это необходимо. Но ничего этого не случилось и не могло случиться. Так не шутят, и шутки не растягивают на целый год. Она сказала правду!

Рая наклонилась, подняла с земли прут и погнала корову. Катя, опомнившись, пошла за ней следом.

— Я знаю, за что ты злишься на меня, — жестко сказала она; слово *«ненавидишь»* ей даже произнести

было трудно. — Ты думаешь — я люблю Алёшу, и из-за этого бесишься. Ты задираешь нос, как какая-нибудь шляхтянка...

— Что-о? — Рая обернулась и презрительно захохотала. — И люби себе на здоровье! А мне он нужен, как собаке палка, твой задрипанный Алёша! Счастье нашла!

Катя простила бы, если б обидели её, но обижали Алёшу, пренебрегали им, и этого она никому простить не могла. Задыхаясь от сдерживаемого гнева, она заговорила медленно, с паузами, но слова её падали, как чугунные ядра, прямо в лицо растерянной Раисы:

— Ты-ы… ты корчишь из себя барышню… И это так отвратительно!.. Так противно… Тьфу! Плюнуть хочется… Ведь гы же комсомолка! — Потом не выдержала все-таки, крикнула — А про Алёшу… Мы не позволим тебе так говорить про Алёшу!.. *«Задрипанный»*. Ты — чистоплюйка!.. Белоручка! Он тебя… тебя… уважает… — Голос Кати задрожал от слез, но она поборола свою слабость. — Алёша — настоящий человек… А ты, ты заводишь шуры-муры с этим старым слизняком… только потому, что он умеет бренчать на этом твоём ломаном пианино, из которого клопы ползут. Ты должна выгнать его из дома! Нечего ему жить у вас.

Раиса, не говоря ни слова, стегнула корову прутом, та сперва остановилась и с удивлением и укором посмотрела на хозяйку, но, получив еще разок, ударила себя хвостом и побежала. Раиса пошла следом за ней.

16

В тот же вечер Лемяшевич говорил с Аксиньей Федосовной о её дочери. Разговор был не случайный. У директора давно возникло это намерение, как только он получше присмотрелся к ученикам. А пристальное изучение каждого школьника он как раз и начал с десятого класса; им, выпускникам, людям почти уже взрослым, он отдавал свое главное внимание.

Лемяшевич понял, что по сути только теперь начинает настоящую творческую работу над своей диссертацией, и это окрыляло и вдохновляло его, хотя он еще и не написал ни строчки.

С Аксиньей Федосовной он встретился на заседании правления колхоза и нарочно сел рядом. Заседание было обычное, рядовое. На обсуждении стоял один главный хозяйственный вопрос, который, как это часто бывает в колхозах, включает в себя несколько других: об уборке картофеля, о выполнении поставок картофеля и капусты, о продаже этих продуктов, так как присутствовал представитель райпотребсоюза. По таким вопросам всегда много говорят, часто довольно жестко критикуют отстающих бригадиров и колхозников, заготовительные организаций, но очень редко принимают конкретные решения. Да и что тут примешь? Надо выполнять — и все!

Так было и на этот раз.

После основного вопроса шло *«разное»*: десяток дел *«второстепенных»*, *«мелких»*, как их часто называют, несмотря на то, что именно эти житейские мелочи и привлекают на заседания множество людей и часто оказывают влияние на всю дальнейшую работу — поднимают активность колхозников или, наоборот, глушат её.

Заседание было многолюдным. Пересмотр норм на строительные работы, раздача на трудодни яблок, назначение нового заведующего свинофермой, радиофикация Тополя — самой далекой бригады, плата за электроэнергию, помощь старикам, направление на учебу — все эти мелкие вопросы задевали интересы многих людей. Но это обычное как будто бы заседание проходило на этот раз не совсем обычно. Всех удивил председатель. Редко кто видел таким Мохнача: аккуратно побритый, в свежей рубашке, лучшем своем костюме и начищенных сапогах. От этого он выглядел более молодым, подтянутым. Кто-то, увидев его, с удивлением бесцеремонно крикнул:

— Ого! Потап сегодня прямо жених!

И вёл он себя необычно. Колхозники уже привыкли, что он, когда говорит, смотрит не на людей, а куда-то в стол или под ноги тому, с кем разговаривает. Выступления его были путаные, маловразумительные. Обычно он сам вносил все предложения и чрезвычайно редко ставил их на голосование на заседаниях правления и даже на общем собрании. Если ему возражали, он старался поскорее замять вопрос и перейти к следующему, а потом все равно делал по-своему, либо отвечал: *«Ладно, поговорю там, — и махал рукой в пространство, имея, должно быть, в виду райцентр, но показывал он почему-то всегда в противоположную сторону, куда-то на юг. — Есть повыше нас»*. Неизвестно, советовался он где-нибудь или нет, однако через некоторое время почти всегда делал так, как сам решил.

И вдруг сегодня Потап Миронович Мохнач стал не похож на самого себя. Он явился на заседание не только выбритый я по-праздничному одетый, но какой-то оживленный, разговорчивый, приветливый. Говорил более энергично — и потому интересно, время от времени поднимал голову смотрел в лица членам правления, сидевшим в первом ряду, несколько раз даже улыбнулся, хотя улыбка была какая-то неуверенная, и часто спрашивал: *«Как товарищи думают, правильно я говорю?»*

Когда дошли до *«разного»*, он обратился к собранию:

— Товарищи, прошу, вносите предложения. Давайте подумаем, товарищи. Мы должны решать коллективно… А как же! Все мы хозяева, товарищи…

Никогда раньше он так часто не повторял это благородное слово *«товарищи»*.

Лемяшевич бывал уже и на общем собрании и на заседаниях правления и после многих встреч, начиная от первой, на лугу, и кончая разговором в сельмаге, хорошо изучил Мохнача, а потому теперь сидел и ломал

голову: что могло так внезапно изменить этого человека? Неужели все его прежнее поведение было только следствием особых условий работы и жизни? Или, может быть, это сегодняшнее у него не от души, а просто игра с корыстной целью? Но какова же цель? Зачем ему понадобилось выставлять себя перед колхозниками лучше, чем он есть? Чего он хочет этим добиться? А может быть, у него случилось какое-нибудь радостное событие и он таким образом хочет поделиться с людьми своей радостью? Все его недоумения разрешила Аксинья Федосовна. Она вдруг тяжело вздохнула и, наклонившись к Лемяшевичу, зашептала ему на ухо, не обращая внимания на то, что её шепот слышен всем соседям и они с любопытством оглядываются.

— Слаб наш Потап. Придется и его погнать. — Она сказала это так, как будто судьба Мохнача зависела от нее одной. Лемяшевич удивился. Не так давно, в день своего приезда в Криницы, он слышал от неё совсем другой отзыв о председателе — она хвалила Мохнача, возражала дочке, когда та сказала, что народ его не любит.

Что же между ними произошло за эти два месяца? Опять-таки загадка. Заинтригованный, Лемяшевич хотел было напомнить ей её прежние слова, но Аксинья Федосовна опять зашептала:

— Пока чувствовал свою силу, вон как держался! Еще бы, хозяин, власть! Что ему правление! А почувствовал слабость — вишь, как завертелся… не узнать. Прямо-таки артист… *«Товарищи, товарищи…»* Мы все товарищи, когда хорошо работаем… А не умеешь работать, так какой ты нам товарищ? И нечего тебе перед народом хвостом вертеть. Мы тебя насквозь видим…

Лемяшевича удивила проницательность этой женщины. Она первая разгадала причину внезапной перемены Мохнача, и разгадала почти точно. Великое движение за укрепление колхозных кадров заставило этого человека, как и многих других, ему подобных, впервые

критически взглянуть на себя, на свою деятельность, на результат своей работы. Взглянул — и увидел, что не отвечает он тем требованиям, какие предъявляются к председателю колхоза. Но сознание, что теперь, потеряв должность, нелегко будет получить другую такую же, или, может быть, даже искреннее убеждение, что он может стать лучше, может *«подтянуться»*, заставляет его держаться за место. Лемяшевич вспомнил рассказ Сергея Костянка про главного механика МТС, как тот кричал: *«Я — практик!»* Несомненно, Мохнач тоже из породы Барановых, только выдержки у него больше и *«техника»* иная, более хитрая и сложная, Аксинья Федосовна решительно выступила против одного предложения председателя. Мохнач надумал значительно повысить для служащих плату за пользование электроэнергией. Обосновывал он это тем, что учителя, медработники, служащие МТС больше тратят энергии, так как у них не по одной-две, а по нескольку лампочек и только у них есть электроприборы.

— Так пускай платят за колхозное добро. А кто считает, что много, пускай счётчик ставит — будем по счётчику брать… А как же? Чтоб порядок был, как в городе… Все это — колхозная копейка… А колхозная копейка — наша копейка, товарищи…

Лемяшевич тоже считал, что по сути это правильно, только, пожалуй, Мохнач назвал слишком большую цифру. Он видел, что и члены правления, сидевшие рядом, склонны поддержать это предложение. Но тут тяжело повернулась его соседка слева, Аксинья Федосовна, и, задев его локтем, встала.

— Нет! Неправильно! Копеечники мы после этого! У нас тысячи пропадают — мимо проходим и не видим. А тут нашли, за чей счёт кассу пополнять… Эх, вы! — Она повернулась к сидевшим и укоризненно покачала головой. — С кого мы хотим драть эти несчастные копейки? С учителя, который глаза слепит над тетрадками наших детей, который в люди наших детей выводит.

— Ничего, заплатят… Они тысячи загребают! — крикнул задорный голос в задних рядах.

— Со служащих МТС? Которые нашу землю обрабатывают…

— Землю трактористы обрабатывают! — отозвался тот же голос.

Аксинья Федосовна на миг умолкла, поднялась на носки и, оглянувшись на задние ряды, сурово спросила:

— Кто это там такой умник? Не тот ли, что семнадцать трудодней за год выработал?

Колхозники засмеялись, зашевелились. В комнате почувствовалось оживление: народ любит, когда спорят.

Аксинья Федосовна энергичным движением сдвинула с головы платок, как бы готовясь к бою.

— Партия присылает нам людей, специалистов из города, от света и тепла… А мы давайте подумаем, за что бы ещё с них слупить. Давайте за воду из наших Криниц установим плату. Криницы же у нас святые…

Слова эти многих рассмешили, но Лемяшевич чувствовал, видел, что большинство все ещё не на её стороне, что основной массе всё равно, как будет решен этот как будто бы мелкий вопрос. Им — лишь бы перепалка была.

— Государство вон все налоги сняло с учителей и врачей, — продолжала Аксинья Федосовна уже немного спокойнее.

— Так почему бы им теперь не заплатить в колхоз лишнюю копейку? — спросил кто-то другой, из пожилых.

— Опять копейка! — с раздражением крикнула Аксинья Федосовна. — Ведь не в копейке дело! А в совести нашей!..

Платят люди и так в два раза больше, чем колхозники… Так нет, мало… Надо ещё… Давайте сдерем с Натальи Петровны деньги за свет, за дрова, за то, что корова пасётся, — за всё… Она же богатая. Она за шестьсот рублей день и ночь бегает из деревни в деревню…

И вдруг после этих слов шум утих, люди как бы насторожились. Лемяшевич даже не сразу понял, в чём дело.

— Она ведь ни одного воскресника не пропустила… Полола, жала и трудодней не требовала. Богатая!

— Оксана, Наталью Петровну ты не трожь… Наталье Петровне мы всегда исключение сделаем, — сказал председатель ревизионной комиссии Иван Снегирь — её деверь.

Лемяшевич обернулся, посмотрел на лица колхозников и увидел, что сейчас почти все на стороне Снегирихи. Хитрая и умная женщина знала их *«слабое»* место — общую любовь и уважение к Наталье Петровне. Всем сразу стало неловко и совестно, что придется потребовать чрезмерно высокую плату с такого человека, как врач. Чтоб это сделать, в самом деле надо быть копеечником. Лемяшевич испытывал не то что ревность к Наталье Петровне, а скорее другое, более сложное чувство, в котором соединялись и ревность, и зависть, и уважение, и восхищение, и гордость за человека. Удастся ли ему заслужить когда-нибудь такую любовь?

Общее настроение уловил, должно быть, и Мохнач, так как тут же дал отбой:

— Товарищи, я не настаиваю. Я хотел, чтоб лучше для колхоза… Но я — как народ. Возможно, мы тут чего-то недодумали, поторопились… Поговорим там, — он махнул рукой в пространство.

Аксинья Федосовна пренебрежительно покачала головой и еще раз вздохнула.

Расходились за полночь. Лемяшевич, выйдя вместе с Аксиньей Федосовной, предложил проводить её домой. Она засмеялась, обращаясь к женщинам:

— Бабы! Можете завидовать! Какую мне наш директор честь оказывает! — И шутливо взяла его под руку. — А может, вы ошиблись, Михаил Кириллович! Может, вам кто помоложе приглянулся?

Но, выйдя из толпы, она освободила свою руку, стала серьёзной, степенной, снова завела речь о колхозных делах:

— Мохначу — капут, как немцы говорили, хотя ему и хотелось бы удержаться. Теперь все, кто раньше чихал на колхоз, цепляются за него… Вкус почувствовали. Не было бы перелома этого — остался бы Мохнач, терпели бы как-нибудь. Но теперь — нет, дудки, не станем терпеть. Теперь знаем, что пришлют уже не Потапа, А кому не хочется лучшего?

Она говорила не умолкая и высказывала довольно интересные мысли. Приближались к её дому. Лемяшевичу не хотелось затевать разговор о Рае прямо под окнами, где мог подслушать Орешкин. Предложить ей пройтись до конца улицы — тоже неловко. И он, улучив момент, перебил собеседницу:

— Аксинья Федосовна, я хотел поговорить с вами насчет вашей дочери.

— Дочери? — сразу встревожилась она. — А что такое?

— Да ничего особенного… Но, знаете, нас, педагогов, всегда беспокоит поведение, несвойственное школьнику. Например, не ходит с другими ребятами на работу в колхоз…

— У нее рука болит. Я могу взять справку от докторки.

— Или отказывается участвовать в хоровом кружке.

— А-а... — И это *«а-а»* прозвучало, как: *«Только и всего? О глупостях заводишь разговор, директор»*. Но она

сделала вид, что удивилась — Что ж это она, такая певунья? Хорошо, я ей скажу.

— Да не только в работе и в кружке дело… Как бы вам сказать?.. — Лемяшевич долго готовился к этому разговору, однако теперь чувствовал, что все равно нелегко ему коротко и ясно, простыми словами высказать свои мысли. Слова лезли все какие-то книжные, казенные. — Нам не нравится, что она избегает своих одноклассников, ставит себя над коллективом…

— Как же это она избегает? Я её все время вижу с девчатами. Редко одна бывает… Мы люди простые. Колхозники…

— Но все-таки согласитесь, что она ведет себя не так, как раньше…

— А откуда вам знать, какая она была раньше? Вы у нас недавно… — Разговор явно раздражал Аксинью Федосовну, и в голосе её послышались неприязненные нотки.

Они остановились возле её дома. Электростанция еще работала — механики знали, что собрания никогда рано не кончаются, — и из окон почти каждой хаты лился яркий свет.

Светилось и окно комнатушки завуча. Орешкин, конечно, не спал, и Михаил Кириллович старался говорить как можно тише, Но Аксинья Федосовна, должно быть нарочно, отвечала в полный голос.

— Хорошо, я у вас недавно, — согласился Лемяшевич. — Но давайте говорить откровенно… Рая уже взрослая девушка, притом девушка с фантазией, с богатым воображением… У нее формируется характер. Ей нужна своя среда, нужно быть среди ровесников… — Он снова почувствовал, что говорит слишком книжно, и рассердился на себя. — Короче говоря — зачем вам в доме этот… наш завуч? Его постоянное влияние…

— А-а… — Но это было уже совсем другое *«а-а»*, злое, угрожающее. — Вам завуч на мозоль наступил?

— Да не в завуче дело, ну его! Меня Рая беспокоит.

— А вы не беспокойтесь… Я сама побеспокоюсь о своей дочери… — сказала она громко, но как будто миролюбиво. И вдруг, словно что-то сообразив, наклонилась к нему и зло зашептала — В чём вы подозреваете её?.. Она ещё ребенок… Как вам не стыдно!

— Я ни в чем её не подозреваю, Аксинья Федосовна… Я говорил о её воспитании… Самый факт её ежедневного общения с преподавателем запросто… отрывает её от коллектива.

— Плохой ваш коллектив! Вы его испортили… А теперь хотите свалить с больной головы на здоровую… Вы на себя поглядите… Любят ли вас учителя?..

Она нарочно говорила громко. Лемяшевич услышал, как тихонько скрипнула форточка в окне, и у него пропала охота спорить с этой самоуверенной, самолюбивой и грубоватой женщиной, отстаивать свою правоту. Кроме того, он больно переживал свою ошибку, значительно больнее, чем её необоснованные обвинения. Он решился на этот разговор потому, что был уверен, в особенности после сегодняшнего заседания, что это умный и принципиальный человек. И вот… Когда дело дошло до того, что ей, естественно, дороже всего на свете, куда девался её трезвый ум, её принципиальность! Понимай тут людей! Он молчал.

— Я, товарищ директор, прожила на свете — слава богу… И сама разбираюсь в людях. Так вот вам что думает старая колхозница… Виктор Павлович, которого вы неведомо за что невзлюбили, настоящий человек и учитель. Во всяком случае, не вам чета… А вы не доучились и теперь лезете в чужую душу, словно поп. А я с молодых лет попов не люблю.

Михаил Кириллович оглянулся и в полосе света,

падавшей из окна на цветник, увидел длинную тень Орешкина. Ему стало смешно.

— Настоящий человек не станет подслушивать чужие разговоры, — сказал он, удивив Аксинью Федосовну своим неожиданным смехом. А потом привел её в еще большее недоумение, когда совершенно дружелюбно попрощался — Доброй ночи, дорогая Аксинья Федосовна! Всего вам наилучшего!

17

Это была осень великих сдвигов.

В мастерские МТС, в колхозы, ближе к земле, ехали тысячи людей, оставляя обжитые места. Ехали туда, куда звала партия. Горячая наступила пора в работе городских и сельских партийных комитетов.

Бородка понимал всю грандиозность этой перестройки и поначалу обрадовался, но не будущим результатам её, а самой возможности *«поработать в полную силу»*, *«штурмануть»* и таким образом показать себя. Но оказалось, что штурмом тут ничего не добьешься. Мало помогала его кипучая деятель-нбсть, его непрерывная езда по колхозам. Чтобы укрепить МТС и колхозы лучшими кадрами, потребовалось нечто иное — иной строй мыслей, иной стиль работы с людьми. Он же пока нашел один выход: настойчиво стал требовать от областных организаций присылки специалистов. То и дело ездил в обком. И вот однажды Малашенко, к которому он заходил запросто, как к старому другу, сказал ему уже не по-дружески, а довольно официально:

— Что это вы, товарищ Бородка, все от обкома требуете? Агрономов вам дай, механизаторов дай, председателей колхозов — тоже. А ваши собственные кадры? Кого из районного актива вы послали в колхозы? Нет подходящих людей? Значит, у вас самые плохие кадры, самый плохой район? А вы нам пыль в глаза пускали. Поглядите, что делается у ваших

соседей! Началось настоящее движение за посылку ответственных работников на село. В Сосновке, например, второй и третий секретари сами заявления подали. Пожалуйста… в Базилевичах… в Калиновичах… А вы всё сверху ждете!

Артем Захарович из обкома поехал не в колхозы, а обратно в райцентр, по дороге обдумывая, кого направить в колхозы, с кого начать. И — странное дело! — как он ни раздумывал, как ни перемещал работников, выходило, что и в самом деле очень мало людей стоящих, которых с легким сердцем можно послать председателями колхозов, будучи уверенным, что они не подведут, что с ними можно будет выполнять любые задачи. Третий секретарь? Туберкулёзник, каждый год на полгода из строя выбывает. Второй секретарь? Этот ничего, пожалуй, смог бы. Но кто ж останется тогда в райкоме? Заведующий сельхозотделом и заместитель председателя райисполкома? Эти и в конюхи не годятся, не то что… *«Да-а…, подобрал кадры, товарищ Бородка, — кольнул он самого себя. — Кого же всё-таки? Лемяшевича?»* Видно, здорово въелся ему в печёнку этот Лемяшевич, что он так часто о нем вспоминает. *«Нет, не подойдет… Если б он был специалист, а так — снова можно погореть. Прокурора? Что ж! Этот сможет… Пускай идёт поработает. Это ему не красивые слова говорить! Пускай оттуда, из колхоза, покритикует. Кого еще? Редактора? Тоже может… Человек с большим чувством ответственности за дело. Такой не подведет… Директора крахмального завода можно…»*

Довольный, что все-таки нашлись в районе люди, которым можно доверить колхозы, Артем Захарович с обидой подумал: *«Ничего, товарищ Малашенко, не отстанем и мы»*.

В райкоме его помощник среди других бумаг принёс несколько дел о приёме в партию, поступивших из первичных организаций. Артём Захарович, хотя были у него дела и более срочные, стал тут же просматривать папки: интересно, какие организации растут, что за

люди, — он ведь знал почти всех в своем районе. И вдруг, будто не папка ему в руки попала, а раскаленный уголь… он вздрогнул и оглянулся, хотя в кабинете, кроме него, никого не было.

«Бородка Алена Семеновна».

Артем Захарович не сразу поверил своим глазам, не сразу раскрыл папку. На миг усомнился, мелькнула надежда: *«Не она, кто-то другой»*. Но во всём районе — это ему точно известно — нет ни одного Бородки.

Он раскрыл папку и засмеялся, его вдруг охватило непонятное веселье: его жена, с которой он прожил двадцать лет, вырастил детей, вступает в партию, а он до сих пор ничего не знает, и, если б не был секретарем, неизвестно, когда узнал бы. Он внимательно и с интересом перечитал анкету, биографию. Веселье уступило место злобному раздражению, вызванному чувством личной обиды. Особенно рассердился он, когда прочитал, что первую рекомендацию, еще месяц назад, ей дал Волотович. *«Так вот оно что, уважаемая Алёна Семеновна! Мужу — ни слова, он для тебя — враг. Ближайший твой советчик — Волотович, который подкапывается под Бородку. Да… Месть, достойная женщины. А под её влиянием дети… Скоро дети отвернутся, Коля у Волотовича готов дневать и ночевать… Волотович!»*

Мысли эти прервал телефонный звонок. Говорил заместитель редактора областной газеты Стуков, старый знакомый Бородки, они вместе когда-то работали.

— Что у тебя новенького? Как перестраиваешься? — поздоровавшись, спросил Стуков. — Выдвинул бы какое-нибудь начинание, а мы бы осветили, чтоб на всю республику прогремело.

— Легко вам освещать готовенькое, писакам, — недовольно ответил Бородка. — Начинание! Это тебе не газета: сел, написал — и любое начинание готово. Привыкли вы с маху начинания фабриковать! А ты на

мое место сядь да погляди, как это новое начинается...

— Ты что-то, брат, пессимистом становишься. Народ радуется, а ты... Испугался! Не бойся, у тебя позиции крепкие!

— Иди ты...

— Шучу, Артем Захарович! Мне тоже нередко настроение портят... Я к тебе вот по какому делу... Получили мы письмо... о директоре Криницкой школы. Послушай... я — главное, самую суть...

Бородка, услышав, что речь идет о Лемяшевиче, сразу вспомнил свои прерванные мысли о председателе райисполкома.

«Волотович — Лемяшевич! Опять! — В памяти всплыл августовский разговор. — Чёрт знает что! Все неприятности связаны с этими двумя... И каждый раз какое-то фатальное совпадение. Волотович — Лемяшевич... Глупости, разумеется, а настроение портит... Ага, кто-то и до него добрался... Что? Доски продавал? Ах, вот ты какая штучка! Так, так!»

Занятый своими мыслями, он сперва слушал рассеянно и улавливал только то, что совпадало с его настроением. Пропустил мимо ушей и конец — фамилии людей, подписавшихся под письмом.

— Что ты на это скажешь? — спросил Стуков.

— Там где-то в начале говорится: не везет школе на директоров... Правильно говорится. Дрянь, конечно, директор! Выскочка, самоуверен, хотел поставить себя над райкомом... И пьет! Мне рассказывали.

— Значит, всё правильно? Можно давать? Думаем в форме фельетона от лица читателей. Написано живо, остро, почти и править не надо. А нас критиковали, что мы мало фельетонов даем. Значит, под твою ответственность?

— Почему под мою? У меня и без этого хватает за что

отвечать!

— Но ведь я официально проверяю факты. Ты — секретарь райкома...

— Ну, давай! И отцепитесь вы от меня со своим Лемяшевичем!

— Лечи нервы, Артём! — пошутил в ответ Стуков. Бородка бросил телефонную трубку и, сразу забыв об этом разговоре, снова вернулся к мыслям о Волотовиче. Трудно объяснить, в какой связи, благодаря какому логическому ходу вдруг возникла мысль, за которую он с радостью ухватился как за великолепную находку. *«Посмотрим, как ты завертишься, старый демагог!»* — думал он, расхаживая по кабинету в ожидании председателя райисполкома. Когда тот наконец пришел, Бородка сразу без всяких предисловий сказал:

— Недоволен обком, Павел Иванович, нашей работой по подбору кадров для колхозов. Недоволен!

— Ясно, будет недоволен, — согласился Волотович, привычным жестом доставая из кармана очки.

Бородка вперил в него испытующий взгляд, — Ты меня, Павел Иванович, правильно, пожалуйста, пойми. Одни фамилии названы были категорически: должен ехать — и никаких разговоров! Что касается других, спросили: *«А вы, товарищ Бородка, с людьми по-партийному, — он вытянул раскрытую ладонь так, точно взвешивал это емкое слово, — говорили?» — «Нет, не говорил»*. Что я мог ответить. Вот потому, мол, вы и отстаете... *«А вы поговорите»*. И назвали фамилии... и в том числе... — Бородка приподнялся, вертя в руках карандаш и не сводя глаз с Волотовича. — Между прочим, Павел Иванович, твой коллега из Сосняков уже в колхозе.

Павел Иванович достал платок, вытер лоб, лысину. *«Ага, пот прошиб? Других агитировать легче. И критиковать тоже... А ты сам... сам пример покажи!»*

Рука Волотовича, державшая очки, заметно дрожала. Бородка был уверен, что сейчас он неприязненно спросит: *«Избавиться захотел, товарищ Бородка?»* — и готовил ответ; им вдруг овладело твердое убеждение, что он действует по-партийному и не имеет уже морального права отступить ни на шаг.

Но Волотович смущённо и в то же время по-хорошему улыбнулся и, наклонившись над столом, тихо и дружески спросил:

— А справлюсь, Артем Захарович? Скажи по совести: веришь ты в мои силы? Мне пятьдесят четыре года…

Бородка никак не ожидал такого поворота и растерялся, как школьник перед учителем, который разгадал все его проказы. Волотович быстро обошел вокруг стола, стал рядом и опять заговорил просто и душевно:

— Я, Артем Захарович, думаю об этом с того самого вечера, как прочитал постановление. Но, представь, сомневаюсь… Чертовы сомнения! А идти туда, — он махнул рукой в пространство, — надо с твердой, непоколебимой верой в свои силы, в то, что ты не подведешь людей. Вот мы руководили… много лет… Я — двадцать один в районном масштабе… И тот из нас, кто поднялся до этих масштабов, давал указания председателям колхозов, ругал их, рекомендовал колхозникам выгнать или выбрать нового, никогда не задавая вопроса себе: *«А сам ты справился бы с таким хозяйством, особенно сейчас, после укрупнения, когда колхозы вон какие, по пять тысяч гектаров?»* Мы даже, наверно, обиделись бы, если бы нам раньше кто-нибудь сказал: *«Иди в колхоз»*. Мы считали, что колхоз — это для Мохнача или Литвинки, а мы — номенклатурные. Председатель райисполкома, секретарь райкома да и заведующий отделом попадали туда только в одном случае: объявят строгий выговор, выгонят с треском за провал, тогда — как наказание — в колхоз. В промышленности назначат секретаря райкома директором завода, и никто не считает это понижением… А ведь в колхозе, может быть, в сто раз

труднее, чем этому директору… Колхоз — это целый комбинат… А мы туда Мохнача с его двумя классами приходской школы… И вот сейчас, знаешь, не один задумался… Скажи, Артём, откровенно: веришь? Справлюсь?

Бородка взял его руку, крепко сжал и произнес, как присягу, твердо и торжественно:

— Верю, Павел Иванович! Справишься! Спасибо тебе. — И, сев за стол, еще раз повторил: — Спасибо.

Сказал он это от всей души. Его поразила и тронула готовность Волотовича. Это были не слова, это было дело. Бородке стало стыдно за себя, за свои недавние мысли, за глупое желание отомстить неведомо за что этому седому человеку, старому коммунисту. Чем он хотел его напугать? Позор! Было стыдно и тяжело еще и оттого, что — он чувствовал—сам он не был готов на такой подвиг. А ведь ездил же он когда-то на Урал по мобилизации райкома. А в сорок первом? Без всяких колебаний пошел в лес, в партизаны. Что же произошло? Ему неловко было смотреть Волотовичу в глаза.

Что произошло? А ничего. Просто чувствует, что он нужнее партии и народу на должности секретаря. Нельзя же, чтобы все пошли в председатели колхозов только ради красивого жеста, для славы. Кто останется тогда в руководстве? Волотович — дело другое, он, видно, чувствует, что принесет больше пользы в колхозе…

Уладив со своей совестью, Бородка тут же вытащил стопку бумаги, бросил на стол и с веселой улыбкой посмотрел на Волотовича.

— А сомнения свои брось! Сдай в архив! Не бойся. Поможем. Какой колхоз думаешь выбрать?

— Колхоз? — Волотович присел напротив, лицо его выражало радостное волнение. — Думал и об этом. Давай в самый большой — в Криницы.

Бородка насторожился.

— Почему в Криницы? Мы Мохнача не собирались сменять.

— Нет, Артем Захарович, если мы хотим выполнять решения не на словах, а на деле, надо начинать именно с Мохнача. Хватит таких *«хозяев»*! — настойчиво и решительно возразил Волотович. — Человек абсолютно без перспективы.

Бородка поскреб затылок концом карандаша. На миг у него снова возникли подозрения, догадки, снова стали рядом две неприятные фамилии, но он отогнал все это. Слишком большое дело решалось, чтоб обращать внимание на личные симпатии и антипатии. Он понимал, что было бы более чем неумно ставить сейчас Волотовичу какие-нибудь препятствия в осуществлении его благородного намерения.

— Что ж… Криницы так Криницы. Так и запишем! — согласился он,

18

Семья Костянков ужинала.

Лемяшевича давно уже считали здесь своим человеком, да и сам он чувствовал себя членом этой дружной семьи, и потому его присутствие никого не смущало, даже Алексея. При нем обсуждали все домашние дела, откровенно высказывали свои мысли об односельчанах, обо всех событиях в жизни колхоза, сельсовета, района. В оценке этих событий обычно разногласий не было. Когда же *«брали выше»*— доходили до вопросов международной политики, — нередко возникали споры, чаще всего между Адамом и Сергеем. В этих спорах Лемяшевич выступал в роли арбитра. *«Политические дискуссии»* особенно любил сам хозяин, Степан Явменович, и часто незаметно и весьма хитро подбивал на них молодежь.

За столом каждый сидел на своем месте, только, в

нарушение патриархального обычая, место в углу досталось самому младшему — Алексею.

Улита Антоновна нарезала гору хлеба, поставила большую миску с огурцами и такую же с крупно порезанной селедкой. Молодёжи она подала мелкие тарелки, себе — тоже, хотя почти никогда тарелкой не пользовалась. Старику она и не ставила её, он любил есть из общей, редко даже пользуясь вилкой — все больше руками. Аня как-то сделала ему замечание, но он шутливо показал свою шершавую мозолистую пятерню:

— Моя вилка — вот она. Самая надежная. Когда мать вытащила из печи чугун с картошкой и бараниной и хата наполнилась вкусным запахом тушеного мяса, Аня вскочила и выбежала во двор. И все мужчины за столом сразу почувствовали себя неловко, избегали смотреть друг на друга, делая вид, что ничего не заметили. А мать сказала просто:

— Нездоровится Ане.

Алексей смутился и, чувствуя это, ниже опустил голову. Аня выскакивала из-за стола, услышав запах мяса, не в первый уже раз. Когда Алексей понял причину, он как-то изменил свое отношение к сестре: впервые стал её стесняться, как чужой, и уважать как женщину.

Сергей, весь вечер выглядевший, как отметил Лемяшевич, несколько торжественно и в то же время растерянно, воспользовался общим молчанием и сказал:

— Есть две новости, — и остановился, оглядывая всех по очереди: кто как будет реагировать?

А реагировали все одинаково — сразу забыли про Аню.

— Какие?

— Председателем колхоза у нас будет Волотович.

— Председатель райисполкома? — удивился

Лемяшевич.

— За что это его так? — спросил Степан Явменович довольно равнодушно, вытирая полотенцем пальцы и рот. — Как будто ничего был человек.

— Сам попросился.

— Сам? — удивился и сразу заинтересовался отец. — Верно сам? — И лицо старика осветила ласковая улыбка. — Сам, говоришь? Молодчина! Вот это я понимаю, человек откликнулся на призыв партии. А то пока больше разговоров, чем дела. А это хорошо, Волотович человек с головой. Вот бы еще Бородку к вам в МТС, Может, он там порядок навел бы, — Старик, хитро прищурясь, посмотрел на Сергея.

— Ты, отец, так это говоришь, как будто у нас полный беспорядок.

— Сколько я слышал от вас обещаний разных, и от директора, и от сына. Мало вы себя в грудь били? А договора все равно не выполнили. Составляем планы, надеемся, а вы нам — свинью… Скажите спасибо Алексею, он вас в этом году вытащил…

Улита Антоновна поставила на стол старый медный самовар.

— А работает в эмтээсе от темна до темна, — заступилась она за старшего сына.

— Толку-то что? — не сдавался Степан Явменович, обращаясь почему-то к Лемяшевичу. — Выйдет трактор в поле, подымет пять гектаров каких-нибудь — и стал в борозде. Обидно смотреть. Такая техника! И — на тебе! — стоит. И вот начинают искать причины, обвинять друг друга, ругаться… А причина ясна. Выполняли план ремонта, гнали, чтоб сводочку дать. Ремонтировали в ноябре, а потом техника эта до апреля ржавела под снегом и дождем!.. Да в таких условиях любая машина испортится, хуже чем от работы! Мужик когда-то свой плужок салом смазывал и на чердак црятал, а вы этакие

машины под снег! Хозяева!

— Не шуми, отец! — спокойно заметил Сергей, подмигнув Лемяшевичу: *«Видишь, какой у меня старик!»* — Наступит у нас перелом. Новое начальство… Новое отношение…

— Какое начальство?

— Главный инженер новый. Новые механики, двое из города приезжают.

— А главным кто? — что-то заподозрив, спросил Алёша.

— Главным? — Сергей на миг смешался. — Главным — я. Сегодня пришел приказ.

— Ай-ай-ай! — закричал Бушила. — И он молчал! Давай лапу. Только бить тебя надо: такой повод опрокинуть по стопке под баранину, а он молчит, как невеста. Главный, называется!

Михаил Кириллович, сидевший рядом, поздравляя, обнял Сергея за плечи, просто и сердечно спросил:

— Признавайся — рад?

— Знаешь, как бы тебе лучше объяснить? Раньше отбивался бы руками и ногами. А теперь откровенно говорю — рад. Нельзя не радоваться, когда такие задачи перед нами и такие возможности открываются. Сейчас только и работать!..

Мать стояла посреди хаты, подперев ладонью щеку, и с умилением смотрела на сына. Отец вынул большой засаленный кисет и стал сворачивать цигарку, — любил старик побаловаться крепким самосадом после доброго ужина или обеда. Он не поздравил сына, не пожал руки, только довольно хмыкнул раза два в усы. Потом, выбираясь из-за стола, чтобы прикурить у печки от уголька, сказал:

— Значит, главный? Ну, гляди же, главный! Теперь мы с тебя и спросим как с главного.

Мужчины, кроме отца, все еще сидели за столом, пили чай и горячо обсуждали эти новости, когда неожиданно вместе с Аней вошла Наталья Петровна. Весело поздоровалась и пожелала приятного аппетита, нисколько не смутившись, что попала к ужину. А молодые люди вдруг все застеснялись. Сергей, конечно, больше всех, но и Лемяшевич, и Алёша, и даже скептик и шутник Бушила.

Озабоченно засуетилась мать.

— Ай, какая гостья! Давно ты у нас не была, Наташа.

— А чего мне ходить туда, где все здоровы! Вон какие дубы! — засмеялась она, кивая на мужчин.

— А я не так уж и здорова. Сердце болит, Наташа. И Ане неможется.

Улита Антоновна фартуком вытерла табурет, подвинула к столу.

— Садись, Наташа, чаю с нами выпей.

— Спасибо, только что пила. — И она следом за Аней быстро прошла на чистую половину.

За столом все молчали, каждый уставился в свою чашку. Бушила не выдержал и прыснул чаем.

— Вы что языки прикусили? Здорово действует на вас медицина!

Алёша, задетый его шуткой, сразу же встал из-за стола. За ним оставил недопитую чашку Сергей. Лемяшевич, чтобы не давать Бушиле повода для шуток, не спеша допил свой чай. Он зашел на другую половину последним. Наталья Петровна, уже без шапочки, но в пальто, сидела у стола, заваленного книгами и газетами, — за этим столом работали все по очереди, — и говорила смущенному Алёше:

— На кого я не могу налюбоваться, так это на Алешу. Каждый день видела — и не заметила, как вырос

человек. Ей-богу. Вот помню, перед глазами стоит… — она закрыла глаза, и на мгновение её лицо стало серьёзным и грустным. — Помню, как он бросал в меня ледяшками, когда я тифозную мать в больницу забирала. Лет семь ему, тогда было. А тут летом как-то глянула на него, когда он на комбайне работал. Боже мой! Какой человек вырос! И удивительно и радостно… — и после паузы добавила: — и грустно… Я вдруг поняла, как много прошло лет… как мы стареем…

— Ах, какая старуха! — пошутил Лемяшевич.

Она не ответила. Как и прежде, она при встречах как бы не замечала его. Лемяшевича обижало такое отношение. Уже не в первый раз хотелось ему спросить: *«Почему вы не хотите признавать меня? За что вы меня презираете?»* Но он терялся в её присутствии. И сейчас растерялся.

Наталья Петровна вдруг предложила:

— Сергей Степанович, пойдёмте погуляем. В поле куда-нибудь. Вечер чудесный! Луна! Первые заморозки…

Сергей на миг онемел от счастья и, должно быть, не поверил своим ушам. Гуляли они, случалось, и раньше, возвращались вместе из клуба, с собрания. Но в первый раз она вот так позвала его. Как же понимать это её приглашение? Аня многозначительно переглянулась с мужем. Адам замурлыкал под нос какую-то неопределенную мелодию, чтобы показать, что его ничто не удивляет. Михаил Кириллович, зная о чувствах Сергея, желал ему удачи и счастья, но самого его охватила какая-то непонятная грусть. У него вдруг мелькнула нехорошая мысль: *«Три года водила за нос простого механика, а стоило механику стать главным инженером… Знаем мы вас!»* Он даже хотел съязвить на этот счет, но сдержался: слишком серьёзно относились к этому все остальные члены семьи. Когда Сергей и Наталья Петровна вышли, мать сказала:

— Дал бы бог, чтоб у них на лад пошло. Будет уже им мучить друг друга.

— И верно, будет, — так же серьёзно согласилась Аня. — Как бы я была рада за Серёжу!

— Ну и народ! Человек в хомут лезет, а вы радуетесь, — пошутил Бушила.

— Не смейся, Адамка, — попросила теща.

— Посовестился бы, — возмутилась жена. — Худо тебе, бедняжке, женатому. Замучился! Только и заботы — зубы скалить.

Михаил Кириллович пожелал им доброй ночи. А ночь была чудесная! На ясном, без единого облачка, глубоком небе, с россыпью звезд и туманной полосой Млечного Пути, сияла полная луна. Свет её серебрил первый иней на земле, на деревьях, на крышах. И стояла необычайная тишина! Издалека, должно быть от клуба, доносились голоса, где-то в поле тарахтел воз, глухо стучала турбина, и шумела вода на гидростанции. И, несмотря на все это, была тишина, такая особенная и неповторимая, что Лемяшевичу казалось никогда он не испытывал ничего подобного. Нарушали её разве только удары его сердца. Несколько минут он постоял во дворе. Тишина и неясная тревога потянули его в поле, может быть так же, как Наталью Петровну, А может, потому и захотелось пойти ему, что где-то там, в молчаливом бескрайнем просторе, залитом лунным светом, ходила она. Он не знал, куда пошли Сергей и Наталья Петровна, но понимал, что встретиться ему с ними было бы неловко. И, перескочив через забор, он пошел огородами, по зяблевой пашне, светлой дорожкой, вытканной месяцем на белой земле.

И всё-таки он встретился с ними...

Проблуждав часа полтора, Михаил Кириллович вышел на дорогу неподалеку от МТС и вдруг услышал их голоса. Он укрылся в тени старой березы, росшей поодаль от шоссе, так как новая дорога проходила несколько в стороне от старой. Они приближались к нему, весело, оживленно разговаривая. И вдруг, остановившись, они поцеловались. Лемяшевич в душе

язвительно посмеялся над собой. Бессмысленной и наивной показалась эта нелепая прогулка и разные там мысли и мечты, власти которых он так легко поддался.

«В конце концов, брат, везде проза. Вот и еще одна прозаическая семья. Три года! Глупости!» Он выругал Сергея за то, что тот строил из себя несчастного влюбленного, упорно избегал говорить на эту тему.

Однако на деле не все было в тот вечер так просто и ясно между Сергеем и Натальей Петровной, как это показалось Лемяшевичу.

Когда-то, в первые месяцы своей влюбленности, Сергей с молодой решительностью поцеловал Наталью Петровну. Но после того, как она отказалась стать его женой, он потерял эту решительность. Два года он не только что поцеловать или пошутить — боялся предложить пойти погулять вот так, как сегодня сделала она.

Нельзя сказать, чтобы это приглашение так уж подбодрило его, вернуло смелость и уверенность в себе. Нет. Но все же приятные события этого дня немножко опьянили его, заставили поверить, что радость, как и горе, никогда не приходит одна. Они ходили по гулким полевым дорогам и говорили обо всем, что волнует людей, живущих в одной деревне, делающих по сути одно дело, людей, которые одинаково болеют за все происходящее вокруг. Напрасно наши критики так восстают против *«производственных разговоров»* между влюбленными. Даже самые юные и пламенные из них не могут во время частых и долгих своих свиданий говорить только о любви, это скоро бы так надоело им, что, пожалуй, и от любви ничего бы не осталось. А Наталья Петровна и Сергей — не юнцы, их действительно вполне серьёзно интересовали *«производственные»* новости: назначение Сергея (кстати, она только сейчас узнала об этом и поздравила его), решение Волотовича, возможные перемены в районе, приезд новых людей в МТС.

Беседуя, они невольно и незаметно переходили с одной

темы на другую, от обсуждения простого, ясного житейского случая к абстрактным рассуждениям.

Сергей потом никак не мог вспомнить, о чем они спорили. Помнил только, что он что-то нигилистически отрицал, и не столько от твердого убеждения, сколько просто из мужского упрямства. Наталья Петровна укоризненно спросила:

— Что же вы по-настоящему любите, Сергей Степанович?

Он задохнулся от внезапного прилива горячего чувства, от прилива смелости и решительности, которых ему до этого не хватало. Остановился и сказал:

— Тебя, Наташа. Одну тебя. — И вдруг крепко обнял её и поцеловал раз… другой… третий… Он целовал её в губы, в щеки, в глаза и все шептал, же повторял: — Тебя, Наташа… Тебя…

Она беззлобно отталкивала его, отворачивалась и… смеялась.

— Сумасшедший… сумасшедший… Ты с ума сошел, Сергей. Оставь, пожалуйста. Ну, хватит!..

Неизвестно, чем бы все это кончилось, что они сказали бы еще друг другу, если б не почувствовали присутствия постороннего свидетеля. Человек под березой кашлянул и пошел в другую сторону, стуча сапогами по мерзлой земле. Они не то что испугались, зная, что никто в деревне их не осудит—все давно желали им пожениться, — но этот таинственный свидетель почему-то смутил их обоих. До самой деревни они шли молча, как бы опасаясь, что он идет за ними следом.

19

Мохнач угрюмо молчал, когда собрание единодушно избрало Волотовича, не сказал ни слова, даже не выступил. А после собрания — запил, на другой день

ходил пьяный, кричал, что неправильно его сняли, что он поставил колхоз на ноги, а его вот как отблагодарили, грозился написать в ЦК, не являлся сдавать дела и не отдавал печати. А колхоз жил своей жизнью, печать нужна была каждую минуту. Полоз злился: *«Так я и знал, — говорил он, — что Потап что-нибудь отмочит»*. Волотович смеялся, мало беспокоясь о судьбе колхозной печати, уверенный, что злоупотреблять ею бывший председатель не станет. С Мохначом говорили по очереди Полоз, Ровнополец, Ращеня, Лемяшевич, участковый милиционер; просили, угрожали. Но чем больше его просили, тем больше он упирался; старому и пьяному человеку, видно, нравилось разыгрывать из себя героя. О его *«подвиге»* ходили анекдоты. Рассказывая, как он играет в прятки, криничане тут же вспоминали некоего Филиппа, бывшего до войны заведующим сельпо. Когда его сняли, он вот так же не отдавал ключей от лавки, дней пять прятался, покуда односельчане не изловили его на лугу и силой не отобрали ключи; тогда он пришел сдавать товар.

История с Мохначом дошла до Бородки. В райкоме он весело посмеялся, а в Криницы приехал недовольный, хмурый.

— Что это вы за спектакль разыгрываете с этим Мохначом? Весь район смеется, — сказал он в колхозной канцелярии.

— Пускай потешится человек, — весело отвечал Волотович.

— Что за шутки? Позовите его сюда, этого старого дурня. Ко всеобщему удивлению, Мохнач не замедлил явиться.

Он стоял перед секретарем с виноватым видом, пристыженный, жалкий.

— Отдай печать, — властно потребовал Артем Захарович.

Мохнач полез за пазуху, в какой-то потайной карман, вытащил замусоленный кожаный мешочек и молча протянул его секретарю.

— Вот так... Сдавай дела и являйся в райком, получишь всё, что заслужил, в том числе и новую работу.

Волотовичу не пришлось специально знакомиться с колхозом — он хорошо знал его хозяйство, слабые и сильные его стороны. Он сразу же с головой погрузился в работу. Не из желания все переделать по-своему (ему это желание было чуждо, он уважал труд своих предшественников), а потому, что контора действительно была очень уж ободранная и грязная, он решил в первую очередь привести в порядок свое рабочее место. Он велел побелить стены, отремонтировать и вымыть пол, сделать новые двери в свой *«кабинет»* — отгороженный Мохначом угол. Но Полоз, к которому он в тот день пошел обедать, посоветовал:

— Павел Иванович, ликвидируй ты к черту председательский кабинет. На что тебе эта каморка? С кем ты там будешь секретничать? Убери! Выйдет хорошая комната. Поставим тебе стол посредине, и каждый, кто зайдет в канцелярию, будет у тебя перед глазами. Да, наконец, и сидеть тебе там мало придется. Хватит и меня одного, а твое место — в поле, в бригадах. И народ это оценит.

Волотович с интересом слушал своего бухгалтера. Сколько лет он уже его знает — и никогда не думал, что это такой интересный человек. Ему нравилось и то, что Полоз сразу заговорил на *«ты»*, просто, без угодливости, и то, что он дает такие смелые советы, не боясь, что председателю это может не понравиться.

Волотович подумал и сделал так, как подсказал ему Полоз, — разобрал *«кабинет»*. В конторе стало просторно, светло, чисто. И, должно быть, самый вид помещения действовал: людей приходило много, чувствовали они себя хозяевами, но никто, не ругался, не бросал окурков на пол, не плевал.

Полоз искренне помогал новому председателю поскорей разобраться во всех тонкостях руководства сложным хозяйством, но иной раз не без лукавства и шутки. Заинтересовался Волотович планированием будущих посевов и выходом продукции. Бухгалтер подсунул ему все циркуляры, планы, указания, полученные сверху — из министерства, из области, из райисполкома; многие бумажки подписаны были самим Волотовичем. К планам этим Полоз присовокупил свои весьма красноречивые цифровые комментарии. Председатель сидел целый день, изучал бумажки, которые сам когда-то направил в колхоз, приходил в недоумение, возмущался — так много там было противоречий и просто нелепостей. Теперь он наглядно убедился: не зря говорят, что такое планирование не помогает колхозам расти, а мешает. Под вечер он собрал все эти бумаги и сердито велел Полозу выкинуть их вон.

— В печку их! Будем сами планировать. Пускай нас судят потом.

— Правильно, Павел Иванович, — горячо, но с искорками смеха в глазах поддержал его Полоз. — Я давно уже так думаю.

— Думаю, думаю... Мало думать... Почему ж ты молчал? А я, старый дурак, подписывал... и никто меня не ткнул носом...

— А помните, я попробовал на совещании заикнуться, Бородка меня оппортунистом назвал и врагом социалистического планирования.

— Ох, Бородка, Бородка! — вздохнул Волотович, однако больше ничего не прибавил.

Дружба председателя и бухгалтера крепла, Павел Иванович умел дружить с людьми.

Как-то вечером он зашел к Лемяшевичу, на его школьную квартиру.

— Ничего не имеешь против, если мы посидим у тебя вечерок по-домашнему? — просто, дружески и сразу на *«ты»* спросил председатель.

— Милости просим, — обрадовался Михаил Кириллович. — Такой гость!

— Я не один, я пригласил к тебе еще кое-кого. Не возражаешь? — И пояснил — Хочется поближе познакомиться с людьми. А то мы все официально: заседания, собрания... А к здешним домой загляни — непременно водка. Ох, уж этот мне обычай! Горе наше! Почему обязательно надо пить? Не понимаю. Бороться с этим нужно.

Павел Иванович, рассуждая вслух, внимательно разглядывал холостяцкую квартиру директора.

— Почему не устроишься как следует? Неуютно у тебя. Жениться тебе надо, Михаил Кириллович.

Лемяшевич засмеялся;

— Невесты нет.

— Переборчивы вы, молодые. Какого лешего вам надо? Красавиц все ищете и забываете, что не все то золото, что блестит, У человека прежде всего душа должна быть красивая. — Он взял электрический чайник, стоявший на подоконнике. — В порядке? Тогда приготовим чай, — и сам налил в чайник воды.

Вскоре пришли Андрей Полоз и Ровнополец. Председатель сельсовета держался поначалу несколько официально. Он молчал и, видимо, чувствовал себя неловко в гостях у директора и в присутствии недавнего председателя райисполкома. Но Волотович скоро втянул его в беседу, на первый взгляд обыкновенную, бытовую, полушутливую беседу, в которой о делах упоминалось как будто между прочим. Но когда Лемяшевич глубже вник в суть разговора, то не мог не заметить, что Волотович умело и хитро все это ради дела и затеял — и самую эту встречу, и расспросы о

семьях, и шутки про Мохнача с его печатью, и разговор с Полозом о делах колхоза.

У Лемяшевича нашлось всего два стакана, и поэтому чай пили по очереди. Заварили чай крепкий, прямо черный, сахару не клали — не было ложечки, пили вприкуску. Но Полоз серьёзно уверял, что он никогда не пил чая вкуснее, и шутя доказывал, что это куда лучше водки, И этот холостяцкий чай как-то необыкновенно сблизил их.

Сидели вокруг стола, заваленного газетами и книгами, отодвинув его от стены. Ярко горело электричество. После чая стало жарко. Волотович снял пиджак, повесил его на спинку стула. Молодцевато прошелся по комнате, поглядел в окно.

— А хорошо тут у вас, хлопцы! Но работы! — Он шутливым жестом схватился за голову. — Хожу вот уже неделю и с каждым днем все больше убеждаюсь: плохо мы руководили колхозами. И самое страшное — старались скрыть недостатки. Мы так привыкли держать их под спудом, что и сами перестали их замечать. Все *«ура»* кричали и себя хвалили: *«Ах, какие мы хорошие, умные, как у нас все ладится!»*

Полоз засмеялся.

— Я вижу, Павел Иванович, полезно руководителям побыть на низовой работе.

— В том-то и несчастье наше было, что руководить колхозом считали низовой работой, а должность какого-нибудь замухрышки инструктора — руководящей... И развелось этих инструкторов, которые всех учат и всем дают указания, до черта!.. А кому они нужны? Из-за них настоящий руководитель, который мог бы и подсказать и решить, не добирается до колхоза, зачем ему ездить, смотреть, изучать — всё ему подают в готовом виде для любого доклада, любого отчета...

— Думаю, теперь пойдёт иначе, — сказал Лемяшевич.

— Само по себе ничего не пойдет, Михаил Кириллович. Все зависит от нас. Мы осуществляем решения, — сказал Полоз.

Волотович поддержал его.

— Не надо думать, что все так просто. У-у, брат, инерция — страшная сила. Многие разучились мыслить творчески… Вот у нас в районе… Ударили по розовым очкам — другая крайность… Доклады теперь — одни недостатки, одна черная краска… Страшно становится, Где же наши достижения, на кого равняться? И за этим критиканством вновь не видим подлинных недостатков, их причин, истоков…

— И начинаем всё дёгтем мазать… Как Бородка на последнем пленуме. Всех разнёс, один он святым остался, — сказал Полоз, передавая пустой стакан Ровнопольцу.

Слова его заставили Волотовича насторожиться. Павлу Ивановичу было бы очень неприятно, если бы кто-нибудь из этих людей, с которыми ему предстояло работать, зная его отношения с Бородкой, стал сейчас, с целью подольститься, валить на Бородку все грехи, делать его одного виновником всех недочетов и ошибок. Поэтому он поспешил сказать:

— Доклад был резковат. Это так. Но, я думаю, правильный. Кто заслужил — пусть получает сполна. Недостаточно самокритичен — это верно. Есть такая слабость у нашего секретаря. Но Бородка — человек энергичный, деловой. За это ему можно простить некоторые человеческие слабости.

Говоря это, он не сводил глаз с Лемяшевича, напряжённо ожидая, что скажет директор. Лемяшевич промолчал, и Павел Иванович это оценил. Но Полоз заспорил:

— Деловой и решать должен все по-деловому. Должен воспитывать людей… А ругать — каждый дурак может…

— А с нашим братом иной раз и нельзя иначе. Нас не толкни — мы не пошевелимся, — заметил Ровнополец, по-хозяйски разливая чай.

Один стакан он подвинул Волотовичу. Тот сел на свое место и обхватил стакан ладонями, как бы грея руки.

— Кто это *«мы»*? Ваше высочество? Так и говори. А мне нужен руководитель, советчик, старший товарищ, а не толкач, — не унимался Полоз; обычно веселый, любитель пошутить, он делался все серьёзней и резче.

Волотович, зная его характер и желая прекратить разговор о Бородке — зачем заглазно перемывать косточки, тратить критический заряд, не лучше ли сохранить его для более подходящего момента? — старался направить разговор на другое:

— Но и каждый из нас должен относиться к себе критически. Я вот осматриваю колхоз — и вы полагаете, не стыдно мне? Сегодня в клубе стоял и думал: *«Сукин ты сын, председатель райисполкома! Бить тебя было некому!»* А ведь ко мне Михаил Кириллович два месяца назад приходил, и я ему обещал… Да, видишь ли, руки не дошли. Поговорил с Мохначом и забыл. Забыл про клуб, забыл, что такое Мохнач. — Он попробовал чай, бросил в стакан кусок сахару и отодвинул его. Морщинки на лбу его разгладились. — Вот и приходится теперь оправдываться перед народом… Как ты думаешь, Антон Петрович? Ты, брат, советская власть. Твоей вины здесь столько же, сколько и моей. Давайте, товарищи, возьмемся и общими силами отремонтируем клуб. Помоги организовать воскресник, поднять людей, а все остальное — деньги, материалы — я на себя беру.

Лемяшевич обрадовался этому предложению. Еще после первой стычки с Мохначом он поставил себе задачу — привести клуб в приличный вид! Но Мохнач, должно быть нарочно, из принципа, так сопротивлялся этому, что все старания Лемяшевича разбивались о глухую стену равнодушия и косности. И вот сейчас всё меняется!

— А вообще нам надо объединить свои силы, — развивал уже новую мысль Волотович, прихлебывая чай. — Я и раньше не понимал, был против дробления партийных организаций. Неразумно это. Было пять колхозов в сельсовете — и одна территориальная парторганизация. Стал один — разделили. В территориальной — председатель сельсовета и сельпо, учителя, актив, интеллигенция. А в колхозной — четыре человека: председатель, бухгалтер, бригадир и доярка. Чем должна заниматься первая организация? Что может сделать своими силами вторая? Собрание провести и то трудно. Кому нужно это распыление? Почему не могут быть все коммунисты в одной, колхозной парторганизации? И сельпо, и школа, и больница — все это в колхозе, для колхоза, все это наши надстройки, так сказать. И двенадцать коммунистов в одной дружной организации — это уже сила!

— Правильно, Павел Иванович! Золотые слова! — пылко поддержал Полоз, который по рассеянности тоже бросил сахар в стакан и теперь размешивал его неочиненным карандашом.

Долго еще просидели они в тот вечер. Говорили и о своих, колхозных делах, и об общерайонных, и общегосударственных, обсудили и международное положение. Разошлись, когда прекратила работу электростанция и погас свет.

20

Лемяшевича радовали хорошие, деловые и вместе с тем дружеские отношения его с местными руководителями, работниками МТС и колхозниками. Особенно окрепли эти отношения после того, как во главе колхоза стал Волотович. Теперь Лемяшевич заходил в канцелярию каждый день, присутствовал на всех заседаниях и знал обо всем, что делается в колхозе. И с людьми познакомился ближе, узнал все тайны сложных деревенских взаимоотношений. Так, например, выяснилось, что Снегириха с незапамятных времен не любит Костянков, хотя при встрече приветлива с

каждым из них. А почему не любит — никто объяснить не мог. Но, открыв это, Лемяшевич подумал, что такая враждебность не может не влиять на отношение Раисы к Алексею.

Он внимательно и чутко следил за переживаниями Алёши, понимал его, и ему все больше не нравилось поведение Раисы.

Вообще в школьных делах у него было значительно больше нерешенного и неясного, чем в общественной работе. Особенно беспокоил его педагогический коллектив. Внешне как будто все хорошо: люди работают добросовестно, не подсиживают друг друга, не занимаются мелкими склоками. Одним словом, как сказали бы инспектора, учебно-воспитательный процесс организован правильно. Но Михаил Кириллович интуитивно чувствовал, что единого коллектива, в высоком смысле этого слова, нет, что все его попытки объединить, сплотить преподавателей разбиваются о какие-то тайные препятствия. Более того: казалось, какой-то червь изнутри разъедает, подтачивает то, что ему удавалось создать. Он не был убежден, что это — к т о-т о, скорее — ч т о-т о. Но что?

Лемяшевич, правда, знал, что его недолюбливает Орешкин, но не мог заподозрить завуча в происках или интригах. Во-первых, он не верил, что Орешкин, который очень редко заходил к кому-нибудь из коллег домой и почти ни с кем не поддерживал близкой дружбы, может проводить такую подспудную работу. Во-вторых, — зачем это ему? Он отлично понимает, что его никогда не назначат директором, а завучем ему живется вполне спокойно и даже с материальной стороны выгоднее. К тому же Орешкин — трус. После истории с кружками он стал и в школе работать более старательно и даже к общественным обязанностям относиться активнее. Вообще Лемяшевич не может сказать, что у него плохой завуч. С недостатками? Но у кого их нет — недостатков, человеческих слабостей? Однако Лемяшевича тревожило, что Орешкин живет у Снегирихи: он боялся за судьбу Раисы. Вскоре после

разговора с Аксиньей Федосовной он решился поговорить об этом с самим завучем. Лемяшевич сказал ему примерно то же: что Раиса оторвалась от коллектива, и еще — о любви Алеши, что у юноши в таком возрасте могут возникнуть самые неожиданные фантазии и потому лучше было бы, чтобы он, Виктор Павлович, переехал на другую квартиру. Мало разве хороших домов в деревне?

Лемяшевич говорил спокойно и вполне тактично, как педагог с педагогом. Но Орешкин вдруг побледнел, нервно передернулся, ослабил галстук и, заикаясь от волнения, спросил:

— А вы… вы не понимаете, Михаил Кириллович, что оскорбили меня?.. Я десять лет работаю, я никто не бросил мне упрека… А вы… такое подозрение… Такое грязное подозрение! — Он закрыл лицо руками и театрально воскликнул: — Боже мой! За что?

Лемяшевич рассердился!

— Бросьте, Виктор Павлович, этот фарс. Никто вас ни в чем не подозревает, Чепуха. Но вы, как педагог, могли бы подумать о чувствах своего ученика.

— Ученика! Я должен зависеть от капризов, от выдумок любого ученика? — Он отнял руки от лица, в голосе зазвучало раздражение. — Дайте мне квартиру. — И я с радостью буду жить один. Не можете? А? Так разрешите мне самому выбирать, у кого мне поселиться, чтобы было тепло, чисто, уютно… Я десять лет живу по квартирам, и почти везде были мои ученики. Кому это мешает? А? Тысячи деревенских учителей живут у своих школьников…

— Мы не понимаем друг друга, — начал терять терпение Лемяшевич.

— Да, я действительно вас не понимаю. Не понимаю вашего повышенного интереса… к выдумкам детей. Учиться им надо, а не заниматься глупостями! Это до добра не доведет.

— Алексей — не ребенок, Раиса — тоже. Тут ваша ошибка, и в этом наше принципиальное расхождение. Знаете что, давайте поговорим на эту тему на педсовете… Поспорим, вспомним Макаренко, — мирно предложил Лемяшевич.

Орешкина после этих слов как будто подменили — ни обиды, ни возмущения. Заговорил вдруг как равный с равным, как завуч с директором, серьёзно, настойчиво:

— Не советую я вам, Михаил Кириллович, это делать. У нас? Что вы! Не поймут, разнесут по всей деревне. Назавтра все ребята будут знать… Переиначат все… И плохо придется тем ученикам, кого мы упомянем в этой связи. Засмеют… Поверьте моему опыту. А?

Лемяшевич согласился, что он, пожалуй, прав, и они, поговорив еще о других школьных делах, разошлись мирно, дружелюбно, и Лемяшевичу показалось, что после этого разговора они даже как-то ближе стали.

Не мог Лемяшевич найти этого *«что-то»*, что мешало сплочению коллектива. Все, казалось бы, шло как должно, никто не чувствовал себя в обиде. Ковальчуки просили добавочных часов — он дал им эти часы, хотя ему и непонятно и удивительно было, откуда такая жадность у этих двух молодых людей, воспитанников института: они стремились заработать как можно больше и каждую копейку держали на счету. Возможно, отдельные преподаватели были недовольны тем, что очень много приходилось работать? И работу эту требовал с них он, директор. Раньше ведь как было? Отчитал — и домой. А теперь — и пионерская, и комсомольская работа, и кружки, и работа с родителями, и — главное — нелегкие обязанности агитатора. Выполнения этих обязанностей Лемяшевич добивался с не меньшей настойчивостью, чем выполнения учебной программы. Этого требовала сама жизнь. Лемяшевич хорошо понимал, что в почетной борьбе народа за крутой подъем хозяйства сельская интеллигенция, в том числе и учителя, обязана быть на передовой линии. Он верил в могучую силу слова и, не в пример некоторым скептикам, еще с партизанских

времен с уважением относился к агитации. Большая часть учителей, он знал, работала хорошо. Однако ему припомнилось одно совещание, на котором он упрекал своих коллег за ослабление внимания к агитационным участкам. Тогда, к его удивлению, самая активная в школе, самая энергичная в работе с ребятами Ольга Калиновна чуть не со слезами в голосе сказала:

— Не могу я так работать, как вы требуете… Не могу… Не получается у меня — и все. Сижу, сижу, готовлюсь, а приду, начну говорить — скучно, неинтересно, сама чувствую… Народ зевает…

Данила Платонович посоветовал тогда Ольге Калиновне пойти послушать, как разговаривает с людьми Наталья Петровна.

— Я слушала Морозову. У неё — счастливая профессия. Для неё все здесь как свои, и обо всем она умеет рассказать просто… Вчера она проводила беседу о постановлении, а говорила о здоровье людей…

А Приходченко после этого совещания подошла к Лемяшевичу, когда он остался один, и сказала:

— Я буду работать, но дайте мне, пожалуйста, другой участок. На этой ферме — одни бабы. Не люблю баб. — Она произнесла эти слова с таким пренебрежением к той половине рода человеческого, к которой сама принадлежала, что это прямо ошеломило Михаила Кирилловича. Не зная, что ей ответить, он обещал поговорить с Полозом, чтоб её перевели агитатором в какую-нибудь строительную бригаду, где работают мужчины. Позднее он обдумал её слова, возмутился и был недоволен собой, что дал обещание. Эта женщина не раз, уже удивляла его необычайными противоречиями своего характера: то она высказывала дельные мысли, проявляла интересную инициативу, то вдруг говорила и делала страшные глупости. Правда, в этих последних её словах не было ничего неожиданного: она не любила женщин потому, что женщины не любили её, зуб за зуб, как говорят. Но Лемяшевич вспомнил, как ему жаловалась Ольга

Калиновна, что Приходченко занижает отметки ученицам; нельзя поверить и согласиться, чтоб по таким предметам, как русский язык и литература, средние ученики успевали лучше самых способных девочек. В тот раз Лемяшевич не придал этому особого значения, даже пошутил и успокоил молодую учительницу. А теперь, после совещания, сам проверил классные журналы и убедился, что это, пожалуй, так и есть. Но попробуй заикнись перед такой, как Приходченко, что она необъективно ставит отметки!

И, однако, все это, даже вместе взятое, не могло быть причиной неблагополучия в коллективе. Причина в чем-то другом. Но в чем? *«А возможно, что мне все это только кажется»*, — думал он.

Как-то под вечер Лемяшевич зашел к Даниле Платоновичу. В последнее время он не так часто наведывался к старику, как в первые месяцы. Набралось немало всякой работы, разных нагрузок, появились новые знакомые. Отчасти и сам Данила Платонович был виноват, что у Лемяшевича ослабел к нему интерес. Молодой директор надеялся, что этот старый, опытный педагог будет и впредь его ближайшим советчиком — будет разрешать все споры, помогать, наставлять, учить молодых преподавателей, в том числе и его, Лемяшевича.

Но старик, проявив энергию во время ремонта школы, с началом занятий как бы остыл. В учительской не было человека более тихого и молчаливого. Сядет где-нибудь в уголочке, слушает, улыбается своим мыслям и, пока к нему не обратятся, не спросят, никогда не вмешается в разговор. Лемяшевича такая линия поведения старика очень беспокоила и заставляла все более критически относиться к себе. Ему казалось, что Данила Платонович разочаровался в нём, в директоре. Тем более что Шаблюк вел себя так только с учителями. Другим он был среди колхозников и совсем менялся, когда приходил к ученикам, в особенности в свой, десятый класс. Там он становился разговорчивым, весёлым, жизнерадостным, там, казалось, были самые

лучшие и самые близкие его друзья. Чаще всего он и не заходил на переменках в учительскую, оставался в классе, отвечал на вопросы или что-нибудь рассказывал. Лемяшевичу пришлось даже сделать ему осторожное замечание: *«Вам же надо отдохнуть, Данила Платонович, да и ребятам тоже»*.

О чем он говорил с учениками? Лемяшевича это интересовало, и он раза два-три случайно стал свидетелем этих бесед. Однажды, на переменке, окруженный десятиклассниками, преимущественно мальчиками, Данила Платонович рассказывал о Франции. Рассказывал занимательно, с такими подробностями, каких не знал и Лемяшевич.

— Вы, Данила Платонович, как будто сами там сидели, в парламенте, — пошутил Левон, и все засмеялись; старик тоже засмеялся.

Ещё интересней был другой разговор, который Лемяшевичу удалось услышать. Данила Платонович с увлечением руководил драматическим кружком — ставил *«Грозу»* и *«Павлинку»*.[2] Кружковцы вечерами собирались в школе на репетицию и часто засиживались довольно поздно. Возвращаясь однажды с заседания правления и увидев в одном из классов свет, Лемяшевич незаметно вошел и остановился у приоткрытых дверей. Он думал, что еще продолжается репетиция, когда обычно бывает довольно шумно. Нет, сейчас было тихо, и в настороженной тишине звучал негромкий, чуть хрипловатый голос Данилы Платоновича:

— ...и вот этот поэт с огромным вдохновением и талантом воспевал в своих стихах любимую. Прекрасней её нет во всем мире! Очи её как глубокие прозрачные озера, как звезды... Как первые лучи солнца её взгляд... Уста её... С чем только не сравнивал он её уста! Как напев чудесной флейты её голос... И все это выражено было с такой силой, что нельзя было не верить, и все верили: любимая поэта — самая красивая женщина на земле. Прочитал эти стихи шах, властитель страны, и призвал к себе поэта. *«Слушай, поэт, —*

сказал шах, — у меня сто тридцать жен, их красота затмевает солнце, ибо мои сатрапы по всей стране искали для меня самых красивых девушек. Однако о прекраснейшей из моих жен я не могу сказать и десятой доли того, что ты написал о своей любимой. Какая же это должна быть красавица! Покажи мне её!» И поэт вынужден был привести к шаху свою возлюбленную. Властитель увидел обыкновенную девушку и, конечно, разгневался. *«Ты лжешь, поэт! — крикнул он. — Где та красота, о которой ты поешь! Твоя любимая — обыкновенная, простая девушка. Ты лжец!»* Но поэт ответил: *«Властелин, чтобы увидеть все очарование моей любимой, нужно посмотреть на нее моими глазами...»*

Лемяшевич где-то раньше читал эту восточную легенду, правда в несколько другом варианте, и не обратил тогда на нее внимания, но сейчас слушал Данилу Платоновича с интересом.

— Вот что такое красота! Если любишь, не только любимая кажется самой прекрасной, весь мир становится прекраснее, — весело заключил Данила Платонович.

Ребята все как-то задумчиво и радостно вздохнули, потом засмеялись, заговорили, стали шутить.

— Такой нос, как у Кати, — кому он покажется красивым!

— Или твой язык?

— У языка — другая функция!

— Павлик Воронец тоже пишет стихи своей девушке. Павлик, прочитай.

Ученики разбрелись по классу, и Лемяшевич, чтоб его не увидели и, чего доброго, не заподозрили в подслушивании, поспешил уйти.

Он думал потом об этой беседе. В чем секрет того, что с человеком, который в четыре с лишним раза старше

каждого из них, ребята охотно беседуют на любые темы, даже такую, как любовь? А вот ему, молодому педагогу, они ни разу не задали подобного вопроса, хотя он, кажется, делает всё, чтобы завоевать их доверие. Правда, он может гордиться, что ученики его уважают, может быть даже любят, но все же не оказывают такого доверия, как Даниле Платоновичу. Иначе почему на комсомольских и других собраниях, когда он к ним приходит, эти толковые и остроумные юноши и девушки выступают так сухо, официально, неинтересно? И напрасны его попытки расшевелить их, заставить говорить о том, что их больше всего волнует. Он вспомнил диссертации своих коллег на темы о формах комсомольской работы в старших классах, и ему становилось обидно за них — как бескрыло и сухо они писали! Как мало в этой области педагогики живого опыта жизни и как много еще прописных истин, казенщины и ненужной парадности!

Жизнь, практика ставила перед бывшим, а возможно, и будущим диссертантом тысячи самых неожиданных вопросов, но не на все давала ответы…

У Шаблюка Лемяшевич застал Наталью Петровну, Она сидела все в том же кожаном кресле и, держа в руке блюдце, с детским любопытством следила, как с чайной ложечки стекает янтарный мед. Она не так любила его есть, как вдыхать медовый аромат и любоваться его удивительным цветом. Увидев в дверях Лемяшевича, она поспешно поставила блюдечко на стол, отодвинула подальше, выпрямилась и нахмурилась. Лемяшевич подошел к ней первой, протянул руку. Она нехотя, равнодушно подала свою, не пожала его руки, не проронила слова привета. Это её нарочитое невнимание уже не на шутку обидело Лемяшевича. Он молча отвернулся и, хотя они виделись в школе, поздоровался с Данилой Платоновичем, который сидел на табуретке у печки и подбрасывал в нее дрова. В печке весело разгорались смолистые поленья, стреляли искрами. В отсветах бледного пламени лицо старого учителя казалось восковым, на нем глубже проступали морщины.

Лемяшевич придвинул вторую табуретку и сел рядом.

— Пожалуй, пойдет снег. На западе снеговые тучи, — сказал он первое, что пришло в голову; разговор часто начинают с погоды.

— Пойдёт, — сказал Данила Платонович. — Мои барометры предсказывают, — он кивнул на барометр, висевший на стене, под большим портретом военного — его сына, и на свои ноги.

Наталья Петровна поднялась и стала завязывать теплый платок.

— Я пойду.

Данила Платонович с удивлением посмотрел на нее.

— Почему?

— Я забыла... Мне надо зайти к одной больной.

— К кому?

Она на миг смутилась, видно вспоминая своих больных.

— К дочке Ивана Хмыза, у нее воспаление легких. Данила Платонович, тяжело поднявшись и встав против неё, как бы загораживая дорогу, укоризненно и ласково, как говорят детям, сказал:

— Неправда это, Наташа.

У Лемяшевича больно сжалось сердце: так бывает, когда без причины обидит человек, которого ты уважаешь. Он не мог больше сдержаться, вскочил.

— Я знаю — Наталья Петровна хочет уйти из-за меня! В таком случае уйду я. У нее больше прав...

Данила Платонович остановил их движением рук.

— Зачем вы обижаете меня, старика?

— Вас? — удивились они оба.

— Садитесь, — приказал он.

Они стояли. Тогда он повторил еще более властно:

— Садитесь!

И они послушно сели, как школьники, каждый на свое место.

— Вы меня простите, — после долгой паузы заговорил Данила Платонович. — Я старый человек, я имею право спросить… Скажите мне: что вы не поделили? Почему невзлюбили друг друга, даже не познакомившись как следует? Если б я не знал Наталью Петровну так давно, не знал всей её жизни, то мог бы подумать, что вы старые знакомые и… старые враги. При всем своем жизненном опыте, не могу понять… Хорошие люди… делают одно дело — и вдруг такая неприязнь. Почему? Я хочу, чтоб мои друзья дружили между собой… Есть такой хороший закон!

Лемяшевич взглянул на старика, на Наталью Петровну, приветливо улыбнулся.

— Я сам не понимаю, Данила Платонович… Не понимаю, почему Наталья Петровна меня невзлюбила. Я с радостью протягиваю ей руку самой искренней дружбы, — и он сделал движение, как бы в самом деле собираясь протянуть руку. Но Наталья Петровна не шевельнулась, она сидела, не глядя на него.

— Наташа! — укоризненно окликнул её Данила Платонович.

— Мои симпатии и антипатии от меня не зависят. Вы знаете — я хорошо отношусь к людям… Но директор с первого дня неважно себя зарекомендовал… в моих глазах… Я не могу прощать человеку, разрушающему то, что я создаю… Я борюсь с пьянством, а вы…

— Что я?

— Вы сами знаете…

— По-вашему, я — второй Волкович? Пьяница? Да? Сколько раз вы видели меня пьяным? Один раз в сельпо… Да, выпил, напился, черт возьми, по глупости! Так я сам себя за это казню!

Данила Платонович стоял между ними и поднял руки, как бы желая заключить их обоих в одни объятия.

— Друзья мои, обидно мне за вас. Что это вы как дети… Удивляюсь, как вы не поймете друг друга. Наталья Петровна, ты отлично знаешь, что это неправда. Это — наивная ложь… Зачем ты выдумываешь, с какой целью?

Наталья Петровна вдруг взглянула на старого учителя и грустно улыбнулась.

— Вы нас мирите, как маленьких детей. А мы не ссорились. Пожалуйста, — и она протянула Лемяшевичу руку.

Должно быть, ей хотелось поскорее покончить с этим неприятным разговором. Пожимая руку, она посмотрела ему прямо в глаза, и вдруг лицо её залилось таким румянцем, что Лемяшевич в свою очередь смутился. Почему? Что с нею? Она отошла к книжному шкафу и стала выбирать книжку.

Больше об этом они не сказали ни слова. Лемяшевич и Данила Платонович заговорили о школьных делах. Наталья Петровна, снова усевшись в кресло, рассматривала том энциклопедии. Лемяшевичу очень хотелось узнать, что её там интересует, но он не решился спросить и продолжал сидеть против открытой печки, где гудело уже довольно яркое пламя.

На кухне хлопнула дверь, вскоре бабка Наста принесла газеты и журналы.

— Во… опять целый пуд, — с укором сказала она, кладя почту на стол. Потом приветливо улыбнулась Наталье Петровне, должно быть за то, что та съела мед, и вдруг предложила Лемяшевичу — Дилектор, медку хочешь?

Она спросила это впервые за все четыре месяца, что он

приходит к ним в дом, и Михаил Кириллович обрадовался: бабка наконец как бы признала его своим, близким человеком, таким, как Наталья Петровна, и этим как бы еще больше сблизила их. Должно быть, Наталья Петровна тоже почувствовала что-то в этом роде, потому что с любопытством ждала, что он ответит. И хотя Лемяшевич был не таким уж охотником до меду, он весело крикнул:

— Хочу, бабуся! Очень хочу!

— Труд, дорогой Михаил Кириллович, никогда не разъединяет людей, как бы он ни был тяжёл, — говорил между тем Данила Платонович в ответ на высказанные Лемяшевичем мысли об их учительском коллективе. — Я не сказал бы, что у нас распределение нагрузок неравномерное. Люди не жалуются. Но вы правы… в коллективе чувствуется некоторая… некоторая настороженность, я сказал бы. Коллеги наши как бы остерегаются друг друга…

— Вот именно… И меня это тревожит, Данила Платонович. Мне непонятно — почему это? Кто здесь виноват?

— Я сам не понимаю, — :пожал плечами Шаблюк. — Сам присматриваюсь, ищу… Где-нибудь должна быть причина. И нам необходимо её найти, потому что, скажу я вам, болезнь эта заразительная…

Наталья Петровна оторвалась от газеты; которую просматривала.

— Вы простите, что я вмешиваюсь. Но мне кажется — выдумали вы эти страхи, во всяком случае преувеличиваете их. А если и есть у вас там что-нибудь, так нужно ли ломать голову над причиной? Слишком уж она ясна, эта причина, — Приходченко.

— При чем здесь Приходченко? — удивился Лемяшевич.

— При чем? Наивны вы или она вас заворожила?

Данила Платонович запротестовал:

— Нет, нет, Наташа! Это не то. И ты, пожалуйста, не взваливай все на человека только потому, что его не любишь. Так никогда не выйдет из тебя объективного судьи!

— Я не собираюсь её судить. Но я попробовала поставить себя на место ваших педагогов. И я, верно, тоже чувствовала бы себя неловко… настороженно, как вы говорите, если б знала, что один из членов коллектива, как говорится, глаза и уши начальства…

— Ну, это глупости, Наташа! — отмахнулся Данила Платонович. — Что же мы но-твоему, секретаря райкома боимся?

— Нет, секретаря мы не боимся, когда о нашей работе докладывают райкому как положено, по-партийному, по-государственному… Но когда о наших словах и поступках, о наших слабостях доносят, простите меня, в постели… Здесь — не боязнь, здесь… ну, просто… просто неприятно, противно… Она опять покраснела и, развернув газету, скрылась за ней.

— Нет, всё-таки это ерунда. Не здесь причина, — не соглашался Данила Платонович, доставая кочергу, чтобы разбить головешки.

А Лемяшевич подумал: *«Она, пожалуй, права, это возможно»*. Хотя что-то протестовало в нем против этой мысли; не хотелось так дурно думать ни о Бородке, ни о Марине Остаповне.

Данила Платонович разбил головёшки, потом, подумав, ещё подкинул дров, и Лемяшевич следил, как быстро они загораются, как выступают на поленьях слезинки смолы, капают в угли.

— Товарищи! — тихо и как будто испуганно окликнула их Наталья Петровна.

Лемящевич обернулся и увидел её лицо — совершенно растерянное. Что-то сильно и неожиданно взволновало

женщину.

— Вы меня простите… Какое нелепое совпадение! Посмотрите, что здесь…

Она протянула областную газету. Лемяшевич нетерпеливо схватил её и сразу нашел то, что взволновало Наталью Петровну, — фельетон на второй странице. Он пробежал его глазами за несколько минут, пока Шаблюк по-старчески неторопливо искал на столе очки. Фельетон назывался *«От школы до лавки»*. Начинался он с едкого сатирического описания: три человека — директор Криницкой школы Лемяшевич, председатель сельсовета Ровнополец и парторг Полоз заперлись в лавке и напились. Пьяный диалог — они хвалят друг друга. Разъяснение — на какие средства пили. Пили, оказывается, на деньги, вырученные за доски, которые Лемяшевич продал колхознице Леванчук. Наконец, заключительная, *«серьёзная»*, часть фельетона с выводами, она начиналась словами: *«Не везёт школе на директоров»*. Два уже уволены за пьянство, теперь третий на очереди, а на него ведь возлагались надежды: молодой педагог, аспирант… Намёк на то, что и диссертации не потому ли не защитил, что заглядывал в бутылку. В конце фельетона голословно, без фактов и доказательств, утверждалось, что директор совершенно не занимается налаживанием педагогического процесса и школа как была в числе отстающих, так и осталась. Подписи: *«А. Свистун, В. Капелька»*.

Да, факт был, была злосчастная выпивка за закрытыми дверями лавки. Но что: сделали из этого факта?!

Лемяшевич, забыв о платке, вытер лоб рукавом. Газету у него взял Данила Платонович. Он читал медленно, отдельные слова произносил вслух и все больше и больше мрачнел, все глубже становились складки у рта, и как будто ниже обвисали седые усы.

Кончил читать, посмотрел на Лемяшевича, но не через очки, а поверх, отчего взгляд его показался необычно суровым. Лемяшевич, не ожидая вопроса, махнул

рукой.

— Чушь, — сказал он, хотя не легко ему далось это внешнее спокойствие.

— Нет, это не чушь! Нет! Это… клевета!.. А клевета не чушь! Ах, сукин сын! — Данила Платонович смял газету и со злостью швырнул на пол. — Это страшно, когда в коллективе заводится человек, способный на такую подлость. — Старик наклонился, поднял газету, прочитал подписи: —*«Свистун, Капелька»*. Свистун… Спрятался, трус…

— Ну, я, возможно, насолил кое-кому, — сказал Лемяшевич. — А при чем тут Ровнополец? Полоз? А Даша? Это уже просто гадко! У бедной вдовы, работницы школы, провалился пол, и я отдал ей обрезки досок… Использовать это мог только законченный негодяй…

— Все подло от начала до конца! Все! А вы — *«чушь»*. Это, знаете, непротивление… Нельзя так! Против подлости надо бороться, а не рукой махать… Бороться!

Наталья Петровна сидела, расслабленно опустив руки, и на лице её выражалась мука.

— Боже мой! Что вы подумаете обо мне? Я только что наговорила вам глупостей из-за этой пьянки. И вдруг… такое совпадение!..

Данила Платонович понял, что она переживает, и стал успокаивать её:

— Это ты напрасно, Наташа. Ничего Михаил Кириллович не подумает…

— Вы обижаете меня, Наталья Петровна, — горячо сказал Лемяшевич. — Неужели мне может в голову прийти?.. О вас?.. Если б вы знали, как я… — Но он не окончил, спохватился и, чтоб скрыть свое смущение, стал мешать угли в печке…

От Шаблюка они вышли вместе. Вместе шли до дома

Натальи Петровны. Она молчала. А Лемяшевич, должно быть, говорил слишком много — от волнения, от подсознательного желания показать, что фельетон его мало трогает. И себя он поначалу сумел убедить, что волноваться не из-за чего. Нет худа без добра. Случай эгот помог ему сблизиться, подружиться с Натальей Петровной, к чему он так стремился, и это радовало его сейчас, заслоняло нелепую историю с фельетоном, На прощанье Наталья Петровна крепко пожала ему руку и тихо сказала:

— Простите меня, Михаил Кириллович. Я совсем не из-за этого вас избегала.

— А из-за чего?

Она не ответила. Пожелала доброй ночи, по-девичьи быстро, словно боясь, что он её остановит, скользнула во двор, стукнула калиткой, закрыла её на задвижку.

Только дома, в своей пустой холостяцкой квартире, Лемя-шевич почувствовал, как больно задели его эти незаслуженные обвинения. Теперь, когда все налаживалось, все шло как будто бы хорошо, когда он изведал настоящую радость труда, дружбы… Прочитают ученики, родители, педагоги. Что другое не прочитают, а это прочитают все, даже те, кто никогда газеты в руки не берет. И — разные есть люди — одни поймут правильно, а другие… поверят печатному слову. Как-никак — областная газета. Особенно — дети. Что подумают дети?

«Однако кто это мог сделать? — ломал он голову. — Бородка? Неужели Бородка? Неужто он способен так низко, так подло отомстить за свое поражение в истории с переводом? — В это не хотелось верить. — Не может быть. Не мог он написать! Ни в коем случае! Это же легко обнаружить… Он человек умный. Но ведь такой материал не дают без проверки. Однако кто, как проверял? В Криницы корреспонденты не приезжали. Значит, редакция получила визу авторитетного лица. И, значит, опять-таки — Бородка… Неужто он? Больше никто

подтвердить не мог».

От этих мыслей у него разболелась голова.

Пришел Сергей Костянок.

— Я уже два раза заходил, — сказал он. — Где ты был? Читал? Что скажешь?

— Что сказать. Неприятная штука, особенно для нашего брата учителя.

— Ровнопольцу неприятно не меньше, чем тебе.

— Конечно. Но взрослым легче объяснить. А вот когда имеешь, дело с детьми… Тут, брат, посложнее. Тем более что я не святой, как каждый из нас. Да, случилось, выпил… И вот, представь, часть детей поверит, что я продавал школьные доски…

— Действительно! — Сергей бросил на диван шапку и обеими руками взъерошил волосы. — Но кто мог сделать такую подлость, скажи мне? Адам кричит, гремит на весь дом, что это дело Орешкина, и рвется пойти с ним «*побеседовать*».

— Еще этой глупости не хватало! Скажи ему, чтоб — ни слова! — Лемяшевич на миг задумался. — Орешкин? Знаешь, я меньше всего склонен подозревать его. Мне почему-то кажется, что о фельетоне не мог не знать Бородка, А Орешкин и Бородка… Нет, несовместимо.

— А почему Бородка? — нахмурился Сергей. — Просто ты не объективен и злопамятен, Михась. Ну, поспорили вы… Есть у него недостатки, как и у меня, и у тебя, и у каждого из нас, смертных. Но подумай; если б он считал, что все это правда, он давно вытащил бы тебя на бюро… Он, брат, патриот своего района, и выносить сор из избы — не в его характере. Он же должен теперь принять меры!

Лемяшевич не спорил. Он и сам почти так же рассуждал, и ему даже было приятно, что Сергей защищает Бородку. Но тогда каким образом мог

появиться этот фельетон?

— Да очень просто, — ответил Сергей на его вопрос. — Кто-нибудь написал письмо, а сотрудники редакции *«обработали»*. Им бы только факт!

— Без проверки?

— Да кто их разберет, как они проверяют. Мало ли у нас еще безответственности! Но за, безответственность надо бить! Бить безжалостно, черт возьми!

Пока они разговаривали, прибежал Антон Ровнополец, растерянный, испуганный, с газетой в кармане.

— Михаил Кириллович, что же это такое? — дрожащим голосом спросил он. — Ведь это же клевета!

У Лемяшевича от разговора с Сергеем, его дружеской поддержки, стало легче на душе, и он ответил председателю шуткой:

— А раз клевета, так пускай не спят клеветники. Пускай они беспокоятся! А мы сделаем только один вывод — никогда не пить в лавке!

Ровнополец, немного успокоившись, ругался, комкая в руках газету:

— Свистун, чтоб тебе век свистеть не переставая, сукин сын, как ты свистнул! Капелька! Чтоб всю жизнь над тобой капало, не просыхало! Подлюга!..

21

Фельетон взбудоражил всю деревню. В тот вечер газету и в самом деле читали все, экземпляры её переходили из хаты в хату, а те, кто не выписывал областной газеты, впервые пожалели об этом. Много было разных разговоров, споров, догадок, но почти все приходили к одному выводу: вранье! Особенно волновались учителя. Бросив неотложные дела — планы, тетрадки, программы, они шли к товарищам, чтобы *«отвести*

душу». Даже Орешкин, который редко к кому заглядывал, явился к Ольге Калиновне, куда собрались почти все учительницы, и горячо высказал там свое возмущение.

А кое-где фельетон затронул и семейные отношения. Так было у Ковальчуков.

Павел Павлович, прочитав, воскликнул с несвойственным ему пылом:

— Да это же все брехня! Никаких досок он не продавал! Не такой человек Лемяшевич! Школа стала во сто раз лучше!

Майя Любомировна тихонько подошла сзади, обняла мужа за шею.

— Чего ты кричишь, Пашок! Наше дело — молчать и слушать.

— Как это молчать! — Он резко повернулся, освободился из её объятий. — Нет, я молчать не буду! Хватит! Я морду набью, если узнаю, кто это сделал!

— Ай-ай-ай, какой герой! А откуда ты знаешь, что это неправда? Ходит он постоянно с этими председателями и, конечно, выпивает. Молчи лучше! Что тебе за дело! — Голос её зазвучал властно, резко, с угрозой.

Павел Павлович покорно склонил голову.

— Мне ни до чего нет дела, живу, как крот.

— Тебе не нравится твоя жизнь? — с издевкой спросила Майя Любомировна.

Он посмотрел на жену и — к её удивлению — со злобой, которой она ещ` ни разу в нём не видела, ответил:

— Чтоб она пропала, такая жизнь!

— А мне она нравится? Мне? — закричала жена.

Но он уже вышел из повиновения и ничего не хотел

слышать и понимать.

— Надо мной люди смеются! Отец и мать не понимают… Был человек как человек… а стал пентюх, чулок с деньгами. Над копейкой трясусь, людей чураюсь. На черта мне твой дом, твой город! Люди в деревне живут по-человечески! Из города приезжают.

— Ну и ты живи! Живи! Иди, гуляй! Беги к Лемяшевичу, к Приходченко! Ведь тебе жена надоела, — уже не кричала, а с презрением и ненавистью шипела Майя Любомировна. — Живи, как они… А я не желаю! Слышишь ты? Не же-ла-ю!

— Что ты мне тычешь Приходченко? — ещё больше разозлился Павел Павлович. — Ты на себя погляди! Над нами больше смеются, чем над ней!

Майя Любомировна побледнела, у нее даже дыхание перехватило.

— Так ты равняешь меня с ней! Негодяй! — И в мужа полетел учебник геометрии.

Книга больно стукнула его по носу. Майя Любомировна кинулась на кровать и уткнулась лицом в подушку. Такие истерики повторялись нередко, но учебник она пустила в ход впервые, и это очень обидело спокойного, кроткого Павла Павловича. Ему до слез стало жаль себя, беспомощного, угнетенного, и жизнь показалась еще более нелепой и немыслимой.

«Нет, так продолжаться не может! Она убедится, что и у меня есть характер. Я ей докажу!» И он сам поверил в свою силу, решительность, и ему стало легче, даже раздражение против жены утихло: она слабая, безвольная женщина, вся во власти идеи переехать в город и приобрести там собственный домик, что с неё возьмёшь! Поглядев в зеркало на свой припухший нос, Павел Павлович сунул газету в карман и стал одеваться. Переделывать свою жизнь он начнет немедленно, не откладывая!

Майя Любомировна продолжала лежать, всхлипывая, но тайком внимательно следила за мужем. И как только он направился к двери, она кинулась за ним, ухватила за плечи.

— Не пущу! Никуда не пущу! Буду кричать!

А на другой половине хаты жили его родители, которые уже давно настороженно прислушивались к перебранке и в душе радовались — радовались первому протесту сына против гнета жены.

Павел Павлович растерялся, зная, что она и в самом деле способна закричать, и вынужден был пойти на компромисс.

— Успокойся! Что за глупости! Я схожу к Лемяшевичу, надо поддержать человека.

— В такую темень! Никуда ты не пойдешь! Не пущу! Они жили на выселках, километрах в двух от Криниц. Чувствуя, как тает его решимость, Павел Павлович, чтоб поддержать в себе твердость, опять разозлился:

— Пусти! Что это за жизнь! На двор выйти — надо у жены спроситься!

Майя Любомировна, увидев, что он не на шутку сердится, сразу переменила тактику: нежно обняла, поцеловала в ухо.

— Прости меня, Пашок, если я виновата. Прости. Я что-то плохо себя чувствую. Нервы. Пожалей меня, не ходи. Ведь я умру, пока тебя дождусь. Ночь на дворе!

Ему и в самом деле стало её жалко, и он великодушно согласился остаться дома.

— Ладно, я не пойду сейчас. Но молчать я не буду, — так и знай! Я за правду жизни не пожалею! Завтра же предложу всем преподавателям написать коллективное письмо в редакцию, — говорил он, раздеваясь.

Она молчала.

В тот же вечер Бородка заехал к Марине. Он давно уже не наведывался к ней и потому жадно обнял прямо на пороге, как только она открыла, поцеловал в пухлые горячие губы. Раздевшись, еще раз крепко прижал к себе.

— Заскучал я, Маринка, по тебе. Хорошая моя! Только рядом с тобой и отдыхаю.

Она счастливо смеялась и гладила мягкой рукой его колючие холодные щеки.

— А ты не больно спешил!

— Дела, Маринка, дела — голова кругом! Видишь, побриться некогда, пообедать по-человечески…

— Голодный?

— Голодный.

Она выскользнула из его объятий и прошла в другую комнату, служившую кухней. Он пошел следом.

— Я помогу тебе.

— Разожги плиту.

Она резала сало, хлеб, крошила огурцы, накладывала на тарелку маринованные грибы. А он стоял на коленях и щепал лучину от толстого соснового полена, подкладывал её в плиту, потом ободрал с березового кругляка бересту, поджег. Береста затрещала, свернулась, начадила пахучим дымом. Он держал её в руке и любовался тем, как она разгорается. Марина Остаповна с улыбкой наблюдала за ним, за его детской игрой с огнем.

— Я и не слышала, как ты подъехал, — сказала она, когда он наконец сунул бересту в плиту.

— А я пришел. — Он встал, вытер руки платком. — Ты знаешь, Маринка, придется тебе переводиться… Неловко мне как-то перед этим… Волотовичем…

Понесла его сюда нелегкая! Как он тут?

— Переводиться? — переспросила она, раскладывая ломтики сала на сковороде. — Куда?.. Нет… Не хочу. Мне здесь хорошо.

— Хорошо? — насторожился он.

— А почему мне должно быть плохо?

— А если мне…

— Если ты стал таким трусом… я буду приезжать к тебе! Он захохотал.

— Ну и отчаянная же ты, Марина! Тебе всё — море по колено. Завидую я твоему характеру! Но не в трусости дело — пойми.

Он достал из кармана пальто бутылку вина и отнес в первую комнату, стал там прибирать со стола ученические тетради.

Поставив сковородку на плиту, Марина Остаповна тоже прошла за ним, хотела ему помочь, но взгляд её упал на газету, и лицо сразу стало серьёзным, хмурым.

— Артем, скажи откровенно: ты знал об этом? — она показала на газету.

— О чем? — удивился он. — О фельетоне про Лемяшевича?

— Какой фельетон? — Он взял газету. — Где? Черт возьми, газету некогда просмотреть. Три дня мотаюсь по району.

Марина вышла перевернуть сало и через двери смотрела, как он читает фельетон, как недовольно хмурится. *«Значит, не знал»,* — решила она с радостью и спокойно стала разбивать яйца над сковородкой с жареным салом. Сало брызгало, злобно шипело, под сковородкой гудел огонь.

Артем Захарович уже понял, что все это может кончиться неприятностями, и, вспомнив свой разговор с заместителем редактора, мысленно выругал и себя и Стукова. Однако о разговоре этом решил никому ни слова, а потому, подойдя к двери, сказал Марине:

— Да, какие-то дураки пересолили.

— Значит, ты не знал?

— Первый раз слышу и вижу.

— Хорошо, что ты не знал.

— А почему ты, собственно говоря, так растревожилась? Из-за кого? Из-за Лемяшевича? Странно. Фельетон, конечно, дрянь... А вообще этого выскочку давно пора проучить...

— За что?

— Как за что? Да о том, что тут написано, — он хлопнул ладонью по газете, — ты же сама мне рассказывала.

— Ах, вот что! Значит, ты врешь, что не знал, это твоя работа.

— Ну, знаешь!

— Но я не могла рассказывать про школу, про доски! Это же клевета!

— С каких это пор ты стала адвокатом Лемяшевича?

— С каких? — Она стояла, удивительно спокойная, прижавшись спиной к печке, сложив на полной груди белые красивые руки. — С тех самых, когда узнала, что он — настоящий человек.

— И мужчина? — с иронией спросил Бородка.

— И мужчина! — серьёзно, со злостью ответила она, и глаза её блеснули гневом; она почувствовала себя оскорблённой и уже не могла остановиться; не могла простить обиды. — И мужчина, если хочешь знать! Не

тебе чета!

Он зажал в горсть газету, шагнул к ней, схватил её руку, больно стинул.

— Марина! Если узнаю — не жить вам обоим!

— Это ты можешь, — ответила она, вырвав руку и отходя к двери. — Счастье, что твоя власть не идет, дальше одного района.

— Марина! Я серьёзно! — ударил себя кулаком в грудь Бородка.

— Да и мне надоело шутить.

— Пожалеешь, Марина!

— Нет. Не пожалею. Чего мне жалеть?

— А-а, ты уже вот как! Вот ты как встречаешь меня!

— Как заслуживаешь.

— Три года был хорош… Ладно!

Он сорвал с гвоздя пальто, накинул на плечи, нахлобучил на голову шапку, однако не спешил выходить — смотрел на нее. А она стояла, прижавшись к косяку, спокойная, величественная, и не трогалась с места. На сковороде горела яичница, сильно пахло чадом.

— Глупый ты, Артём..

— Понятно. Ты нашла умнее. Но мы еще посмотрим, кто из нас окажется более умным.

— Ты никого, кроме себя, не хочешь видеть. Ты любуешься только собой, живешь для себя.

— А ты для кого?

Он протянул руку к щеколде и еще раз оглянулся, надеясь, что она задержит его, но Марина по-прежнему

стояла не двигаясь, и взгляд у нее был чужой и враждебный.

Он хлопнул дверью так, что стекла зазвенели. Но на крыльце остановился и снова ждал, что она выбежит, вернет его назад. Она не вышла. Он плюнул, выругался и пошел в МТС, где оставил свою машину.

А Марина Остаповна, залив сгоревшую яичницу водой и выбросив нарезанные огурцы и грибы в помойное ведро, заплакала — впервые за много лет. Давно уже она не плакала, и эти неожиданные слезы разволновали её еще больше. Она долго не могла успокоиться и сердилась на себя за такую слабость. *«Девчонка! Дура! Перестань! Из-за чего ты ревешь?»* Она сама не знала, чем вызваны эти слезы, эта женская печаль. Конечно, не тем, что поссорилась с Бородкой, что он по сути оскорбил её. Такие оскорбления её мало трогали, тем более в устах Бородки. Она ведь тоже не комплименты ему говорила! Так откуда же эти слезы, это тяжелое настроение?

Лемяшевич, как всегда, пришёл в школу за полчаса до начала занятий. Обычно в такой ранний час, кроме нескольких учеников младших классов из дальних хуторов, никого ещё не было. Но в то утро школа уже вся гудела. Он хотел было зайти в десятый класс, но услышал свою фамилию, догадался, о чем там идут такие горячие споры, и, почувствовав неловкость, прошел мимо. В учительской первым его встретил Орешкин. Он словно подстерегал его под дверью, потому что, как только Лемяшевич показался на пороге, сразу протянул ему руку.

— Дорогой Михаил Кириллович, мы возмущены до глубины души. Всем коллективом… Это не только на вас поклеп, это поклёп на всех нас. Мы пишем коллективно письмо. Вот!

Все преподаватели были в сборе, отсутствовал один Данила Платонович. Они тепло и искренне приветствовали директора: все поднялись со своих мест, жали ему руку, кто молча, кто вслух выражая свое

сочувствие.

— Скажите нам, где они, эти свистуны, и не свистеть им больше! — серьёзно, даже сурово пошутил Ковальчук. Жена его, Майя Любомировна, как бы присоединяясь к мужу, приветливо кивнула головой и ласково улыбнулась. Лемяшевич ни разу не видел, чтоб она улыбалась в его присутствии, и даже не решался из-за её неприступного вида делать ей замечания по работе.

Марина Остаповна пожала руку по-мужски, крепко, без слов. Последней несмело подошла техничка Даша и заплакала. Её слезы и то, как встретили его преподаватели, их искреннее возмущение взволновали Лемяшевича.

— Товарищи, не слишком ли много шуму из пустяков? Все это не стоит выеденного яйца. Вздор…

— Нет, не вздор. Здесь престиж школы, престиж коллектива. И мы не можем молчать! А? — горячо возразил Орешкин.

Его поддержали другие.

— Какой же это вздор, когда вы помогли мне пол починить, чтоб дети не простужались, а они вон что пишут: за водку доски продавали. Чтоб им!.. — уже забыв про слезы, возмущалась Даша.

— Вы нас не отговаривайте, Михаил Кириллович… Мы недостойны были бы звания советских педагогов, если б промолчали! — Последние слова Павел Павлович произнес, повернувшись к жене.

Лемяшевич пожал плечами. Его радовала такая сплоченность коллектива, хотя и смущали высказанные по его адресу похвалы.

— Пишите дальше, Ольга Калиновна, — решительным тоном сказал Орешкин, когда Лемяшевич прошел в директорский кабинет — маленькую комнату рядом с учительской, — На чем мы остановились? — Орешкин ходил по учительской, засунув руку под пиджак и

поглаживая сердце. — Пишите: «*...Таким образом, мы рассматриваем этот фельетон как клевету на честного советского человека, организатора и руководителя...*»

— Коммуниста, — подсказал Ковальчук.

— Правильно, — согласился Орешкин. — Вставьте, Ольга Калиновна: *«Советского человека, коммуниста»*. Дальше... *«Наше возмущение разделяют колхозники передового в районе колхоза «Вольный труд», которые за короткий срок полюбили товарища...»*

— *«Полюбили»* — не то слово, — остановила Марина Оста-повна.

В составлении письма не участвовал один Адам Бутила; он сидел на диване, непривычно молчаливый, и с таким презрением смотрел исподлобья на Орешкина, что Лемяшевич, сквозь приоткрытую дверь заметив этот взгляд, испугался, как бы дело не окончилось скандалом. Его мрачный вид угнетал преподавателей, которые никак не могли понять, что произошло с весельчаком и шутником Бушилой.

Орешкин поглядывал на него с некоторым испугом, вид Бушилы его нервировал.

Лемяшевич вышел из кабинета, пригладил волосы.

— Вы меня извините, товарищи, но не нравится мне то, что вы пишете. Если говорить о клевете, так оклеветан не один Лемяшевич. А председатель сельсовета? Секретарь парторганизации?

— Правильно, — поддержал Бушила.

Орешкин перестал поглаживать сердце и почесал затылок; глянул на часы — хватит ли времени переписать письмо заново? — и поморщился.

— Правильно... Конечно, правильно! А вы сидите и не можете подсказать, ведь пишем коллективно. Молчать

— легче всего! — накинулась на Бушилу Ольга Калиновна, относившаяся к каждому делу горячо и добросовестно.

— Без меня есть кому писать, — кивнул Бушила на Орешкина. — Вот Виктор Павлович мастер.

— Почему это я мастер? — передернулся Орешкин.

Опасаясь, что неугомонный Бушила выскажет вслух подозрения, о которых говорил вчера Сергею, а сегодня за завтраком у Костянков всем, и ему в том числе, Михаил Кириллович поспешил перевести разговор на другое. Бушила понял его и, не сказав ни слова, вышел из учительской.

— Наш Адам встал не с той ноги, — пошутила Ольга Калиновна, сама, без подсказок, переделывая письмо. — Я думаю, вот так надо!.. — И она начала читать новую редакцию.

Теперь упоминались и Полоз и Ровнополец, но Лемяшевич покраснел от тех дифирамбов, которые расточались ему в этом письме, и запротестовал:

— Поймите, товарищи, что вы ставите в неловкое положение и себя и меня. Я — директор, вы — преподаватели…

— Михаил Кириллович прав, от письма пахнет подхалимством, — неожиданно поддержала его Марина Остаповна.

В этот момент вошел Данила Платонович, и все замолчали. Раздевшись, он обвел коллег проницательным взглядом, словно по глазам пытаясь отыскать виновного. Ольга Кали» новна протянула ему письмо:

— Прочитайте и скажите свое мнение, Данила Платонович.

— Кто это писал? — спросил он, пробежав письмо. — Коллективно.

— Коллективно — и так плохо? Длинно, путано и столь высоким стилем, будто вы оду слагаете.

Орешкин возразил:

— Мы выразили свои чувства…

— Ну, если вы их уже выразили, — Данила Платонович бросил взгляд на Лемяшевича, — так и мы, верно, имеем право сказать свое слово.

Он достал из старого, потертого портфеля листок бумаги и прочитал адресованное секретарю обкома (преподаватели писали в редакцию) письмо, где не было ни чрезмерных похвал Лемяшевичу и Полозу, ни громких слов, а был решительный протест против лжи и клеветы на честных людей. Подписали Шаблюк, Морозова, Груздович, Сергей Костянок, Волотович.

— И я! — подал голос с порога Адам Бушила.

— Разрешите и мне, — попросил Ковальчук.

— Товарищи, я думаю — мы все подпишем это письмо? А? — обратился к коллегам Орешкин. — Данила Платонович мудро выразил нашу общую мысль.

Лемяшевич посмотрел на часы.

— Пора звонить, Дарья Прокоповна, — бросил он и пошел к себе в кабинет, полный противоречивых чувств, с каким-то неприятным осадком в душе.

Радостно было, что товарищи так горячо поддержали его, и еще от того нового, что он неожиданно открыл во многих из учителей. Это давало право надеяться, что коллектив и в самом деле сплотится. Откуда же неприятный осадок? Он никак не мог понять.

В классе обсуждение этого события проходило куда более бурно, со спорами и взаимными попреками. Когда Павлик Воронец попробовал высказать мысль, что печатают-то ведь не просто так, а, должно быть, надлежащим образом проверяют, в него полетели

комки бумаги, мел, мокрая тряпка.

— Дурак! Значит, по-твоему, и Данила Платонович вор?!

Павлик вынужден был немедленно отказаться от своих слов.

Володя Полоз громогласно философствовал на тему о подлости людей, пишущих анонимные письма, и о ничтожестве тех, кто поддерживает клеветников хотя бы мысленно.

— В нашем обществе клеветников надо присуждать к высшей мере... Что, нет? Клеветник — это тот же диверсант. И если, к примеру, они завелись в нашем колхозе, мы не имеем права спать спокойно!

— А ты думаешь, что это написал кто-нибудь из криничан? — спросил Левон Телуша с тайной мыслью выведать, кого подозревает Володин отец.

— Не сомневаюсь! Там есть такие детали, которые мог знать только наш человек.

— Но кто? О ком ты думаешь?

В это время в класс вошел Алёша Костянок, и на миг внимание всех было переключено на него. Так невольно умолкали при появлении каждого нового товарища; многие начинали высказываться прямо с порога. Но Алёша, поздоровавшись, молча прошел к своей парте. Любопытство ещё усилилось, когда вспомнили, что Костянок, верно, сегодня, как и всегда, завтракал вместе с директором.

— Так о ком же ты думаешь? Кто это мог сделать? — повторил свой вопрос Левон, когда Алёша сел рядом с ним.

Володя Полоз смешался.

— Кто? Да мало ли таких! Есть еще у нас.

— Кроме Орешки, никто этого не мог сделать, — спокойно сказал Алёша, совершенно неожиданно для всех, да и для самого себя. Уже когда сказал, спохватился, вспомнил, как Сергей и Михаил Кириллович строго наказывали Адаму, чтоб держал язык за зубами.

Алёша потом понять не мог, как у него, человека не болтливого, вдруг вырвались эти слова. Неужели потому, что он ненавидел Орешкина?

Класс на момент притих. Катя, стоявшая у доски, подошла к двери и плотнее прикрыла её, А Рая вдруг вскочила, дрожащим голосом крикнула:

— Сам ты клеветник несчастный! Какое ты имеешь право? Какое? Виктор Павлович возмущался больше… больше, чем все вы! Он письмо написал чтоб учителя подписали… Как вам не совестно!

Из глаз её брызнули слезы, и она бросилась к двери. Но дорогу ей загородила Катя, и вмиг возле них очутились Володя, Левой, Петро, Павел.

— Садись, Рая, на место и попридержи свои нервы! — решительно заявил Володя.

— Согласны, что Алёша сказал глупость, и забудем об этом. Забудем всё! — предложил мудрое решение Левон.

Зашумели девочки:

— Райка! Ты что хочешь делать?

— Ты же умная девушка, Рая, и понимаешь… — солидно, как отец или учитель, продолжал свою дипломатию Левой, — должна понять, что это только обидит Виктора Павловича, которого мы все уважаем…

Рая наконец поняла, что подумали одноклассники. Совершенно растерявшись, пристыженная, она вернулась на свою парту, уткнулась лицом в платок.

Левон подмигнул классу и поднял руки, требуя тишины.

— Алёша, сколько по твоему будильнику до начала урока? Три? Дети, попрошу сесть на места! Достаньте ваши учебники и подготовьтесь к занятиям... Школьные правила забыли, черти полосатые!.. Долго еще я вас учить буду! Так вот... На свете существует только физика — и больше ничего! И все подчиняется её законам!..

От Орешкина, когда он вошел в класс (первый урок был его), не укрылись взволнованность и заплаканные глаза Раисы, настороженность ребят. Потом, дома, он попробовал выпытать у нее, что произошло в классе утром перед уроками. Она не сказала, придумала какую-то наивную историю, спор из-за потерянной библиотечной книги. Орешкин, конечно, не поверил и попросил Аксинью Федосовну, чтоб она выведала, чем так взволнована дочь.

— Матери всегда надо знать, что у дочки на сердце, дорогая Аксинья Федосовна.

Раиса не скрыла от матери правду, и та, частью по деревенской своей простоте, а частью потому, что недолюбливала Костянков, передала всё Виктору Павловичу.

22

Раньше почему-то так велось: МТС — сама по себе, а деревня, колхоз, сельсовет — сами по себе, и связь между ними ограничивалась официальными отношениями: договором, который обязывал одну сторону вспахать определенную площадь, посеять, сжать, другую — выделить прицепщиков, подвезти горючее, воду, обеспечить питанием трактористов, Больше колхоз от МТС по сути ничего не требовал, так же как МТС от колхоза. Бригадир тракторной бригады и трактористы обычно были местные, так что никто в деревне их за рабочих не считал — колхозники, как и все. Да и сами они были связаны с МТС только по

производственной линии: норма, запасные части, горючее.

Интеллигенция жила и работала тоже как-то обособленно. Учителя никогда не заглядывали на станцию, механики разве только на кинокартину приходили в неуютный и холодный клуб, где гуляли сквозняки.

Теперь понемногу все менялось, хотя, конечно, не без трудностей.

Если раньше с наступлением зимы связь колхоза с МТС почти совсем прерывалась, то теперь было иначе.

Животноводы требовали у Волотовича: давай им автопоилки, подвесную дорогу, доильные аппараты. А Павел Иванович в свою очередь нажимал на Ращеню:

— Давай мне машины, тракторы! Зимой они мне нужны не меньше, чем летом. Это же просто бесхозяйственность, такая техника всю зиму стоит без дела. Ремонт? Нельзя одну машину ремонтировать полгода!.. Дай её мне в колхоз — и она будет в работе круглый год...

И впервые в колхоз пришла бригада МТС по механизации ферм. Пришли зоотехник, электрик... Волотович не пропустил ни одного производственного совещания механизаторов. И все долбил в одну точку:

— Начните с колхоза, на территории которого вы находитесь, потому что, если у нас вы не начнете работать по-новому, не начать вам нигде. Конечно, требуйте и с нас как положено, как сказано в постановлении. Словом — никаких скидок и уступок друг другу.

— Теперь мы за все в ответе, за каждого курчонка в колхозе, — ворчал Ращеня. — Тебе и делать нечего.

— Мне нечего делать? Интересно. А ты не стой опекуном надо мной. Будь представителем государства — руководителем. Тогда хватит работы и тебе и мне.

Сейчас так не пойдет, чтобы, кроме своих тракторов да процентов мягкой пахоты, больше ничего не знать. Нет, брат, довольно. Будешь отвечать за всё вместе со мной… И за коровники, в которых ветер свищет, и за неотремонтированный клуб.

Ращеня и сам все это отлично понимал и со всем пылом честного, работящего человека стремился наладить работу по-новому. Но поворчать любил, особенно на председателей.

— Всё — МТС. Нянька вам МТС, что ли? Не нянчиться будем, требовать! Нечего за нашу спину прятаться!

— Вот ты и требуй!. — отвечал Волотович.

Ращеня работал, не жалея сил, забыв обо всех своих болезнях, добрую половину которых выдумали его жена и врачи. Но иной раз его охватывал страх. Все-таки он старый уже человек, практик. Хватит ли его практического опыта, его умения руководить, чтоб МТС работала по-новому? Вон какие люди приходят к нему — всё с высшим образованием! А в председатели колхозов? Волотович, скажем, опытный советский работник, старый коммунист». И как тянется к нему интеллигенция.

А Волотович и в самом деле делал все, чтоб сплотить интеллигенцию села. С его легкой руки завелся обычай в свободные вечера собираться в холостяцкой квартире директора школы. Павел Иванович раздобыл где-то старый самовар, заставил Лемяшевича купить побольше стаканов, стулья, шахматы. Квартира незаметно приобрела обжитой и уютный вид. Новым людям, которые приезжали из города и, естественно, скучали первое время, нравилось проводить здесь долгие осенние вечера — пить чай, спорить, слушать радио, читать.

А Лемяшевича радовало, что и школа в какой-то мере помогала связи колхоза с МТС. Кружок по изучению трактора и комбайна благодаря энтузиазму обоих Костянков — Сергея и Алеши — работал интересно и с

пользой не только для школьников, но и для станции. Правда, сначала работа его не очень ладилась, покуда шла теория, — физика надоела и в школе. Но потом Сергей перенес занятия в мастерскую, где начался ремонт машин, и включил кружковцев в работу по ремонту. Ребятам это очень понравилось. Деятельность кружка сразу оживилась, число любителей техники удвоилось. Освоение механизмов шло на редкость успешно. Никто им тут ничего не навязывал, не заставлял учить *«отсюда, и досюда»*. Сергей, механики, трактористы просто рассказывали и показывали все, что надо, в процессе работы и одновременно учили мыть, чистить, токарничать, шлифовать. И это увлекало молодежь. Правда, поначалу не обошлось без конфликтов. Один ученик, взявшись без разрешения не за свое дело, сжег новое реле. Володя Полоз вздумал сразу, с первой пробы, прославиться как токарь-скоростник и сломал резец. Ращеня, сперва не слишком одобрительно относившийся к этим экспериментам, рассердился, накинулся на Сергея Костянка.

— На черта мне этот комбинат! Со своими курсантами не знаешь, что делать!

— А это — чужие? Завтра будут наши работники!

— Как же, дожидайся! Заманишь их! Я знаю! Окончат десять классов — и поминай как звали!

— Сами придут, если сумеем заинтересовать.

— Нам эта заинтересованность боком выходит! Довольно! Поглядели для этой самой — как её? — политехнизации своей, и хватит. Пускай лучше уроки учат. А то некоторые ловчилы тут от уроков прячутся… А спросят с нас не за кружки, а за ремонт… Вон опять график срывается.

Директор и главный инженер работали в согласии, уважали друг друга и мирно разрешали все спорные вопросы. Но о ликвидации кружка Сергей и слышать не хотел и заявил весьма решительно;

— Вы простите, Тимох Панасович, но кружок будет продолжать работать. Это для меня — дело чести.

Ращеня старался быть твердым, настойчивым, не отступать от своих решений, но ссориться с Костянком не входило в его планы. Настойчивость настойчивостью, а главный инженер тащит на себе весь ремонт и выводит станцию в передовые. Директор поворчал для виду и сдался.

— Если для тебя это дело чести, ты и отвечай.

А вскоре он и сам убедился, что школьники, кроме того, что учатся, могут оказать и существенную помощь, что тот же Алёша Костянок, который и без кружка наведывался в мастерскую чуть не каждый день, выполняет ответственные операции на ремонте самых сложных узлов. В МТС по-прежнему не хватало рабочих, не хватало мест в общежитии; по обычаю, сложившемуся годами, трактористы из дальних колхозов уходили на выходной домой и возвращались в лучшем случае в понедельник к вечеру. Поэтому даже двухчасовая работа тридцати старательных ребят имела значение в такое горячее время и давала заметный результат. Бригадиры и трактористы, многие из которых раньше скептически смотрели на всю эту затею, начали относиться к школьникам серьёзно. И когда однажды в субботу из-за *«контрольной»* в школе занятия кружка не состоялись, все пожалели: на учеников рассчитывали, а теперь пришлось поработать сверхурочно, так как шёл последний день декады и надо было выполнить график. Убедившись в пользе этого дела, Ращеня как-то позвал к себе Костянка и Лемяшевича и предложил учитывать работу учеников так же, как остальных рабочих, и оплачивать её.

— Для школьника и двадцать рублей деньги, на тетрадки да книги. А такие, как ваш Алексей, за доброго тракториста работают.

За три года почти не было дня, чтоб кто-нибудь из женщин попросту не сказал Наталье Петровне:

— Наташа, что ты сушишь хлопца и себя? Не монащка же ты! А Сергей — дай бог каждой бабе такого мужа. Выходи, а то жалеть будешь, если проморгаешь.

От одних она отшучивалась, с другими, более близкими, говорила серьёзно и искренне, вздыхала, а заключала всегда одним:

— Нет, не могу. У меня дочка большая. Как я ей в глаза посмотрю?

Но голос народа что вода — камень точит… Шли годы, не остывало, крепло чувство Сергея, и всё настойчивее делалась агитация женщин, все сильнее влияние её. Она пошатнула твердое решение Натальи Петровны никогда не выходить замуж. *«А почему бы не выйти?»* — однажды подумала она и уже не могла избавиться от этой мысли. *«Тысяча вдов, и не с одним ребенком, выходят замуж и живут счастливо. Почему же я не имею права на это простое женское счастье?»*

Возможно, еше одно обстоятельство странным образом ускорило это решение — приезд Лемяшевича. Директор школы сразу вызвал какой-то страх в душе Натальи. Петровны, с его приездом ею овладело ощущение неведомой опасности, и ей захотелось как можно скорее почувствовать себя под защитой. А кто может ее лучше защитить, чем Сергей? Она знает его девять лет, с тех пор как он вернулся из армии и стал работать трактористом… Знает всю его семью. Такое замужество не вносило ломки в ее жизнь. Но любит ли она его?

Она не находила в себе того, что испытывала когда-то, когда полюбила Ивана, — не было той взволнованной приподнятости, не было потребности всё для него сделать, всё ему отдать…

Пораздумав, она нашла объяснение: просто она никогда уже и никого не сможет полюбить так, как любила Ивана, и не надо сравнивать нынешние чувства с теми,

что были тогда. Сравнение это неуместно! А Сергея она уважает, он честный, душевный человек и, конечно, будет хорошим мужем и... отчимом. Отчим! Слово это казалось ей очень страшным. Но постепенно Наталья Петровна перемогла и этот страх.

Она сама пришла тогда осенью и предложила Сергею пойти погулять. После этого они встречались почти каждый день. Сергей от радости был на седьмом небе. А Наталья Петровна как бы привыкала к нему. Она уже не останавливала его, когда он начинал говорить о женитьбе. Она только просила:

— Подожди, дай мне освоиться с этой мыслью.

Но ей надо было не *«освоиться»*, а, главное, поговорить с дочкой; она боялась этого разговора, не знала, как начать его, что сказать, и потому откладывала со дня на день.

Наконец однажды решилась.

День был морозный; возвращаясь из дальней деревни от больного, она сильно промерзла и дома забралась на печку, чтобы согреться. Лена готовила уроки. Но не выдержала, сбросила с ног валенки так, что они разлетелись в разные углы, и белкой вскочила на печь, обняла мать.

— Озябла, мама? Ты у меня прямо героиня: все для других и ничего для себя. Мороз, холод, вьюга — ничто тебя не останавливает.

Наталья Петровна вздрогнула: совсем взрослые рассуждения дочери, такая забота её даже как-то испугали. Лена как бы сама напрашивалась на серьёзный разговор. Раньше она свою любовь и нежность выражала более по-детски.

— Такая уж у меня профессия, дочка. — Она нарочно не сказала *«доченька»*, *«дочурка»*, как всегда. — Разве ты иначе будешь работать?

— Нет, мама, я тоже буду как ты.

Она давно уже мечтала стать врачом, и это очень радовало Наталью Петровну: значит, дочь уважает её труд.

— Мама, а я сегодня две пятерки получила — по истории и алгебре.

Мать поняла, что все её взрослые, серьёзные речи ничуть не мешают ей совсем по-детски хвалиться отметками, хотя, кроме пятёрок, она других почти и не получала, и даже немножко разочаровалась: нет, видно, не доросла она еще, чтоб понимать такие сложные вещи. Однако решила все-таки разговора не откладывать.

Не глядя на дочь, она сказала:

— Слушай, Лена, — и опять не *«Леночка»*, как обычно, а серьёзно *«Лена»*, — ты уже почти взрослый человек, и рассуждаешь ты по-взрослому. Да я никогда и не прятала тебя от жизни, а жизнь от тебя… Я хочу поговорить с тобой как с другом и знаю, что ты меня поймешь. Ты — умная девочка. — Она почувствовала, что сбивается с тона серьёзной беседы и начинает говорить как с маленькой. — Ты должна понять меня…

Лена отодвинулась к самой стене и не спускала с матери настороженного взгляда; Наталья Петровна не выдержала и начала краснеть.

— Понимаешь? Как бы тебе проще сказать?.. Один человек, хороший человек, очень… очень, — заверила она скороговоркой, — хочет, чтоб я вышла за него замуж…

Лена отвернулась, подперла щеки ладонями и уставилась в окно. Мать затаив дыхание ждала, как она отзовется на ее слова. Она знала, что для Лены не секрет, кто этот человек, как не секрет их встречи, ее многократные отказы, — слишком много об этом говорят в деревне, чтоб разговоры не дошли до ушей семиклассницы. Она ждала слез, просьбы не выходить замуж, чего угодно, но только не этого… Помолчав,

Лена спокойно спросила:

— Скажи, мама, а тебе хочется… замуж?

Наталья Петровна вспыхнула и совсем растерялась, потом рассердилась. Захотелось сурово сказать дочери: *«Ты что-то чересчур умна!»* Но вместо этого она срывающимся голосом начала оправдываться…

— Я, дочурка, жила только для тебя…

Лена соскочила с печи, точно ветром ее сдуло.

— А зачем жить для меня одной? Что это за жизнь! Ты же сама говорила… Для всех надо жить!

Девочка произнесла это строго и поучительно, как будто она была старше, умнее и опытнее. Наталья Петровна закрыла лицо руками и уткнулась в подушку. Молчала и Лена. Сунула ноги в валенки, села к окну и погрузилась в книги. А минут через пятнадцать стала куда-то собираться.

— Ты куда? — спросила Наталья Петровна. — Пойду на лыжах покатаюсь.

Проводив ее взглядом до дверей, Наталья Петровна вздохнула: *«Ох, Сергей Степанович, видно, ничего у нас не выйдет»*. И улыбнулась, неожиданно почувствовав облегчение.

В комнате быстро, как всегда в зимние сумерки, сгущалась тьма. Согревшись, Наталья Петровна на миг задремала, но тут же проснулась и вдруг забеспокоилась о дочке: куда она пошла? Такое беспокойство часто охватывало её раньше, когда Лена была маленькой. Мать быстро оделась, вышла. Свежая лыжня вела через огород в поле. Она еще больше встревожилась и двинулась по лыжне. Снег был неглубокий, на пригорке ветры оголили землю, но вдоль ручья намело сугробы, и идти было не легко. Она не шла — бежала, так как уже стемнело и тревога её обратилась в страх. В деревне кричали дети, гремели ведра у колодца, тонким голосом заливалась какая-то

нервная собачонка. А в поле — синяя тьма бескрайнего простора и ни одного живого звука. Страшно в поле зимней ночью!

Лыжня вывела на открытый ток, к скирдам колхозной соломы. Подойдя к одной из них, Наталья Петровна услышала всхлипывание. Она сразу поняла, что это Лена, и чуть не кинулась к ней, чтоб приласкать, успокоить. Но сдержалась и свернула в сторону. Должно быть услышав шорох её шагов, Лена перестала плакать, немного погодя показалась из-за скирды и быстро пошла на огоньки деревни.

Наталья Петровна вытерла слезы и осторожно двинулась за ней.

«Нет, Сергей Степанович, покой и счастье дочери мне дороже».

Как-то вечером смотрели в отремонтированном клубе кинокартину. К удивлению криничан, лента на этот раз не рвалась, фильм шел без задержек, и сеанс кончился рано. Сергей и Наталья Петровна сидели рядом. Пришли они врозь, он — позднее, но ему сразу же уступили место возле нее.

Когда картина кончилась, Сергей предложил:

— Погуляем, Наташа?

После разговора с дочерью она избегала оставаться с ним наедине. Боялась, что он потребует решительного ответа на свой вопрос. А что она ему скажет? Опять то же, что два года тому назад? Но ведь это просто издевательство над его чувствами. Наталье Петровне от души жаль было этого доброго и скромного человека.

— Посмотрим, как погода, — неуверенно ответила она.

У выхода они столкнулись с Лемяшевичем, который сидел где-то возле стены и теперь не торопясь двигался к дверям. И Наталья Петровна вдруг предложила:

— А в самом деле, давайте погуляем... если не метет...

Пойдемте с нами, Михаил Кириллович.

Лемяшевич сперва отказывался, но стал уговаривать Сергей, горячо и настойчиво, — и он согласился.

Ночь была не по-зимнему темная. Небо затянуло низкими тучами, западный ветер доносил тот неуловимый, особенный запах снега, которым веет в дни оттепели. Казалось, вот-вот опять пойдет снег, крупный, мокрый, закружится причудливыми бабочками в свете редких фонарей. Но снега не было.

Не сговариваясь, они почему-то пошли по направлению к МТС.

Наталья Петровна пошутила:

— Сергея Степановича тянет в ту сторону.

— Не диво, — подхватил шутку Лемяшевич, — если в той стороне *«и эта улица и этот дом»*.

— Какой дом? — не понял сначала Сергей. — Дом Натальи Петровны.

— Вы, Михаил Кириллович, не выдумывайте. Человека в мастерские тянет, к тракторам, а вы… — Наталья Петровна засмеялась.

Сергей понял шутку, и ему стало немножко обидно. А не она ли, Наташа, виновата, что, кроме работы, в его жизни так мало других радостей? А Наталья Петровна была в тот вечер на редкость веселой — все время шутила, поддразнивала и его и Лемяшевича. Михаил Кириллович подхватывал её шутки, отвечал на них, а Сергей терялся и страдал от своей застенчивости и неловкости.

Наталья Петровна неожиданно предложила пойти на электростанцию.

— Люблю слушать, как она шумит… Особенно теперь, зимой: все вокруг мертво, а там шум воды…

Небольшое деревянное здание гидростанции ярко светилось широкими окнами. К гидростанции вела узкая стежка, протоптанная напрямик через луг дежурными электриками. По этой стежке шли гуськом: Наталья Петровна, за ней — Лемяшевич, а последним — Сергей. Он шел нехотя, не понимая, зачем ей туда идти и вообще почему она сегодня такая странная, не похожая на себя. Должно быть, неспокойно у нее на душе. Может быть, рна рассердилась на него? Зачем ему было так настойчиво приглашать Лемяшевича? Сама она, верно, позвала его только из вежливости, а он, дурак, рад стараться для друга. Влюбленным всегда кажется, что именно тот разговор, которому кто-то помешал, и должен был решить судьбу их любви. Так казалось и Сергею, и он шел позади, полный грустных раздумий.

Они были уверены, что на станции застанут одного дежурного, который в такое время, когда не работают моторы, обычно спокойно читает книгу или сидит с наушниками и слушает радио. Но, войдя в ярко освещенное помещение, они увидели там, кроме дежурного, молодого механика МТС Козаченко и Алёшу. Все трое работали: собирали генератор. На станции были две турбины и соответственно — два генератора, один из которых еще осенью испортился. Мохнач долго собирался отвезти генератор в город и все откладывал, а Волотович договорился с МТС, и Козаченко, который работал раньше на заводе электромоторов, с удовольствием взялся его отремонтировать. Ни Сергей, ни Лемяшевич не знали, что Алёша с первого же дня был его добровольным помощником.

Хлопцы, в одних сорочках, так как печь дышала жаром, всклокоченные, с засученными рукавами и масляными пятнами на рубахах и лицах, встретили непрошеных гостей удивленно и растерянно. Стояли, опустив руки и шмыгая грязными носами.

— Вы что, в кино не были? — обратился Сергей к Козаченко.

— Да нет, Сергей Степанович… Когда дело подходит к финишу, знаете, трудно бросить. Хочется окончить.

— А Алексей что тут делает? — спросил Лемяшевич, хотя и так было ясно, что он может делать у машины.

Алёша весело блеснул глазами, первым справившись с растерянностью.

— Да хотелось, Михаил Кириллович, поглядеть на машину в разобранном виде, а то учить учим, а видеть не видим. А теперь уж я знаю, что к чему. Сам могу разобрать.

Лемяшевич едва удержался, чтоб не похвалить своего ученика, но за него это сделал Козаченко.

— Молодчина ваш Алексей, я вам скажу. Я сначала не верил, но гляжу — механик-энтузиаст.

Алёша отвернулся, склонился над генератором и начал грохать молотком, может быть нарочно, чтоб заглушить этот разговор. Козаченко остановил его:

— Погоди. Потом выбьем заклепку. Давай паять контакты. И они, словно забыв о гостях, снова взялись за работу.

Механик включил электропаяльник, Алёша стал зачищать наледачной бумагой контакты щеток, которые и так блестели; дежурный сбавлял обороты действующей турбины — час был поздний, нагрузка падала, — стрелки на щите *«занервничали»*.

Если вначале немножко растерялись Козаченко и Алёша, то теперь, когда они занялись работой, в неловком положении оказались пришедшие, во всяком случае это почувствовал Лемяшевич: *«Люди работают до поздней ночи, а мы — точно экскурсанты»*.

Он предложил:

— Пойдем, пускай трудятся.

Но Наталья Петровна взглянула на него и, должно быть догадавшись, почему ему захотелось поскорей покинуть станцию, решительно воспротивилась:

— Нет. Посидим. Я хочу посмотреть, как они работают. Обратите внимание, какие руки у Алеши!

Руки как руки, оголенные по локоть, сильные и белые, ничего особенного Лемяшевич в них не увидел.

Она сняла теплый платок, расстегнула пальто и села на табурет у маленького столика, на котором лежали инструменты, замусоленная книга, газеты и стояли щербатый кувшин и кружка из гильзы. Сергей ходил вокруг разобранного генератора, подавал мастерам советы. Увидев, что Наталья Петровна решила остаться тут надолго, он разделся и стал помогать. Тогда начал ходить Лемяшевич, приглядываться к генератору, но, разумеется, никаких советов он дать не мог и потому чувствовал себя стесненно. Ему тоже хотелось принять участие в их работе, но он понимал, что пользы от него никакой, одна помеха. Несмотря на это, он решительно разделся, бросил пальто на перила, ограждавшие маховики и приводные ремни, как бы намереваясь помочь хлопцам, но тут же отошел к Наталье Петровне. Она очень внимательно и серьёзно следила за работавшими, и Лемяшевич никак не мог понять, что, собственно, так привлекает ее. Для человека, незнакомого с электротехникой, действия их казались совершенно неинтересными — ни ритма в них, ни физического напряжения, ни сложных операций: Козаченко и Сергей паяли, Алёша обматывал что-то изоляционной лентой, а дежурный электрик у окна подпиливал зажатую в тиски металлическую пластинку.

За стеной, в турбинной камере, булькала вода, глухо стучало колесо турбины. А тут, в зале, ровно и уже не так звонко, как раньше, гудел генератор и мерно, цепляясь у шва, хлопал ремень.

— Я любуюсь Алешей, — тихо сказала Наталья Петровна. — Он вырос у меня на глазах. Я его помню

вот таким, — она показала рукой.

Лемяшевич хотел было заметить, что она уже это говорила однажды, но чувство, совершенно неожиданное, остановило его. Он увидел сверху ее волосы, залитые светом ярких ламп. На фоне черного котикового воротника ее русые с золотым отливом волосы, чуть растрепанные от платка, показались ему сказочно красивыми, он не мог оторвать от них завороженного взгляда. Сердце его забилось часто-часто, жар разлился в груди, и от этого стало и страшно и хорошо, Им овладело непреодолимое желание наклониться и поцеловать эти волосы. Чтоб справиться с собой, он оглянулся на товарищей, занятых у генератора, и вдруг его молнией пронзила мысль: он любит эту женщину! Да, это любовь! А тот особый интерес, который возник с момента, когда он впервые увидел ее и который все возрастал и возрастал, был зарождением любви.

«Фу-ты! Не хватало забот! — грубо подумал он, чтоб заглушить прилив неожиданной нежности. — Ведь она же любит другого. — Но тут же спросил себя: —А любит ли?» И посмотрел на Сергея, который, ничего не подозревая, возился у машины. Потом перевел взгляд на Наталью Петровну и, заметив, с каким вниманием и лаской следит она за работой Сергея, язвительно посмеялся над собой, над своими мыслями: *«Нет, брат, в любви тебе ещё ни разу не везло»*. Он отошел, сел с газетой в другом углу на барьерчике и сидел там, изредка перекидываясь словцом с механиками.

Примерно через час Наталья Петровна решительно объявила:

— Ну вот что, друзья мои, существует закон об охране труда. Это вам известно? Как врач запрещаю ночную работу! Довольно!

На обратном пути они как бы поменялись ролями: весело острил, сыпал шутками Сергей, Лемяшевич шел молча.

24

Рая раскрыла учебник истории и между страницами, которые надо было перечитать к завтрашнему уроку, нашла письмо. Она сразу по почерку узнала — от него. У нее тревожно и как-то радостно екнуло сердце — первое письмо, полученное ею в жизни. А кого не волновало первое письмо, даже если оно от человека, не близкого сердцу или совсем незнакомого! С первым письмом как бы появляется ощущение зрелости и сознание ответственности за свое будущее и вместе беспокойная мысль, что не за горами тот день, когда придет человек, с которым ты свяжешь свою судьбу.

Возможно, Рая и не почувствовала всего этого. Даже наверное не почувствовала. Но письмо польстило ее девичьему самолюбию, ее гордости. Когда несколько дней назад Алёша встретил ее на улице и, схватив за руку, силой остановил, чтоб поговорить, она, возмущенная, вырвалась и убежала. Рая опасливо оглянулась, хотя и была в комнате одна — мать на работе, а Виктор Павлович отдыхает после обеда в своей комнатушке, — и стала читать.

«Рая!

Я люблю тебя. Я тебя так люблю, что не стыжусь сказать об этом тебе, всему классу, всей деревне, если, хочешь. Я уже не маленький, да и ты тоже... — дальше что-то старательно зачеркнуто, — и мне нечего стыдиться. Да, настоящую любовь люди всегда поймут и никогда не станут смеяться над ней; смеяться могут только дураки или мерзавцы. Я очень люблю тебя, Рая. Если б ты знала, как я тебя люблю, ты никогда не стала бы относиться ко мне так, как относишься сейчас. Я ведь знаю: ты хорошая, у тебя доброе сердце, мы же дружили с детства. А ты разве забыла, как мы встречались с тобой в девятом классе, как мы прятались от всех, боялись, чтоб нас не увидели учителя, какая ты была ласковая и добрая? Я этого никогда не забуду! Так почему же ты так переменилась? Почему? — Опять вычеркнуто целых

три строчки. — Ты как-то сказала мне, что я глупый. Может быть, я глупый. Но я люблю тебя, и я хочу, чтоб ты сказала мне откровенно, по-комсомольски все, что ты думаешь и почему ты теперь не такая, как раньше. Я жду твоего ответа».

Письмо разочаровало Раю. Она ждала чего-то особенного, каких-то необыкновенных слов, красивых, возвышенных, как в тех романах, которые она любила читать. А тут — семь раз повторил *«я тебя люблю»* и больше, в сущности, ничего не сказал. *«И кто ж начинает письмо с того, что надо сказать в конце? Да и вообще — какие обыденные слова! Фу! Смешно! Письма написать не умеет»*, — поморщилась Рая. Она не представляла себе, как трудно было Алеше написать эти простые слова, начать с них свое откровенное признание. Она не знала, что он писал ей письма на двадцати страницах, в которых было без числа самых красивых слов, были даже стихи, чужие, настоящие, и свои, не очень складные, но — от сердца. Все эти письма он уничтожал. Потом написал, как ему показалось, мужественное, без девичьей слезливости и сентиментальности, без детской наивности, это короткое письмо. Он перечитал его только один раз и вычеркнул то, что нужно было вычеркнуть. Знал, что, если начнет переписывать, сожжет и это. Он проносил письмо неделю в кармане, измял, пока не представился случай подложить его к ней в учебник.

Рая поискала взглядом, куда спрятать письмо. Перелистала книжки, заглянула в ящик стола. Ненадежно. Услышав шорох в соседней комнате, сунула за пазуху и взялась за учебник по истории. Но история не лезла в голову, на груди от каждого движения шелестела бумага, словно нашептывала что-то. Уверившись, что завуч спит, она еще раз перечитала письмо. И тут ей показалось, что оно пахнет бензином. Она поморщилась. Вспомнила, как Виктор Павлович недавно сказал Алеше, когда тот решал у доски задачу: *«Ты, Костянок, весь бензином пропах»*. Сказал в шутку, и все засмеялись, а ей, Рае, почему-то стало стыдно. Она низко склонилась над письмом, сама себя

обманывая, будто бы стало темно и ей трудно разбирать его почерк. Нет, это запах бумаги. Тетради всегда так пахнут!

«Так почему же ты так переменилась?.. Я жду твоего ответа!»

Почему?

Впервые она серьёзно задумалась над этим. Но ненадолго, у нее не хватало еще терпения разобраться в своих чувствах.

«Почему, почему!.. Ничего я не переменилась! Какая была, такая и есть. Выдумал! Ну, встречались... Два раза каких-нибудь встретились. Так что ж из этого? А теперь — «ты меня любишь, а я тебя нет».

Ей понравились эти слова из песенки, и она хихикнула в ладони.

Но напрасно она притворялась, хотела отшутиться от собственных мыслей. Просто слишком труден был для нее этот вопрос, и она, как часто бывает в таком возрасте, искала ответа полегче. Да, когда-то Алёша нравился ей, и они встречались, потому что это было интересно, романтично, а к тому же можно было заодно насолить Кате, которая *«втрескалась в Алёшку черт знает как»*. Потом Алёша разонравился, и ревность к Кате прошла. Почему так случилось? Кто его знает!.. Разве не может так быть?

Рае никогда бы на ум не пришло, что в этом немалую роль сыграла её мать, давно не ладившая с Костянками. Увидев, что между её дочерью и сыном Степана Костянка завелась дружба, она хитро и незаметно, как подземный ручей, подтачивала чувства дочери. Как бы между прочим, когда к слову придется, она начинала рассказывать впечатлительной и изнеженной девушке: *«Алёша маленьким был кривоногий-кривоногий... И золотушный, из ушей текло...»*

В другой раз она припоминала давно забытую

деревенскую небылицу:

«Ведь этих Костянков когда-то сучкоедами дразнили. Дед их, не помню хорошо с кем — то ли со старшим, Антоном, то ли со Степаном, кажется со Степаном, хворост в лесу жег. А в хворост сучка забралась и изжарилась; они подумали, что заяц, да и съели».

Рассказывала она такие истории всегда в присутствии Раиных подруг, одноклассниц, и Рая начала стыдиться встреч с Алёшей, разговоров об их любви, шуток. Правда, она и раньше стеснялась, но то было совсем другое чувство. Раньше, когда о них говорили, было стыдно, но вместе с тем и приятно, щеки горели, а сердце сладко замирало. А теперь — стыдно и неприятно, обидно, и досада разбирает, так и хочется крикнуть шутникам: *«Что вы ко мне пристали? Знать я не хочу вашего Алёшу!»*

Это чувство еще усилилось, когда у них поселился Виктор Павлович...

Рая вдруг догадалась, что вычеркнуто в письме, — наверное, про Виктора Павловича, — и, разозлившись, разорвала письмо на мелкие кусочки.

«Дурак! И все дураки!»

Раю возмущало и обижало отношение одноклассников к ней и к Виктору Павловичу, их убеждение, что она будто бы из-за него отвернулась от Алёши. Ей не так обидно было за себя, как за своего учителя. После случая с фельетоном она не могла успокоиться недели две и возненавидела Алешу, который возвел на Виктора Павловича такой поклеп. Как они не разбираются в людях! Какие они все глупые, эти ребята! Да разве Виктор Павлович на это способен?! Разве может он сделать такую вещь?! Ведь это же самый умный, культурный и деликатный человек — настоящий интеллигент. Он поселился у них — и как бы внес новую жизнь, необыкновенную, красивую. Даже в доме все изменилось, стало как-то чище, больше порядка, и запах даже другой стоит—не парного молока и кислого

хлеба, а каких-то тонких духов. У Виктора Павловича все было самое лучшее: пульверизатор, сорочки, галстуки, носки, туалетный набор в кожаном футляре, желтый чемодан, авторучка. Ему даже электрическую бритву прислал из Ленинграда приятель; на нее приходили смотреть учителя и председатель сельсовета Ровнополец, Аксинья Федосовна потом говорила:

«Вот это человек культурный, не то что наши голодранцы… Хуже меня, колхозницы, живут».

Она не могла нахвалиться своим квартирантом: аккуратный, вежливый, из комнатки своей выходит — и то постучит: можно ли? Рая знала, что в школе завуч не такой обходительный, как дома, но считала, что иначе и нельзя с такими учениками, как у них. С ними поделикатничай — на голову сядут. Вот Бушила — тот совсем грубый, может разораться на всю школу, выгнать из класса, разорвать плохую работу. Однако… Бушилу, несмотря ни на что, все-таки любят, а Виктора Павловича — нет. Почему? Рая не раз думала об этом с горечью и обидой и каждый раз приходила к наивному выводу: от некультурности все это и зависит — не любят за то, что он лучше живет. Вот и мать ее тоже некоторые не любят — и тоже потому, что завидуют.

Виктор Павлович кашлянул у себя в комнате, осторожно приоткрыл дверь.

— Я не помешаю тебе, Рая?

Она вскочила, зажав в руке клочки письма.

— Нет, что вы!

Виктор Павлович, в пижаме, с красивым мохнатым полотенцем и голубой мыльницей, прошел на кухню.

Рая быстренько бросила письмо в печку и взялась за историю, прислушиваясь, как завуч фыркает, плещется. Потом он тихонько, на цыпочках прошел обратно, и стало слышно, как за дверью зашипел пульверизатор.

Вскоре Виктор Павлович вышел из своей комнаты в

полном параде. Посмотрел на часы.

— Займемся, Рая, а?

Рая обрадовалась предложению заняться музыкой, она не так любила играть сама, как слушать игру своего учителя. Помимо всего прочего, ей очень нравились мягкость и терпение Виктора Павловича и в особенности его похвалы.

Правда, начал он с того, что сам сыграл что-то незнакомое в бешеном темпе, даже подскакивая на табурете. Он это делал перед каждым уроком, как бы демонстрируя свое музыкальное мастерство.

— А теперь послушаем тебя. — Он уступил место девушке, а сам сел рядом.

Рая играла полонез Огинского, довольно посредственно по-ученически. Музыка никогда особенно её не захватывала, но, зная, что это нравится Виктору Павловичу, она делала вид, что во время игры ничто для неё не существует, что она вся в плену у музыки. Она тайком взглянула на учителя — как он реагирует? — и… увидела на глазах его слезы. Потрясенная, она бросила играть, повернулась. А он вдруг накло-нился и поцеловал ее руку, лежавшую на клавишах. Рая вскочила и шарахнулась от него, как от огня, испуганная, смущенная. Виктор Павлович, будто не замечая, как ошеломлена девушка этим поцелуем, рассеянно пробегал пальцами по клавишам и задумчиво говорил:

— У тебя золотые руки, Рая. Нельзя не позавидовать тебе. Ты понимаешь, какая тебя ждет будущность? А? Я всегда склоняю голову перед талантом. Нет ничего более святого… Талант — это…

Но Раю не порадовала на этот раз похвала, хотя и была она весьма щедрой, — впервые слова учителя показались ей неестественными и неумными. Поцелуй взбудоражил все ее существо. Она не понимала, как он может теперь с таким спокойствием говорить все эти

ненужные слова. Она не стала выслушивать его рассуждений о таланте, так как ни минуты не в состоянии была оставаться с ним наедине — ей было стыдно и страшно. Под предлогом, что забыла напоить корову, она выбежала из дому.

Аксинья Федосовна пришла с работы поздно, поужинала, поругала Волотовича: *«Широко размахнулся, как бы мимо не ударил. В районе на поводу у Бородки ходил, а здесь — новатор. Звено ему мое не нравится, весь колхоз, мол, на одно звено работает. А раньше сам поздравлял с рекордами… Костянки его в свои руки взяли, вот Снегириха и негожа стала. Я им сегодня на правлении все выскажу, будут знать!»* И она отправилась высказывать свои обиды.

Рая опять осталась одна с Виктором Павловичем. Правда, он сидел у себя в комнате, но она все время чувствовала его присутствие, напряжённо прислушивалась, вздрагивала от его кашля, шагов, боялась, что он выйдет, и в то же время ждала этого. Это бессознательное ожидание как будто чарами какими-то удерживало девушку дома. Она не могла ни читать, ни писать, ни заняться чем-нибудь, но не в силах была и уйти.

Она сперва обрадовалась, когда пришла Ядвига Казимировна. Эта преподавательница младших классов, всего на год старше Раи, единственная из учителей часто заглядывала к ним. Рая считала, что Ядя приходит ради неё, дружила с ней и гордилась этой дружбой. Они весело проводили вечера: шутили, бренчали на пианино, по очереди танцевали с Виктором Павловичем, пели или шумно играли в *«дурака»*. Викгор Павлович был остроумен, находчив, сыпал шутками. Часто к ним присоединялась и Аксинья Федосовна, радуясь за дочку, гордясь ее дружбой с *«настоящими людьми, которые не позволят себе никаких глупостей»*. Если Ядя задерживалась допоздна и ночь была темной, Виктор Павлович провожал ее домой, — она жила на другом конце деревни.

Ядя бесцеремонно забарабанила кулаком в дверь боковушки, вбежала туда и с хохотом вытащила Орешкина *«из берлоги»*, как она называла эту длинную, узкую комнату.

— Райка, сыграй что-нибудь веселое, а то у медведя Вити от сидения ноги затекли, ему надо размяться.

Рая играла, они танцевали. Ядя наступала завучу на ноги и громко смеялась. И тут впервые Рае показалось странным их обращение друг с другом, слишком фамильярным, бестактным, не таким, каким она видела его раньше. Она вдруг подумала, что не к ней ходит Ядя, что притягивает ее сюда не дружба со школьницей. Это оскорбило девушку, в сердце шевельнулась ревнивая неприязнь к Яде и злоба против Виктора Павловича: как он, завуч, разрешает так обращаться с собой! У нее испортилось настроение, пропало желание играть, развлекаться, вообще быть вместе с ними. Она придумала отговорку:

— Я тут бездельничаю, а работу по литературе не написала, и книжки нет. Задаст мне завтра Марина Остаповна! Придется к Кате бежать.

— Об уроках забывать нельзя. Уроки — в первую очередь, — поучительно сказал Виктор Павлович.

Ядя засмеялась.

— Счастливцы, кому не надо дрожать перед учителями. Я надрожалась — хватит, теперь хочу, чтоб передо мной дрожали… И не только ученики! — Она игриво погрозила завучу пальцем.

Рая выбежала на улицу и остановилась в нерешительности, не зная, куда направиться. К Кате она не могла пойти, она не заглядывала к ней уже несколько месяцев. А на улице холодно, морозный ветер пронизывает насквозь. Она подумала, что её выгнали из собственного дома, и готова была заплакать от жалости к себе, на ресницах ее застыли крупные, как горошины, слезы. Куда же идти, к кому? И тут, может быть

впервые, она почувствовала, что у нее нет настоящих друзей, что ей даже не к кому зайти. От этой, мысли стало не только больно, и обидно, но даже страшно. Невольно взгляд ее упал на освещенные окна в доме Шаблюка, Она подкралась, испуганно озираясь, заглянула в окно — нет ли кого у старого учителя? Нет, Данила Платонович один сидел у стола и читал. Тогда она, не колеблясь, зашла. Попросила:

— Позвольте почитать у вас, Данила Платонович, а то у нас… гости.

Сказала и испугалась: а вдруг он начнет расспрашивать, какие гости, кто? Но Данила Платонович приветливо кивнул головой.

— Садись, мне веселей будет. Я тут скучаю один. Хотел пойти на правление — Наташа не пустила… Как маленького. Вот как! Мать там?

Рая охнула про себя: какие же могут быть гости, если мать на правлении? Но снова врать не могла; пряча глаза, ответила:

— На правлении, — и подбодрилась: она сказала правду — гости у Орешкина, Данила Платонович, наверно, так и понял. Но мысль, что Ядя — гостья Виктора Павловича, углубила ее обиду и ощущение обмана.

— Ты что хочешь почитать? Выбирай.

— Мне по *«Поднятой целине»* работу надо писать.

Она забралась с книгой в мягкое кресло, на котором любила сидеть Наталья Петровна, и вдруг почувствовала себя так хорошо, уютно; начали куда-то отдаляться, глохнуть неприятные переживания этого вечера. В юности настроение меняется очень быстро, и это спасает юные сердца от тяжких ран. Пришла бабка Наста со своим неизменным вопросом:

— Не хочешь ли медку? — и развеселила Раю.

Данила Платонович тайком наблюдал за девушкой, с

интересом отмечая все изменчивые оттенки настроения. Его порадовало, что как будто намечается в ней какой-то перелом. Не зная, чем это вызвано, он, старый педагог, понимал одно — что в таких случаях взрослые должны быть особенно чутки, внимательны, тактичны. Главное — выяснить, что выгнало ее из дому. Он рассказал Рае содержание интересной книги об актёре, посоветовал непременно прочитать:

— Это тебе будет полезно!

Потом прочел вслух понравившееся ему стихотворение молодого поэта — о первой любви, обратил ее внимание на то, как тонко передано чувство юноши. Еще чем-то отвлек Раю и только потом, через час, не меньше, совсем просто, как бы между прочим, спросил:

— Кого там принимает Орешкин? Рая вспыхнула.

— Да так. Ядвига Казимировна… и Марина Остаповна. Играют… А мне уроки готовить надо.

Старик уловил заминку и понял, что в гостях у Орешкина только одна преподавательница. Но кто именно? Приходченко — маловероятно, хотя в этом случае легко было бы понять девушку. Шачковская — это вернее, она часто заходит. Но что тогда взволновало Раю и заставило сбежать из дому? Не ревность ли? *«Надо будет поговорить с Аксиньей — пусть последит… А то как бы беды не вышло…»*.

25

Инструктор обкома, добросовестно проверивший все связанное с фельетоном и письмами, присланными в редакцию и обком, сделал обстоятельный доклад. Лемяшевичу казалось, что инструктор докопался до самых глубин и вот-вот назовет настоящие фамилии авторов. Нет, фельетон пришел в редакцию, напечатанный на машинке. К нему приложено было письмо, в котором авторы обращались в редакцию с просьбой напечатать их *«статью»* и сообщали, что они — преподаватели этой же Криницкой школы и не

возражают, чтобы под *«статьей»* стояли их фамилии. *«Наша комсомольская совесть заставляет нас говорить правду в глаза»*, — писали они.

— Но таких преподавателей нет. Во всяком случае, в этом районе… Я, между прочим, сверил почерк всех криничанских преподавателей. Ничего похожего!

— Опытный клеветник, — заметил кто-то из членов бюро. Заместитель редактора Стуков, взволнованный, нервно оглядывался на присутствующих, виновато улыбался Лемяшевичу и то и дело вытирал пестрым платком лысину и покрасневший нос.

Бородка сидел на другом конце длинного стола, покрытого зеленым сукном, ближе к столу секретаря обкома Малашенко, который вёл заседание. Артем Захарович, не в пример заместителю редактора, держался очень спокойно, как будто всё, что тут разбиралось, не имело к нему никакого отношения. Закинув руки за спинку стула, он сладко зевнул, как бы показывая, что все это ему неинтересно и скучно. Но, должно быть заметив, как сердито нахмурился при этом Малашенко, он сразу переменился: на лице появилось внимание и даже беспокойство. Он наклонился над столом, записал что-то в блокнот, потом взял синий стакан и, вертя его в руках, внимательно рассматривал выгравированный на нем узор.

Стуков, когда ему дали слово, вскочил, как школьник, и начал вытаскивать из кармана какие-то бумажки, газетные вырезки и целые газеты, как будто бы готовился к длинному докладу.

— Вы не вздумайте оправдываться, — предупредил его Малашенко. — А то у вас есть такая привычка: доказывать, что черное — белое.

— Нет, я не собираюсь оправдываться, — торопливо заверил редактор и как бы в подтверждение отодвинул от себя на середину стола все свои бумажки. — Все, что сказал товарищ Кандыба, правильно от начала до конца. Виновата редакция. Я… я, товарищи, виноват. Я

ограничился тем, что позвонил товарищу Бородке. Да, я поверил ему, поверил слову первого секретаря райкома, — с обидой и упреком в голосе повернулся он к Бородке. — Я тебе поверил, Артём Захарович. Кому, как не тебе, знать своих людей! Кому?

Он умолк, глядя в упор на Бородку. Тот взглянул на оратора, улыбнулся и укоризненно покачал головой:

— Нервы, товарищ редактор...

— Да, Артём Захарович, нервы, — грустно согласился Стуков и сел.

— Товарищ Бородка, ваше слово.

Артем Захарович встал, поправил галстук и аккуратно поставил стакан рядом с графином.

— Не отрицаю, что товарищ Стуков мне звонил. Помню — был такой у нас разговор. Но у меня в это время шло заседание бюро, было полно людей. Кажется, я даже выступал в тот момент, когда зазвонил телефон. Одним словом, занят был важными делами...

— А судьба человека — для вас не важное дело? — спросил Малашенко.

Бородка быстро повернулся к нему.

— Не о судьбе шла речь, Петр Андреевич! Речь шла о критической заметке, каких десяток в каждой газете. Редактор сообщил, что есть письмо преподавателей, в котором критикуется директор. А у товарища Лемяшевича были ошибки... были, он сам не станет отрицать. Мне рассказывали коммунисты, колхозники. Случалось, пропускал и чарку товарищ... И в лавке запирались с бывшим председателем колхоза и с предсельсовета, был такой факт... Мне об этом тоже рассказывали... Так почему, рассудил я, для пользы дела не покритиковать молодого работника? Неужели сразу нужны организационные выводы? Критика — лучший метод воспитания.

— Странно вы пользуетесь этим методом, — сказал Журавский, который специально приехал на заседание бюро, так как письма о фельетоне были получены не только в обкоме, но и в ЦК. Это шло не по его отделу, но он решил поехать сам. Роман Карпович поднял газету с фельетоном. — А если б все это оказалось правдой, вы что же, не сделали бы выводов?

— Товарищи! — с большим пылом и убедительностью заговорил Бородка. — Я не знал содержания всего фельетона, я имел в виду обыкновенную заметку.

— Неправда! — возмущенно крикнул Стуков. — Я прочитал тебе весь фельетон!

Бородка пожал плечами.

— Не помню. У меня было бюро. Кстати, я не привык решать дела по телефону.

— О нервах ты помнишь.

— О каких нервах?

— Ты ругался, что не дают покоя, что у тебя и без того забот хватает. Я посоветовал тебе полечить нервы…

— Полечите свои, товарищ Стуков. Фантазия у вас журналистская… Не выдавайте плоды своей фантазии за факты… А мне и в самом деле не до ваших редакционных дел!

Стуков разволновался ещё больше, вспотел, придвинул к себе свои бумажки, хватаясь за них, как за якорь спасения.

— И не верю я вам, что у вас шло бюро. В присутствии посторонних так не разговаривают!..

— Успокойтесь, товарищ Стуков, — остановил его Журавский, внимательно слушавший их спор.

Стуков опять отодвинул бумажки и вытер лысину. Бородка со злостью кинул ему:

— Хотите свалить с больной головы на здоровую…

— Головы одинаковые, — заметил секретарь обкома и сурово спросил: — У вас всё, товарищ Бородка?

Теперь Лемяшевичу наконец стало ясно, как и почему появился фельетон. Но ему ещё больше захотелось узнать, кто же автор. Кто написал этот поклёп? И как это он так хитро замаскировался?

Об этом он и сказал. Сказал, что теперь не сомневается, что писали не двое, а один, и что человек этот находится у них в коллективе в Криницах; что субъект такой страшен — уж если он умеет так маскироваться, то, верно, не впервой ему писать анонимки, не впервой клеветать. О своих отношениях с Бородкой он промолчал, счел нетактичным говорить о них здесь, только честно рассказал о выпивке в сельпо, о которой опять упоминал Бородка, и заметил, что у секретаря райкома было довольно времени, чтоб разобраться в этом факте. Ведь разобрался же инструктор обкома, учёл все обстоятельства. Нельзя руководителю без конца попрекать подначального за небольшую ошибку. Очень возможно, что эти попрёки и дали какому-то мерзавцу основание возвести поклёп.

Пока Лемяшевич говорил, Бородка не поднимал головы, рисуя на бумаге большие замысловатые буквы. Но когда Лемяшевич кончил, он взглянул на него и дружелюбно улыбнулся, как бы одобряя все, что тот сказал.

Выступали члены бюро, и все крепко критиковали газету и Стукова, три месяца замещавшего больного редактора, критиковали порочный кабинетный стиль работы, вспоминали другие ошибочные выступления газеты.

— У вас же, товарищ Стуков, дошло до того, что *«лучший»* ваш корреспондент Курлович, не выходя из собственной квартиры, давал письма об уборке из Светловского района. А на самом деле он полгода не был там! — говорил секретарь обкома по пропаганде. —

А это, оказывается, и ваш стиль работы. И вы собираете материал по телефону.

Стуков сидел понурив голову и молчал.

Бородку задевали мало, между прочим, рикошетом, как говорится. И он опять сидел, закинув руки за спинку стула, спокойный, самоуверенный, смотрел на выступающих и изредка в знак согласия кивал головой.

Поднялся Малашенко, привычным жестом пригладил волосы, написал красным карандашом на бумаге какие-то цифры и начал говорить — без отступлений, сразу о деле.

— Тут правильно говорили о редакции, о стиле работы. Я не буду повторяться. Ясно. Газета, наша газета, товарищи, орган обкома — вдумайтесь в это! — оклеветала трех честных коммунистов. Это вызвало решительный протест интеллигенции, колхозников, учащихся. Писали коллективно и в одиночку, в редакцию и в обком… Вот они, письма! — Он взял пачку листков из ученических тетрадей и конвертов, сколотых скрепкой. — Они — свидетельство того, как живо, с какой активностью реагируют простые люди на выступления печати. Подумайте об этом, товарищ Стуков. Обсудите письма у себя в редакции. Да, именно обсудите! Однако я хочу сказать о другом… О человеке, по чьей вине появился этот, с позволения сказать, *«клеветон»*, как его справедливо назвали в одном письме, — о вас, товарищ Бородка! — Голос секретаря обкома зазвучал сурово.

Бородка заметно вздрогнул и уставился на говорившего.

— Вы тут прикинулись, что ничего не помните, что у вас шло бюро, что вы решали более важные дела. А человек, коммунист — это для вас не важно?.. А если б вам позвонили, например, об аресте Лемяшевича, вы тоже отмахнулись бы, санкционировали бы, не вникая в суть?.. Вы продолжали бы решать *«важные дела»*?..

По лицу Бородки пошли красные пятна.

— Вы забыли, что все дела в партии решаются с людьми и для людей. Нет у нас дел абстрактных. А вы, товарищ Бородка, помня о *«деле»*, забываете о людях.

Присутствующие посматривали на Бородку, ожидая его реплик, протестов, зная, как метко он умеет бросать эти реплики, сбивать ораторов. А с Малашенко он на *«ты»* — старые приятели, и потому вряд ли Бородка растеряется и сейчас. Но, ко всеобщему удивлению, Бородка молчал и даже не смотрел на выступающего, а разглядывал свои большие красные руки, лежавшие на столе, на листах чистой бумаги. Его поразило одно обстоятельство: слова Малашенко казались удивительно знакомыми, где-то он их уже слышал. Но когда и от кого? Он никак не мог припомнить, и это мешало ему непосредственно реагировать на обвинения секретаря обкома.

— А в данном случае Бородка просто утратил принципиальность и объективность партийного руководителя. Он отомстил Лемяшевичу за критику…

Артем Захарович вдруг вспомнил, кто раньше говорил эти же слова, — Волотович, — и быстро повернул голову, набычился, готовый ринуться в бой.

— Лемяшевич возмущался некоторыми аморальными поступками секретаря райкома…

— Я протестую! — Бородка хлопнул ладонью по столу.

— Против чего вы протестуете? — резко спросил Малашенко, подавшись вперед.

— Вы не имеете права!

— Что? Вас критиковать?

Кто-то из членов бюро засмеялся. Журавский перешел от окна, где он сидел до сих пор, к столу секретаря, сел рядом с Малашенко и спокойно сказал:

— Товарищ Бородка! Не забывайте, что вы на бюро обкома… а не у себя в районе, где, говорят, вас и в самом деле боятся критиковать. Лемяшевич вот попробовал… так вы тут же хотели перевести его в другую школу. А проще говоря — выжить. Не вышло…

— Обком вмешался, потому не вышло, — подхватил Малашенко. — Нет, товарищ Бородка, члены бюро должны знать всю подоплеку… И должен вас предупредить: если вы не сделаете надлежащих выводов, мы ещё вернемся к вашему поведению… Учтите. А вы, товарищ Лемяшевич, напрасно тут проявили ненужное благородство и не рассказали, как от вас хотели избавиться… Или тоже испугались? Вы хорошо начали… Так и продолжайте—режьте правду в глаза. Принципиальных людей партия всегда поддержит! Думаю, товарищи, все ясно? Предлагаю Стукову и Бородке за потерю принципиальности объявить выговор… Есть другие предложения?

Стуков вздохнул явно с облегчением и что-то зашептал своему соседу.

Бородка тяжело встал, оперся карандашом о стол, карандаш сломался, он с раздражением бросил его.

— Я протестую против такого решения!.. Я член обкома. Я буду жаловаться в ЦК…

— Пожалуйста. Ваше, право, — сказал Журавский.

— Вы навязываете членам бюро свою волю. Нарушаете партийную демократию!

— Не знал, что ты такой защитник демократии, — усмехнулся Малашенко.

— Почему *«навязываем»*? Мы высказали свою мысль, внесли предложение… А вы доказывайте, что это не так. Доказывайте, что вы правы. Я лично так понимаю демократию, — Журавский развел руками.

Бородка ничего доказывать не стал, сел на место.

— А может быть, чересчур строго, Петр Андреевич? — неуверенно спросил председатель облисполкома, добродушный толстяк. — Может, предупредим?

— Что ж, если других предложений нет, будем голосовать два.

Проголосовали за выговор.

Лемяшевич вышел из обкома со сложным и противоречивым чувством. Было удовлетворение оттого, что правда победила, что такая высокая партийная инстанция чутко и внимательно отнеслась к делу рядовых коммунистов, что криничане прочитают опровержение этого злосчастного фельетона. Сердце его было полно благодарности к тем добрым людям, известным и неизвестным ему, которые написали письма, лежавшие на столе у секретаря. Лемяшевич знал только об одном, а их — вон сколько! Жаль, что не было здесь Ровнопольца, который не очень верил в победу.

Нет, когда ты убежден в своей правоте, тебе нечего бояться: дисциплина в партии одна для всех! Все это так. Но Лемяшевич не злорадствовал по поводу поражения противника. Вот и сейчас. Он не только не радовался, что Бородка получил взыскание, ему это было неприятно, обидно. Он не оправдывал Бородку как человека, как коммуниста, с которым они равны перед Уставом партии, но ему горько было за Бородку руководителя. В институте он два года был секретарем партбюро факультета, был в парткоме и хорошо понимал, какой это высокий и почетный пост — партийный руководитель! А ещё неприятно было от мысли, что Бородка с его характером, наверно, не успокоится, опять сделает какой-нибудь выпад, опять придется тратить силы, энергию на борьбу, которая не помогает, а мешает работе. *«Ну, если он начнет вновь — я его на конференции так разукрашу!..»*

Он вспомнил, как после рассмотрения их вопроса в вестибюль вышел Журавский, остановил их обоих — его, Лемяшевича, и Бородку — и шутливо сказал: *«Что*

ж это вы не поладили? Мне просто неудобно… Я вас рекомендовал…»

Он имел в виду не только то, что посоветовал Лемяшевичу ехать в этот район; он когда-то и Бородку рекомендовал на свое место. Но Бородка это уже забыл и ответил раздраженно и неприязненно: *«А вы меньше протежируйте — лучше будет для дела»,* — и отошел к знакомым, дожидавшимся своей очереди на бюро.

Журавский почувствовал себя неловко и ограничил разговор с Лемяшевичем тем, что осведомился, как он живет, и попросил передать Костянкам привет и извинения, что не может заехать к ним.

С такими чувствами и мыслями ходил Лемяшевич по городу. Обошел магазины, заглянул в облоно, в библиотеку. До отхода поезда оставалось ещё много времени, и он решил зайти в школу, где преподавал один его однокурсник.

Падал снег. Лемяшевич медленно шел по скользкому тротуару, осматривал новые дома, вглядывался в лица людей. Вдруг, обогнав его, резко, так что завизжали тормоза, остановилась *«Победа»*. Из нее выглянул Бородка:

— Лемяшевич! Вы куда? Дружески-приветливый голос секретаря смутил Михаила Кирилловича.

— Да так… гуляю…

— Дожидаетесь поезда? Долго, ещё ждать. Садитесь, поедем вместе. До школы довезу, я к вам в МТС еду.

Предложение заманчивое — не надо будет думать, как добраться из райцентра, а ведь поезд приходит поздно вечером, когда надежды на случайную машину почти нет. Но слишком уж врасплох захватило его это неожиданное предложение, он колебался. *«Человека этого невозможно понять»*.

— Да у меня вещи на вокзале…

Бородка хитро усмехнулся, должно быть все понял, — он любил удивлять людей.

— Захватим и вещи… Трудно ли…

Вещи — два пакета книг, которые Лемяшевич, чтобы не таскать, сдал в камеру хранения.

Когда он принес пакеты и бросил их в машину, Бородка сказал:

— Книги? — И после длинной паузы, когда уже отъехали от вокзала, спросил: — Пишете свою диссертацию?

— Нет, не пишу, но обдумываю… Собираю материал.

— Завидую я вам… Спокойная у вас работа… читай, пиши.

Лемяшевич не выдержал и засмеялся; его развеселило явное желание секретаря пожаловаться на свою судьбу.

— Не такая уж она спокойная.

Бородка повернулся — он сидел рядом с шофером, — подозрительно посмотрел на спутника — почему засмеялся? — сухо заключил:

— Конечно, спокойных работ не бывает… — Но сказал это с такой интонацией, которая заставляла мысленно продолжить: *«Спокойных работ нет, но ваша — все-таки не то, что, например, моя»*.

Он молча достал папиросы, предложил Лемяшевичу, сам жадно затянулся и вперил задумчивый взгляд в снежную муть.

Снег густел. Он залеплял ветровое стекло машины. Прилежно и неустанно трудились *«дворники»*, сметая снежные хлопья. Шофер убавил скорость и, наклонившись к баранке, зорко вглядывался в дорогу. Разнообразные по форме, большие и маленькие снежинки летели, кружились перед машиной,

вихрились по сторонам. Причудливая и манящая красота была в этом их кружении и полете. Она зачаровывала, наполняла ощущением бесконечности движения, рождала спокойную торжественность в душе и в то же время какие-то смутные образы, мечты, как будто ты задремал и погрузился в другой, нереальный мир. Но и от этого Лемяшевичу было хорошо. На душе становилось легко-легко, забывались все неприятности, все житейские заботы. Не хотелось нарушать это торжественное настроение словами. Должно быть, то же чувствовал и Бородка. Они молча курили.

Еъехали в лес, и снежинки вдруг как бы замедлили свой стремительный бег. По обе стороны дороги высились старые сосны, ветви их нависали над шоссе. Звездочки снежинок разбивались о ветки, и вниз медленно сыпался редкий, легкий снежок. Сразу исчезло ощущение стремительности движения, но возникло новое чувство—восторга перед величием и красотой леса. Важно и торжественно кланялись машине редкие березы и дубы, на которых там и тут висели отягченные снегом коричневые листья. Сосны, похожие, как сёстры, стояли по обе стороны дороги сплошной стеной, величаво вздымая в белое небо свои снежные густые шапки. Казалось, что под этими соснами как-то особенно уютно и даже тепло. Нет, не казалось, а вспомнилось обоим бывшим партизанам, потому что когда-то такой же лес был для них и на деле самым желанным и надежным убежищем.

Артём Захарович открыл переднее окно, выбросил окурок, снежинки холодной струей ворвались в машину.

— Хороша будет завтра пороша, — заметил Лемяшевич, бросая и свой окурок.

Бородка быстро обернулся, в глазах его блеснули азартные огоньки.

— Вы охотник?

— Без стажа. Года два, как приобрел ружье. Не подстрелил ещё ни одного зайца, если по совести... На

тетеревов осенью удачно ходил…

— Завтра суббота, да? Послушайте, давайте пойдем в воскресенье на зайцев. Чудесные места знаю.

— Я всегда готов, — согласился Лемяшевич. Шофёр с улыбкой покачал головой.

— В воскресенье совещание льноводов, Артем Захарович, Бородка хлопнул себя по лбу.

— Ах, черт возьми! Совсем забыл… И вот так каждый раз! Два года не могу вырваться. А я как раз охотник со стажем, с детства.

Он отвернулся, опять закурил и, не поворачивая головы, вглядываясь в дорогу, сказал:

— Вот… А вы говорите… Для вас это просто. Накупил книг — и читай… Вздумал на охоту пойти — пошёл… А у меня тысяча дел, и за все бьют. В голове не умещаются… Вы, конечно, уверены, что я это сделал нарочно? Признавайтесь, — он глянул на спутника через плечо.

Лемяшевич сказал откровенно:

— До заседания не думал, на заседании меня убедили…

— Убедили? — Бородка даже крякнул. — Кх-м… И вы радуетесь победе?

— Я не о себе думаю. Пятно легло на трех коммунистов и… на звание учителя… На звание! Помните, мы говорили с вами… А вообще мне обидно за своего партийного руководителя.

— Вы не ханжите, Лемяшевич. И не говорите громких фраз. Не люблю. Это — от желания поставить себя в более выгодное положение в споре с человеком, который не может, не имеет права, если хотите, доказывать свою правоту на таких же высоких нотах. Поставьте себя на мое место!

— А я вам скажу, что это не свидетельство силы — выставлять себя мучеником: *«Я один всё делаю, и меня одного бьют»*.

Бородка резко повернулся, лег грудью на спинку, в глазах его блеснули знакомые искры гнева.

— Вы безжалостный человек, Лемяшевич… Но непроницательны, необъективны… Никогда в жизни я не жаловался, и никто, кроме вас, меня в этом ещё не попрекнул! Вы попали пальцем в небо… Я о другом хотел сказать… Те, кто вас переубедил… все их доказательства ни черта не стоят. Я тоже мог бы доказать, что это ерунда, что нельзя валить все в одну кучу, как это сделал уважаемый Петр Андреевич. Однако я отвечаю и за ваше имя, и за честь Полоза, и за все остальное в районе! Значит, косвенно — и за фельетон, за его появление. Косвенно… Но поверьте мне, как человек человеку, что я и в самом деле не помню содержания разговора с редактором. У меня и в мыслях никогда не было мстить вам. Я выше этого… Можете вы поверить?

— Хочу… Мне больше, чем кому другому, неприятна вся эта история. Но… не верить тому, что говорилось на заседании… Не могу!

Бородка отвернулся, поудобнее устроился на сиденье. И Лемяшевич видел, как наливалась густой кровью его шея… *«Неужели гипертоник?»* — подумал он, по-человечески жалея этого здорового на вид и сильного мужчину.

Больше они к этой теме не возвращались. Говорили о другом: об охоте, о колхозах, мимо которых проезжали.

В Криницах Бородка, миновав школу, подвез Лемяшевича к колхозной канцелярии, где как раз собрались Волотович, Полоз, колхозники.

Бородка тоже зашел в контору и задержался — он любил и умел поговорить с людьми. Лемяшевич с некоторой ревностью и неприязнью слушал его беседу с

колхозниками. Многое ему не нравилось в поведении и манерах Бородки. Зачем он привез его, Лемяшевича, в контору, хотя мог высадить у школы? Михаил Кириллович не сразу догадался, что Бородка сделал это нарочно, чтобы показать свое беспристрастие. Не понравилось, как он спросил у колхозников:

— Ну, товарищи, хорошего мы вам председателя дали? Довольны? То-то… Райком вашему колхозу — все внимание… А остальное уже от вас зависит… У вас теперь есть все возможности через годок-другой догнать Орловского. Слышали про такой колхоз *«Рассвет»*? По двадцать рублей на трудодень выдает…

Лемяшевич видел, как иронически улыбнулся и покачал головой Волотович и переглянулся с Полозом. Бухгалтер не удержался — заметил:

— Через годок-другой?.. Такие чудеса только в сказках бывают…

— Ну, ты известный скептик, — безнадежно махнул рукой Бородка. — Вы со своим Мохначом… и за десять лет не могли бы…

— Мохнач не мой, а ваш, — уже раздраженно перебил Полоз. — Вы его нам рекомендовали…

Бородка знал, что этого ершистого Полоза только зацепи, так он все выложит, поэтому не стал ему отвечать, а обратился к колхозникам:

— За животноводство надо браться… Свиней выращивать… Это — верная прибыль… У нас есть все условия, а мы запустили этот участок.

Поговорив о том о сём, колхозники стали понемногу расходиться, полагая, что секретарю, верно, надо потолковать с руководителями колхоза, — не зря же он приехал! И вот тогда в контору вошла Аксинья Федосовна, раскрасневшаяся, решительная. Только с Бородкой поздоровалась за руку. Воло-тович взглянул на неё и укоризненно покачал головой. Он догадывался,

зачем она пришла, и не ошибся.

— А я к тебе, Артём Захарыч, с жалобой, — сказала она, садясь к столу против секретаря.

— На кого?

— Да вот на них, на нового председателя и на бухгалтера — своячка моего. Звено мое решили закрыть…

— Как это закрыть?

— Да так… Не нравятся им мои рекорды. Говорят, на меня весь колхоз работает, а я сижу, как пани, и только славу пожинаю, в славе купаюсь…

— Погоди, Аксинья, — остановил её Андрей Полоз. — Ты только говори как есть, а насмешки разные оставь. Никто твоего звена не закрывает…

— Это как же не закрывает, когда земли решили не давать. Твое же предложение, своячок! — накинулась она на Полоза.

Волотович с облегчением вздохнул и поблагодарил в душе Полоза, принявшего весь огонь на себя.

— Моё! Я и сейчас говорю: хватит подносить тебе все готовенькое… Если уж рекорд, так давай настоящий…

— Готовенькое! Значит, это ты за меня сеешь, полешь, теребишь, треплешь… Это у меня оттого, что я сижу, как пани, руки такие? — Она сунула свои ладони в самое лицо Полозу, а потом сжала кулаки.

— Погодите, товарищи, — остановил их Бородка. — Объясните толком — в чём дело?

— Да дело ясное, товарищ Бородка. Вы и сами знаете. Создали звено и искусственно раздуваем его славу… Нянчимся, как с капризным ребёнком. В особые условия его поставили. Все лучшее — ему: неограниченное количество удобрений, лучшие

лошади, машины… Лучшие люди…

— Нет, главное — земля, — не удержался и вступил в разговор Волотович.. — Спор начался из-за земли… Аксинья Федосовна требует самый лучший участок… И не хочет считаться с тем, что эти семь гектаров перерезают поле… Да и вообще не под лён эта земля предназначена… Огородная земля… А у нас льна — семьдесят гектаров… Массив… Из этого массива мы даем ей любой кусок.

— Ай-ай! Ну и спелись! Быстро! — насмешливо покачала головой Снегириха. — Скажите лучше: не нравится вам Аксинья Федосовна. Костянки больше по сердцу… Ну, известно, они культурные, у них полный дом интеллигентов, — она неприязненно глянула на Лемяшевича, который сидел поодаль и молча слушал.

«И беспокойная же баба!» — подумал он.

— Да при чем тут Костянки! — разозлился Полоз. — Аня работает не хуже тебя и не требует, чтоб её на руках носили.

— А меня кто носил? Ты? — Снегириха вскочила и стала наступать на Полоза.

— Успокойтесь, Аксинья Федосовна, — мягко остановил её Бородка.

Он сразу же понял, что тут происходит, но понял, как всегда, по-своему. Звено Аксиньи Федосовны — его инициатива. Он как только мог тянул его и всё время поддерживал. И вот теперь это его детище хотят уничтожить. Он знал, что, если не создавать этих особых условий, рекордного урожая Аксинье Федосовне не вырастить. И он был уверен, что Волотович делает это сознательно — нарочно уничтожает то, что создавал он, Бородка, чтоб *«насолить»* ему, доказать, что все его начинания, все рекорды ничего не стоят. В душе секретарь кипел так же, как и звеньевая, если не больше. Но присутствие Лемяшевича напоминало ему про бюро обкома, и он сдерживался.

— Товарищи, а вам не кажется, что вы ошибаетесь? — мирно спросил он, обращаясь, впрочем, к одному Волотовичу.

Тогда вмешался Лемяшевич.

— Вы не думайте, что это мнение только Волцтовича или Полоза. Об этом весь колхоз говорит.

Аксинья Федосовна не дала ему кончить, повернулась, окинула Лемяшевича пренебрежительным, каким-то даже брезгливым взглядом.

— А вы, директор, у себя в школе порядок наводите… Тут и без вас разберутся.

— Почему же, я хочу и здесь помочь. Я живу среди людей и слышу, о чем они толкуют…

— Костянки, скажите, а не люди!..

— Погодите, потом спорить будете, — поморщился Бородка и сжал ладонями виски. Но тут же страдальческое выражение лица сменил на озабоченно-деловое, официальное. Секретарь раскрыл блокнот и заговорил, словно читая по писаному: — Вы должны понять, что мы не можем отталкивать от себя передовиков. Это неправильная, нездоровая тенденция. Передовиков поддерживают везде, на любой шахте, любом заводе… Без поддержки невозможны были бы ни новые методы, ни изобретения… Никакие рекорды… Никакие новаторы… Создать передовикам надлежащие условия — святой долг руководителей.

— Нормальные условия — да. Но известно, что ни одному шахтеру не строят специальной шахты, а сталевару — печи, — заметил Лемяшевич.

— Не перехватывайте. Неужто больше пользы будет для колхоза, если Аксинья Федосовна обидится… бросит звено?.. Подумайте.

— И брошу! — подхватила звеньевая.

— Ну и бросай, — сердито брякнул счетами Полоз. — Если ты ради одной славы работаешь, а на колхоз тебе наплевать — бросай! Найдутся люди и кроме тебя!

— Товарищ Полоз! — укоризненно сказал Бородка.

— Тебе давно хочется, чтоб я ушла! Видно, я у тебя поперек дороги стою... Завидуешь?

Бородка понимал, что ему трудно спорить против таких действующих заодно противников, как Полоз, Волотович и Лемяшевич. Но и сдаться он не мог. Отступить хоть на шаг — значило потерять авторитет у этой женщины, которая так безгранично верит в его силу и власть. Чтоб прекратить спор, он солидно произнес:

— Вопрос принципиальный. Давайте перенесем на бюро, А пока подумаем, посоветуемся.

— Почему сразу на бюро? — возразил Волотович. — Разве это имеет значение для всего района? Не лучше ли сначала поговорить на колхозном собрании? Послушать, что скажут колхозники?

Бородке пришлось согласиться, хотя он чувствовал, что это для него ещё одно поражение. Два поражения в один день! Аксинья Федосовна все старалась заглянуть ему в глаза, но он отводил взгляд. Она вздохнула и попрощалась со всеми разом кивком головы и коротким *«бывайте»*.

26

Лемяшевич так изучил десятый класс, что сразу чувствовал настроение ребят. А это чрезвычайно сложная и интересная штука — настроение коллектива. Особенно сложно оно в коллективе юношеском, где всегда налицо множество самых неожиданных оттенков — радости и взволнованности, веселья и грусти, тревоги и настороженности.

Он пришел на урок и сразу увидел: класс взволнован и

даже возмущен. Случается, что класс прячет свое настроение, и тогда, как ни допытывайся, ничто не поможет узнать, в чем дело. Но на этот раз Лемяшевич почувствовал, что ребята сами хотят рассказать ему обо всем. И в самом деле — стоило ему в конце урока начать разговор на посторонние темы, как Левон Телуша тут же сообщил:

— Михаил Кириллович! Костянок двойку по физике получил.

Выпускники боролись за то, чтоб не иметь ни одной двойки, и естественно, что двойка в конце полугодия, когда подводятся итоги, взволновала класс. Но Лемяшевич видел, что дело не в этом или не только в этом. Класс считает, что двойка поставлена несправедливо, вот что главное! Правда, они не сказали об этом ни слова. Но то, как они переглянулись, то, что сообщил о двойке самый авторитетный из учеников, отличник, подтвердило его предположения.

Он поверил классу, поверил, что Орешкин по отношению к Алёше мог быть несправедлив, и в душе тоже возмутился. Но положение директора обязывало его, вопреки личным чувствам, встать на защиту преподавателя. Сделав вид, что он ничего не понял, Михаил Кириллович укоризненно покачал головой.

— Что ж это ты, Алёша! Конец полугодия! Надо немедленно исправить!

Он увидел, как ученики разочарованно опустили глаза и как покраснел Алёша, до тех пор смотревший на него ясным взглядом с чуть пренебрежительной усмешкой: *«Что мне эта двойка, если она поставлена несправедливо!»*

На перемене, в учительской, Лемяшевич спросил Орешкина:

— Что там у вас с Костянком?

— Двойка. — Виктор Павлович погладил сердце. —

Двойка. Неприятно, но факт.

Данила Платонович поднял на лоб очки.

— По физике у Алеши двойка? Хм... — И больше ничего не сказал.

— Какая тема? — спросил Лемяшевич после паузы.

— Генератор переменного тока. — Завуч отвечал равнодушным тоном, давая понять, что он не придает происшествию никакого значения.

— Странно. Неделю назад он ремонтировал этот генератор...

— Видите, то — практика, в механизмах он разбирается, а здесь — теория... Учить надо! Посидеть! А?

— Практика! Теория! — возмущенно вмешался Адам Бутила. — Он во сто раз лучше вас знает генератор!

Орешкин вспылил.

— Михаил Кириллович!.. Я прошу меня оградить... Я не позволю, чтоб ставили под сомнение мою принципиальность!.. Я буду жаловаться. Ваш Костянок просто разленился, задрал нос... Он считает, что ему все можно...

Это был одновременно удар и по Лемяшевичу: вы, мол, попрекали меня поведением ученицы, в доме которой я живу, так вот вам — полюбуйтесь на ученика, с которым вы сидите за одним столом.

— Что ему можно? — вскочил Бушила, который раскусил этот хитрый выпад завуча.

Орешкин развел руками, обращаясь сразу ко всем преподавателям:

— Согласитесь, товарищи, что невозможно спорить, когда в дело вмешиваются родственные чувства.

Неизвестно, что ответил бы на это Бушила, если б его

не остановил Данила Платонович.

— Адам! — сурово и властно прикрикнул он.

Бушила махнул рукой и отошел к окну, повернувшись ко всем спиной.

Завуч нервно заходил по комнате с обиженным и оскорбленным видом.

— Я не понимаю… Я не могу понять, что у нас происходит… Если мне не верят, пожалуйста, приходите на уроки, послушайте… Двери открыты…

— Бросьте, что это вы все такие нервные! — вдруг примирительно заговорила Приходченко. — Какие могут быть разговоры о том, что кто-то вам не верит! Виктор Павлович! Ведь вы же завуч школы. На вас лежит ответственность за успеваемость, за весь учебный процесс… Как мы можем вам не верить!

Она говорила совершенно серьёзно, а между тем явно издевалась над ним, и, вероятно, один Орешкин этого не заметил.

Лемяшевич молчал. После случая с фельетоном в коллективе установились хорошие, сердечные взаимоотношения, и ему очень не хотелось, чтоб они были нарушены и испорчены. Только оставшись с завучем вдвоем, он предложил или, вернее, мягко посоветовал:

— Вы спросите Костянка ещё раз, Виктор Павлович.

— Само собой разумеется, — мирно согласился тот. Возможно, что этим, как говорят дипломаты, инцидент был бы исчерпан: Орешкин отомстил Алёше за его подозрения и на большее, пожалуй, не решился бы, встретив такой протест преподавателей. Но Алёша, которого эта двойка мало тронула, но котбрый в то время мучился из-за того, что Рая не отвечает на его письма и по-прежнему упорно избегает встреч, написал ей последнее и самое решительное письмо. Там он, хотя и между прочим, однако вложив в это всю силу своей

неприязни, дал завучу несколько метких характеристик. А Виктор Павлович весьма внимательно следил за своей ученицей, так внимательно, что не стеснялся подглядывать в щель, даже когда она раздевалась, укладываясь спать. И это письмо тоже попало к нему, как и некоторые другие. Два дня он себе места не находил от злости и раздражения, перечитывая снятую им копию. Он даже вознамерился было показать письмо Лемяшевичу, преподавателям. Пускай посмотрят на своего любимца, пускай увидят, на что он способен. Но отказался от этого намерения: нельзя себя выдавать! И он решил действовать по-прежнему.

В класс Виктор Павлович пришел возбуждённый, веселый, весь урок посвятил повторению пройденного, учеников вызывал с шуточками и даже, когда кто-нибудь отвечал слабо, не ругал и не сердился, а мягко укорял, посмеивался. Но, несмотря на такое его настроение, ученики сидели настороженные, недоверчивые. Он ходил по всему классу, держа правую руку под бортом пиджака и время от времени поправляя свой красивый галстук, завязанный умело и надежно. Вызывал он, как всегда, не заглядывая в журнал. Подходил к ученику и говорил:

— Ну, иди ты, Левон.

В середине урока он сел к столу, склонился над журналом.

— Ну, кто тут ещё у нас мастак? Давайте, не стесняйтесь, — и вел пальцем по списку. — Так… так… Костянок! Ага, у тебя двойка, — он сделал вид, будто забыл о ней, — Давай, давай… Твои защитники доказывали мне, что ты величайший знаток физики, Фарадей.

Алёша остановился на полдороге к доске, его передернуло от этих слов. Он некому не жаловался и никаких защитников не искал. Чего он цепляется!

«Если начнет придираться, не буду отвечать», —

твердо решил он.

Он стоял у доски, высокий, чуть ниже преподавателя, в сапогах, в ватных замасленных штанах и в светлом коверкотовом пиджачке с короткими рукавами — пиджак Сергея. Его слегка потемневшие за осень и зиму волосы рассыпались и падали на лоб. Он откинул их энергичным движением головы и бодро взглянул на Раю. Она покраснела. А Виктор Павлович как бы нарочно испытывал ученика, долго не задавал вопроса и пристально оглядывал с головы до ног, так что Алёша тоже начал краснеть и волноваться. В классе водарилась напряженная тишина — стало слышно, как у простуженного Павла Воронца хрипит в груди.

Всем, кого он спрашивал сегодня, Орешкин давал задачи из раздела, который они только что проходили. Алёша также взял мел и тряпку, готовясь решать задачу. Но ему Виктор Павлович задал вопрос по теории. Алёша ответил. Второй вопрос — из предыдущего раздела: надо было написать сложную формулу. Алёша задумался — не повторял, подзабылось. Кто-то из товарищей зашептал, пытаясь подсказать.

Виктор Павлович строго посмотрел на класс. Куда девались его мягкость, веселье! Наконец Алёша все-таки вспомнил формулу. Тогда Виктор Павлович задал вопрос из раздела, который проходили в самом начале года. Класс зашевелился, зашуршали страницы учебников, — мало кто это помнил.

Алёша побледнел, из правой руки его на пол посыпались крошки мела.

— Ну-с, знаток физики, прошу… — цедил сквозь зубы Орешкин, опершись на подоконник закинутыми назад руками и приподнимаясь на носках. — Класс ждет!

Алёша молчал.

— Так… Не слишком красноречиво… Не слишком. А вот письма ты пишешь весьма красноречивые. Хе-хе. —

Орешкин взглянул на класс, ожидая общего смеха, но лица учеников были точно каменные. — Там такое красноречие у тебя, что диву даешься, откуда только слова берутся. А?

Алёша бросил быстрый взгляд на Раю, но она не поднимала глаз от учебника и покусывала уголок платка. Тогда Алёша швырнул на пол мокрую тряпку и зашагал к двери.

И вдруг на весь класс зазвенел голос Кати:

— Какое вы имеете право! Мы протестуем! Как вам не стыдно читать чужие письма!

Ошеломленный поступком Алёши и ещё больше этим неожиданным выкриком, Орешкин на миг растерялся; побледнев, стоял у окна и хлопал глазами. Потом опомнился, с размаху ударил журналом по столу.

— Вот вы как! Сговорились сорвать урок? А? Так и запишем: Костянок и Гомонок сорвали урок!

Получилась тройная рифма, но заметил это один Володя Полоз и шепотом повторил соседу по парте.

Орешкин схватил журнал и выскочил из класса.

Минуту стояла тишина. Потом Левон Телуша привычным театральным жестом поднял руки.

— Все правильно, друзья мои, однако оправдания нам не будет: мы — ученики. Готовьтесь к неприятностям, — мрачно предупредил он.

Класс молчал, понимая всю серьёзность случившегося.

— А мне и не нужно никакого оправдания! — взволнованно крикнула Катя и вдруг накинулась на Раю: — А ты… вертихвостка несчастная! До каких пор будешь издеваться над человеком! Как тебе не стыдно показывать чужие письма? Кому ты их даешь!

Рая неожиданно встала, как будто перед ней была не

одноклассница Катя, а грозная учительница: из-под опущенных красивых ресниц по бледным щекам покатились крупные слезы. Она еле прошептала:

— Я… я никому не давала писем…

Если б Рая стала оправдываться или возражать, Катя, наверно, наговорила бы ей ещё много чего, но эта детская иокорность её обезоружила. Ей вдруг стало жалко бывшую подругу, и она притихла.

В коридоре послышались торопливые шаги.

— Шш-шш! Директор!

Михаил Кириллович вошел нахмурившись. Внимательно оглядел и спросил строго, но с доверием, обращаясь к ученикам, как к коллективу совсем взрослых людей:

— Что случилось, товарищи? Класс молчал.

— Что у вас здесь произошло? — повторил он вопрос и сел, как бы давая понять, что намерен терпеливо дожидаться, пока они откровенно обо всем расскажут.

Тогда вскочила Катя и, заикаясь от волнения, рассказала все подряд, передала почти дословно, и то, что сказал Виктор Павлович, и свои слова. Помолчав, прибавила:

— Алёша не виноват. Нельзя издеваться над человеком! Если мы в самом деле сорвали урок, то виновата в этом я.

На заседании педсовета первым выступил Орешкин, — Я педагог либеральный, и, возможно, в этом моя слабость. А? Я всегда прощал детям их шалости. Но это не дети, и поступок их — не шалость. Нет. Это… — он поискал выражение. — Это… хулиганская выходка. Оскорбление преподавателя, класса. И мы не можем пройти мимо такого факта… Я не требую никакого особенного наказания. По линии комсомола, конечно, следует. Но я требую… я подчеркиваю — меня

оскорбили, и потому я требую, чтоб и Костянок и Гомонок, — он недовольно фыркнул от этой рифмы, — чтоб они извинились… при всем классе…

— Вам хочется унизить их! — хмуро кинул Бушила.

— Молодежь надо воспитывать, товарищ Бушила! — решительно отпарировал Орешкин; вообще он держался, как никогда, твердо и уверенно. — А покуда унижен я, педагог, завуч школы…

Всегда спокойная и уравновешенная Ольга Калиновна неожиданно перебила его:

— Послушайте, товарищ педагог, давайте поговорим начистоту! Мы все тут взрослые.

— Пожалуйста, я кончил, — обиженно дернул плечом Орешкин.

Ольга Калиновна, маленькая, курносая, стала против него, и её большие круглые глаза сердито заблестели.

— Вы тут всё повторяете: молодежь надо воспитывать. Золотые слова! Но давайте разберемся, как воспитываете её вы, уважаемый товарищ педагог. Всем известно, что Алёша любит Раю, любит, как это свойственно юности, как все мы любили…

— И вы? — иронически сморщился Орешкин. Ольга Калиновна не растерялась.

— Разрешите вам сказать, что вы — хам. Но дело не в этом… Алёша любит Раю… А вы… что делаете вы? Вы стали на его пути, как… злой демон…

Орешкин всем телом повернулся к Лемяшевичу, развел руками.

— Михаил Кириллович, мы собрались на педсовет, а здесь… неведомо что…

— По-вашему, первое, святое чувство юноши и девушки, учеников десятого класса, это не предмет обсуждения

на педсовете? Это не серьёзный разговор? Нет, не отвертитесь, выслушаете! — Ольгу Калиновну было не узнать, она шагнула к Орешкину и положила кулак на парту, за которой он сидел. — Не без вашего влияния Рая отвернулась от Алексея, оторвалась от школьного коллектива… Так вы ещё издеваетесь над парнем, стали придираться к нему, ставить двойки… За что? Это педагогично, по-вашему? Товарищ завуч!

— Да, я завуч! И я не позволю! — крикнул Орешкин, стукнув ладонью по парте (заседание шло в классе).

— Вы не кричите, и стучать не надо! — спокойно заметил ему Данила Платонович. — Перед вами не ученики, а ваши коллеги…

Тогда Орешкин вдруг воззвал к его авторитету уже совсем другим, обиженным голосом:

— Данила Платонович, но ведь это же абсурд! Неужели я не имею права выбрать себе квартиру?

— С вами не о квартире разговор… Живите где хотите… Но какое влияние вы оказываете на ученицу, в доме которой вы живете? Ольга Калиновна права… Извините, Ольга Калиновна…

— Пожалуйста, Данила Платонович, говорите, я потом… доскажу.

Лемяшевич был доволен таким ходом заседания, рад был, что не только он, а ещё несколько человек скажут сегодня Орешкину правду в глаза. И потому не останавливал товарищей, даже когда они начинали говорить вместе, зная, что строго официальный порядок сковывает людей, мешает откровенному разговору. Он только изредка постукивал карандашом по столу. Помимо всего, его внимание все время привлекала Ядвига Казимировна. Она сидела на задней парте и то краснела так, что казалось — кровь брызнет из её щек, то вдруг бледнела. Несколько раз она порывалась что-то сказать, но видно было — тут же отказывалась от своего намерения, робела.

«Что с ней? Чем она так взволнована?» — пытался угадать Михаил Кириллович.

Все внимательно слушали Данилу Платоновича, который говорил тихо, спокойно:

— Наконец, мы и в самом деле имеем право спросить у вас — какое влияние вы оказываете на Раю, чему вы её учите? Музыке? Но ведь вы сами ничего в ней не смыслите. Вы делаете вид, что вы единственный здесь знаток музыки, и пускаете пыль в глаза простым людям. А на деле вы выучили десяток популярных песен, десяток простых пьес — и все… Вы даже ноты толком читать не умеете…

Орешкин пробовал возражать, возмущаться, но Данила Платонович властным движением руки остановил его:

— Подождите, мы вас слушали.

Тогда Орешкин пренебрежительно хмыкнул и принял равнодушный вид: *«Говорите что хотите, все вы заодно, все защищаете Костянка, а я поговорю в другом месте»*. Но деланного спокойствия ненадолго хватило.

— Вы выдаете себя за единственного подлинно интеллигентного человека, многих убедили в этом и… читаете чужие письма…

— Кстати, простите, Данила Платонович, — перебил его Лемяшевич, — я хочу спросить у Виктора Павловича… чтоб все было ясно… Где вы взяли эти письма? Как они к вам попали?

— Какие письма? — вскинулся Орешкин.

— Которыми вы попрекали Костянка. Говорили, что они очень красноречивы и так далее.

Орешкин смешался.

— Я? Я не читал писем… Я просто знал…

Но в этот момент раздался испуганный голос Ядвиги Казимировны:

— Я!..

Все оглянулись. Она сидела бледная, осунувшаяся, задыхаясь, будто в комнате не хватало воздуха, и по-детски прижимала ладони к груди.

— Я читала… Рая мне показывала… Я рассказала Виктору Павловичу… Я…

Ей, конечно, поверили, не обратив внимания на её чрезмерную взволнованность. У всех словно гора свалилась с плеч, как будто в мрак, где они бродили, заглянул луч солнца. До сих пор преподаватели чувствовали себя неловко, у всех вертелась одна и та же мысль, которую никто из них даже высказать не решался: неужели Орешкин в таких отношениях с ученицей, что она сама показала ему письма? Никому на ум не могло прийти, что завуч их попросту украл.

Теперь становилось все понятно. Верно, разговор пошел бы совсем иначе, но вдруг почему-то взбунтовался сам Орешкин. Вскочил, замахал руками, закричал:

— Это что, допрос? А? Суд? Во что вы превратили заседание педсовета, товарищ директор? Я буду жаловаться! Вы пользуетесь случаем, чтобы мне отомстить… Я завуч школы. Вы подорвали мой авторитет!

Неожиданный крик его всех удивил. Лемяшевич сперва даже опешил, а затем тоже разозлился и строго призвал к порядку.

— Мстить мне вам не за что, Виктор Павлович. Судить мы вас не собирались… Вы сами потребовали педсовета… Ну, а мы, коллектив, дружески указали вам на некоторые ваши ошибки. Откровенно и принципиально. Не так ли, товарищи?.. Желая помочь вам. А вот насчет завуча, вы, пожалуй, правы… Я сам думал об этом. Может быть, действительна лучше, чтоб

вас в этой должности заменил кто-нибудь другой, пользующийся большим авторитетом у преподавателей и учеников. Как вы считаете?

Орешкин сразу обмяк и голосом вконец уставшего человека сказал:

— Ах, вот как! Теперь я понимаю... Для этого и организована вся комедия... А? Но не вы меня ставили, Михаил Кириллович.

— Ну, об этом мы поговорим потом. А что касается учеников — мы не оправдываем их поведения. Ученики поступили неправильно, и они извинятся перед вами. С ними я сам буду говорить!

27

Алёша пропал. Дома, узнав о случае в школе, забеспокоились. Мать — сразу в слезы. Степан Явменович прикрякнул на нее:

— Не вой, черти не возьмут!

Но к вечеру и он уже встревожился:

— Ишь характер показывает! Давно ремня не пробовал! Наутро получили записку от двоюродного брата Алёши, служившего километрах в пятнадцати от Криниц лесником. Он писал, что Алёша пришел огорченный и злой и заявил, что в школу не пойдет, а почему — не признается. Дома успокоились. Но когда Алёша не вернулся и на третий день, в лес поехали на лошади Сергей и Лемяшевич.

День был облачный и морозный — один из тех зимних дней, которые начинаются с чудесного утра: встанешь, выйдешь во двор и не можешь взгляда оторвать от деревьев — такими сказочно прекрасными, фантастически красивыми сделал их иней. Воздух в такие дни как бы застывает, не шелохнется ни одна веточка, а иней продолжает расти. Кристаллы лепятся друг к другу и вырастают в диковинные цветы, деревья

стоят как бы в серебряном блестящем цветении. Все хорошеет в такие дни: хаты, колодцы, сараи. Даже маленькая черная, закопченная банька на огороде у Костянков превращается в сказочную избушку. А всегда темный над снегами сосняк на пригорках делается сизо-белым.

Въехали в чудесный сосновый бор. Сосны — одна в одну, толстые, ровные, в белых от инея шапках, сливающихся с таким же белым небом.

Торжественная тишина зимнего дня, на которую в поле не обращали внимания, здесь, в лесу, сразу почувствовалась во всей своей прелести. Она завораживала, заставляла умолкнуть и напряжённо прислушиваться к ней, вызывала удивительное настроение — какую-то тихую-тихую, задумчивую радость.

Избушка лесника стояла в гуще леса, на поляне, по одну сторону которой росли стройные ольхи — там протекал ручей, — а по другую редкие дубы и под ними густой орешник, густой даже теперь, зимой. Мало накатанная дорога вилась среди убранного в иней орешника и неожиданно выводила к колодцу, журавель которого прятался за ветвями липы. Только тогда взору открывалась и сама хата под другой, высокой липой и небольшой сарайчик сбоку, у зарослей орешника. Посреди поляны стояли два стожка сена; один из них был так общипан внизу, что напоминал гриб, и нельзя было не подивиться, как он ещё держится, не повалится от первого дуновения ветра. Навстречу гостям бросилась собака, захлебываясь от злости, но не решаясь, однако, приблизиться. На крыльцо вышла лесничиха — молодая красивая женщина. Она узнала своих и шумно обрадовалась, схватила собаку за ошейник, оттащила к сараю и привязала там.

— Заходите, заходите, а лошадь я сама распрягу и устрою. Ты ж окоченел, пальцы вон какие, — смеясь, говорила она Сергею.

Необычайно подвижная, она вмиг распрягла коня, не

дав мужчинам и опомниться, завела его в сарай.

Первое, что Лемяшевич заметил в хате, это две пары любопытных детских глаз, поблескивавших из-за трубы на печке.

Дети прятались, пока в хату не вошли мать и Сергей. На Сергея они сразу набросились — два мальчугана, лет шести-семи на вид. Лемяшевич сперва подумал даже, что близнецы.

— Дядя Сергей! Дядя Сергей!

В карманах у Сергея оказались не только конфеты, но и игрушки — пистолет с пистонами и заводной автомобиль. Дети были в восторге.

— Не скучаете вы здесь? — спросил Лемяшевич у хозяин ки, оглядывая чистую, уютную хату.

— Не-ет. Привыкли. Мы уже седьмой год здесь. Петро, как пришел из армии, женился — и в лес.

— Из колхоза?

Она поняла его вопрос и сказала, как бы оправдываясь:

— У него отец двадцать лет лесником служил, он в лесу вырос.

— Рассказывай сказки, — вмешался Сергей. — Петру твоему, Люба, лет восемь было, когда отец бросил лесниковать, — и посейчас в колхозе работает. В лесу вырос!

Тогда она сказала уже с вызовом:

— А что ему в колхозе делать? Волам хвосты вертеть? К машинам он неспособный.

Сергей с горькой усмешкой кинул Лемяшевичу:

— Вот она, логика! Кстати, Люба кончила девять классов и была комсомолкой.

Люба смутилась и, схватив с полки блестящий рожок, выскочила из хаты. И тут же от колодца во все четыре стороны понеслись по лесу мелодичные звуки охотничьего рожка, как бы призывавшего: *«До-мо-ой! До-мо-ой!»*: — Видишь, как зовут лесника? Учти, что это делается только в исключительных случаях. Значит, мы — гости важные, — пошутил Сергей.

И действительно, вскоре пришли Петро и Алексей и принесли убитого зайца.

Алексей на миг смутился, войдя, но тут же, прислонив к печке ружье, смело подошел и поздоровался так же, как и лесник: крепко пожав руку брату и директору. И это пожатие заставило Лемяшевича насторожиться: в нем чувствовав лась взрослая уверенность в себе.

По дороге они договорились с Сергеем побеседовать с беглецом со всей строгостью и как следует пробрать за все его выходки.

Пока хозяйка что-то жарила в наспех разожженной печи, а хозяин свежевал зайца, они взялись за Алешу. Начал Сергей.

— Ты что ж это себе думаешь? — сурово спросил он.

— А что? — Алёша сидел на скамье возле печи и совсем по-домашнему переобувался: снимал Петровы валенки, в которых ходил на охоту, и обувал свои сапоги.

— Как это *«что»*? Дома мать захворала из-за тебя. Ни слова, ни полслова, черт знает куда пропал… В школе самые ответственные дни — конец полугодия… а он на зайцев охотится!

Алёша опустил глаза, но сказал твердо: — В школу я больше не пойду!

— Как это *«не пойду»*? А куда ты пойдешь? — разозлился Сергей.

Алёша стукнул каблуком об пол, чтоб плотнее сел сапог, подтянул голенища, выпрямился и спокойно

повторил:

— Сказал не пойду — и не пойду!

— Ты что, спятил? Ты думаешь о том, что говоришь? — Думаю, не беспокойся.

Сергей только руками развел: *«Посмотрите на него!»* Лемяшевич понял, что дело тут посложнее, чем они предполагали, и начал разговор в другом тоне.

— Послушай, Алёша, ты уже не маленький и давай говорить серьёзно. Тебе осталось полгода — и ты получишь среднее образование, аттестат зрелости. Нет нужды тебе объяснять, какое это для тебя имеет значение, ты умеешь смотреть на жизнь реально и серьёзно. Наконец, я уверен, что ты и сам понимаешь — бросать школу из-за мелкой обиды… ну, пускай даже оскорбления — это более чем неразумно. Ты прости, но тебя просто дураком назовут после этого…

— Ну и пускай.

— Нет, погоди. Ты не решай так быстро. Ты подумай как следует. Я понимаю твои чувства. Все мы были молодыми и горячими…

Алёша стоял, как полагается ученику перед преподавателем, опустив голову. Это подбодрило Лемяшевича.

— Неприятности и у нас бывали! Но из-за личной обиды делать глупости — нет, прости меня… Кроме того… учительский коллектив как раз взял тебя под защиту и критиковал Виктора Павловича… Так чего же ты хочешь ещё? Самое страшное в жизни — это осуждение коллектива, когда от тебя отворачивается коллектив, в котором ты жил, работал… Тогда, конечно, убежишь куда глаза глядят. А не поладить с одним человеком — и бросить из-за этого школу… Очень неумно!

Лемяшевич умолк, ожидая, что ответит Алёша. Тот стоял и молчал. Молчание затягивалось. Сергей не выдержал и попробовал мягко пошутить:

— Дошло?

Алёша повернулся, шагнул к печке, взял ружье и, обтирая его суконкой, упрямо повторил: — В школу я не пойду! Сергей даже подскочил.

— Тогда иди ты к черту лысому!.. С ним директор школы как с человеком разговаривает, а он что попугай: *«не пойду», «не пойду»*! Можешь ты ответить по-человечески, когда с тобой говорят?

Тут на Алёшу накинулись все сразу — и Петро, и Люба, молчавшая до сих пор, и снова Лемяшевич. Один говорил о гражданском долге, другие — что это решение помешает ему в жизни… А Алёша старательно чистил ружье, и казалось — ничто больше его сейчас не интересовало и не трогало. Наконец он поднял голову, смело посмотрел на всех, хотя в глазах его и светилась грусть. Он, видимо, только что принял какое-то новое решение.

— Школу я кончу, не беспокойтесь, — тихо и примирительно сказал он.

— Вот дьявол! Он над нами просто издевался!

Но Лемяшевич понял его иначе, чем Сергей, и спросил:

— Где?

— Поеду в Минск.

Ошеломлённый Сергей поперхнулся на полуслове.

— Куда?

— В Минск.

— Фу! Только тебя там не хватает, дурака этакого!

— Буду работать и учиться в вечерней школе, — не обращая внимания на слова брата, спокойно продолжал Алёша.

Сергей махнул рукой.

— Бросьте вы его, пускай у него голова остынет. Вот отец с ним поговорит, у старика разговор короткий.

Но когда сели за стол, Лемяшевич ещё раз убедился, что решение у Алёши твердое, окончательное, вряд ли удастся им, даже всем вместе, его переубедить. Понял это он по одной мелочи. Петро разлил в стаканы самогонку. Стаканов было четыре. Алёша взял один из них, ничуть не смущаясь любопытных и укоризненных взглядов директора и брата, чокнулся с Петром, кивнул головой и выпил до дна, даже корочку хлеба понюхал, явно демонстрируя свою независимость...

Вечером, когда они вернулись домой, повторился тот же разговор, что и у лесника, только ещё более шумный. Лемяшевича не было, но семья собралась вся. Алёша упорно твердил свое:

— В школу не пойду, поеду в Минск и там буду работать на тракторном заводе и учиться.

Мать утирала слезы и просила:

— Алёшенька, родной... Неужто тебе наскучило в отчем доме? Наживешься ещё в людях. Скоро в армию идти... Или учиться поедешь!

Отец рассердился.

— Ты мне характер не показывай! У меня свой ещё покрепче!

— Да уж — твой характер! — с упреком сказала мать.

— А ты поголоси лучше и не вмешивайся. Ты разве слезами такое бревно упросишь? Ему, видишь ли, наплевать на мать, на отца... Ему, видишь ли, Снегириха не так улыбнулась, так он уже готов из дому бежать...

Алёша, который спокойно и молча выслушивал попреки и уговоры, пра этих словах болезненно сморщился, лицо его, залилось краской; он решительно направился в другую половину хаты. Но отец остановил его суровым

окриком:

— Ты слушай, что тебе старшие говорят! А то и ремень снять не постесняюсь! Пускай тебе потом стыдно будет!

Алексей прислонился к косяку, до боли закусив губы.

— Ты, папа, не кричи, — заступилась за брата Аня, которая перед тем сама, кричала и попрекала его, называла *«неблагодарным»* и *«эгоистом»*. — Криком не поможешь. А ты, Алёша, не торопись. Думаешь, тебя там, в Минске, так и ждут, на дороге встречают — когда Костянок приедет? Думаешь, легко там найти работу?

— Мне Даша поможет.

— У Даши своих забот полон рот, — вздохнула мать.

— Не велико дело — помочь человеку найти работу. Я ведь не прошу недозволенного. А работу просить не стыдно, на работу каждый имеет право. И жить я у них не буду, не беспокойтесь, общежитие дадут. За Дашу испугалась! Как бы её не потревожил! Только и думаете, чтоб дочкам спокойно жилось!

Адам Бушила, один в продолжение всего этого разговора хранивший вовсе не свойственное ему молчание, не выдержал наконец:

— Чего вы пристали к парню? У него своя голова есть. Дайте ему жить своим умом.

— Ты я сам хороший бродяга! — накинулась на него Аня. — Рад бы небось из дому убежать на край света.

— От вас сбежишь! Ого! Если б и захотел! — хмыкнул Адам. — А Алёшу вы не трогайте. Я тоже не одобряю его решения, но попрекать человека за чувства… Бросьте!

Воспользовавшись моментом, когда Аня заспорила с Адамом, а родители, как всегда при их стычках, дипломатически умолкли, Алёша схватил кожушок и выбежал из хаты, — надоело ему за день выслушивать

все эти нотации.

Он вышел на улицу и остановился. В деревне было тихо, только где-то под сапогами звонко скрипел снег. Тускло светили фонари сквозь морозный туман. Алёша оглянулся на свою хату, и ему стало так жаль покидать родную деревню, родителей, друзей. Потом он посмотрел в ту сторону, где жила Рая. А ещё тяжелее оставить её, навсегда отказаться от своей любви. Сердце его больно сжалось, даже к горлу подкатил комок. Но и оставаться он не может. Нет, не может. Он испробовал все — писал, говорил, просил… И если в ответ такое издевательство, насмешки, он не может терпеть, он должен уехать, иначе он не ручается за себя — ещё натворит каких-нибудь глупостей.

Он долго думал, к кому пойти. Пошел к Володе Полозу, постучав в окно, вызвал его на улицу, и они вместе отправились к Левону, который жил с одной только матерью. Потом послали Володю за Петром, тот привел не одного Петра, но и Катю. Ребята удивились, но не попрекнули его, приняли Катю как товарища — на равных правах. Алёша объявил о своем решении. Для ребят это было что гром среди ясного неба, они не сразу даже поверили. Осознав всю серьёзность Алёшиного намерения, заспорили, закричали все сразу. Володя одобрял Алёшу, говорил, что иначе и нельзя, что и он при таких обстоятельствах сделал бы то же. Рассудительный Левой возражал и хотя не осуждал безоговорочно, но советовал подумать, *«взвесить все плюсы и минусы»*. Петро колебался между тем и другим и сам себе противоречил: утверждал одно и тут же доказывал прямо противоположное. Катя долго молча слушала, притихшая, задумчивая. Потом вздохнула.

— А я сегодня прощения у Орешки просила. И на душе у меня теперь гадко-гадко, — печально сказала она.

Все сразу замолчали, и Левон больше не спорил против того, что Алёше необходимо уехать из Криниц. Всем стало грустно, они не знали, о чем говорить, и прятали глаза, как будто провинились друг перед другом.

Сначала казалось все просто — сел и поехал. Но когда дома наконец более или менее примирились с его намерением, выяснилось, что он не имеет даже паспорта. Надо было брать справки в сельсовете, в колхозе, в школе. В табеле выставят отметки за полугодие, и Орешкин, конечно, поставит ему по физике двойку.

Все эти формальности, не слишком приятные для каждого, для Алёши превратились в совершеннейшую муку: везде расспрашивают, лезут в душу, по деревне, как ряска по воде, поползли скользкие и гнусные слухи. Бедняга не раз пожалел о своем решении. Может, и в самом деле легче было бы попросить прощения, как Катя? Но нет! Он не мог этого сделать тогда и тем более не может теперь. Возврата нет! И он терпеливо выполнял все формальности, угрюмый, замкнувшийся, ни с кем не разговаривая даже дома. Только вечером приходил к Левону и там отводил душу.

Волотович, к которому он обратился за справкой, сначала слушал его невнимательно, занятый какими-то бумажками, потом, уловив суть просьбы, удивленно посмотрел на него, надел очки.

— Погоди, погоди. Что-то я, брат, не понимаю. А школа как?

— Школу он бросил, — ответил за Алёшу Полоз.

— Почему?

— Там у него сложные дела. Поругался с Орешкиным, не захотел повиниться.

— Ну-у, это ещё не основание. А что же Лемяшевич думает, комсомольская организация? Нет, тут надо разобраться, а не просто так… Что ж ты мне раньше не сказал, Андрей Николаевич, и так спокойно относишься к этому?. — попрекнул он Полоза. — Идем к Лемяшевичу, будем разбирать. Я тоже педагог.

Алёша только вздохнул.

«Опять, — подумал он. — До каких пор будет продолжаться это мучение?» Однако молча двинулся за председателем.

— Ерунду ты, брат, задумал, — говорил тот по дороге. — Глупо. Подумай. Сейчас лучшие люди из города в деревню едут, а ты — в Минск! Что ты там делать будешь? А я тут мечтал, что ты летом опять на уборке поработаешь. Мы бы тебе помощника дали толкового и вообще организовали дело так, что ты не только областной, но и республиканский рекорд поставил бы. Прославился бы на всю страну. А ты — с Орешкиным поругался… Орешкин, между нами говоря, дрянь, но учитель есть учитель, ничего не поделаешь, брат.

Возле школы Алексей остановился и решительно объявил: — В учительскую я не пойду! — А куда же?

— Не знаю. Может быть, Михаил Кириллович у себя дома. А в учительскую не пойду!

Волотовйч удивленно посмотрел на него. — Однако и характер у тебя.

На Алёшине счастье, Лемяшевич и в самом деле был дома.

— Что это у тебя делается? — сразу с порога заговорил Волотовйч. — Лучшие ученики бросают школу, бегут, а вам и заботы мало, и директору и комсомолу. Нет, так не пойдет, придется мне вмешаться в ваши дела!

Лемяшевич поздоровался за руку с председателем и с Алёшей. Заглянул ему в глаза. Тот отвел взгляд.

— Что ж ты меня избегаешь? — спросил Лемяшевич с ласковым укором; Алёша вот уже в течение трех дней пропадал из дому в часы обеда, завтрака и ужина, когда приходил Лемяшевич, — Все равно без меня не обойтись. Садись, поговорим.

— Объясните, что произошло. Приходит, просит справку, а почему вдруг — молчит — сказал Волотович, снимая пальто.

— Всё объясню, Павел Иванович, — пообещал Лемяшевич и обратился к Алёше, который, неловко присел на краешек табурета и мял в руках шапку. — Значит, решил окончательно?

...Алёша, кивнул и ниже опустил голову.

— И не жалко тебе... товарищей, школы, родителей?

Лемяшевич постоял перед ним, раздумывая, что ещё спросить, о чём ещё сказать, и, ничего не решив, тоже; разочарованно вздохнул и отошел к столу.

Передумал он за эти три дня не меньше, чем сам Алёша. А ещё больше разговаривал и советовался с разными людьми — с преподавателями, с Сергеем, Натальей Петровной, родителями Алёши, только вот с Павлом Ивановичем не поговорил.

Большая часть коллектива встретила уход Алёши как чрезвычайное происшествие. Все понимали, что это так не обойдется, что школа из-за этой истории может *«прогреметь»* не только на весь район, но и на область. Неприязненные взгляды скрещивались на Орешкине, он чувствовал себя виноватым, но хорохорился:

— А всё из-за того, что... потакаем, а не воспитываем, Любовь! — Он хмыкнул.

— Послушайте, вам бы лучше помолчать! — обрезала его Ольга Калиновна и обернулась к директору и Бушиле: — Алёшу надо уговорить. Стыдно нам всём будет.

Её поддержали Приходченко, Ковальчук. Майя Любомировна предложила:

— Не выдавать документов — никуда не поедет! Данила Платонович промолчал, хотя слова его ожидали всё, а когда Лемяшевич обратился к нему за советом, старик сказал:

— Я сам с ним поговорю... И он поговорил. Пришел утром к Костянкам, когда Алёша ещё спал. А когда

Лемяшевич шел завтракать, они сидели под навесом на дровах и мирно беседовали — старик и юноша.

Потом, вечером, в доме Шаблюка, куда пришли также Сергей и Наталья Петровна, они ещё раз все обсудили.

— Я спросил его, — рассказывал Данила Платонович: — *«Любишь? Крепко?»* Учтите, что в таком возрасте это нелегко — признаться, тем более старому учителю. А Алёша доверчиво посмотрел на меня и кивнул головой. Безусловно, любит по-настоящему и тяжко мучается. Боже мой! Кто из нас не помнит этого чувства — первой любви!

Наталья Петровна уронила книжку и поспешно наклонилась за ней.

Данила Платонович обвел всех взглядом.

— Вот и подумайте… Чем мы можем ему помочь? Ничем. Значит — пускай едет, так ему будет легче, понемногу забудется, встретит новых людей, обзаведется новым друзьями. А там — кто знает… Может быть, жизненные пути сведут их опять и Рая, эта глупенькая Рая, поумнеет.

…Лемяшевич прошелся по комнате, постоял у окна и вдруг повернулся к Волотовичу:

— Знаешь что, Павел Иванович, давай выдадим ему все справки. Думаю, что Алексей нас не подведет!

Может быть, это произошло случайно, а может, и специально было подстроено Алёшей и его друзьями. Но попрощаться с классом он пришел на перемене перед уроком Орешкина. Он не зашел в школу, товарищи встретили его на улице и, по предложению Володи, пошли проводить до МТС, где Алёша должен был сесть на машину. Никто и словом не обмолвился об уроке. И вообще молчали. День был морозный, ветреный. Ветер швырял в лицо колкий, сухой снег. Заметало дорогу. Шли, плотным кольцом окружив Алёшу.

В учительской этого не видели и не знали, и поэтому Орешкин, как всегда, вошел в класс оживленный и веселый. И замер на полдороге от двери к столу: класс был пуст. На передней парте, сжав голову руками, сидела с окаменевшим лицом Рая, да в проходе между партами с равнодушным видом стояла другая ученица — хромая, болезненная Нина Куликова. Рая не встала и даже не взглянула на него. Чувствуя всю неловкость и комизм своего положения, теряя самообладание, побледнев, Орешкин взглядом спросил у Нины: *«Где?»* Она качнулась, переступив на короткую ногу, и с издевательским спокойствием, как будто ничего и не произошло, ответила:

— Пошли Алёшу Костянка провожать.

Орешкин задохнулся и выбежал из класса.

Тогда Рая опустила голову, на парту, и плечи её затряслись от плача.

Нина посмотрела на нее сперва презрительно, потом с любопытством, а ещё через минуту — с жалостью. Наконец не выдержала, подошла и легко коснулась ладонью её волос.

— Я ведь знала, что ты его любишь. Ты просто сама себя обманывала. Алёшу нельзя не любить.

Тем временем Орешкин, бледный, возмущенный и в то же время испуганный, влетел в класс, где вел урок Лемяшевич.

— Я прошу вас…

Лемяшевич вышел с ним в коридор.

— Что случилось?

— Это демонстрация! — зашипел Орешкин, брызгая слюной. — Это беспримерная демонстрация! Это… это… позор!

— Что?

— Они все пошли провожать, — он скривился, — провожать… А?

Лемяшевич догадался наконец, что произошло, и шумно втянул воздух, ноздри его раздулись. Впервые выдержка ему изменила.

— Если это демонстрация против вас, то вы её заслужили, — сказал он и ушел в класс, оставив растерявшегося Орешкина в полутемном коридоре.

28

Бородка встретился с Волотовичем в районном Доме культуры, где должна была состояться конференция. Первыми всегда приезжали председатели колхозов — у них находились неотложные дела в отделах райисполкома, в банке, на базах. А поскольку в их руках транспорт, то вместе с ними задолго до начала конференции приезжала большая часть делегатов.

Бородка под предлогом проверки, все ли подготовлено в клубе, пришел прощупать настроение людей. Давно уже он так не волновался перед конференцией, и волнение это пугало его. Он шутил с делегатами, интересовался, как устроились на ночлег, уговаривал выступать, даже подсказывал вопросы, которые стоило бы осветить секретарю парторганизации, директору совхоза, рабочему кирпичного завода. Он тут же *«распек»* председателя райпотребсоюза за то, что в буфетах мало еды.

— Смотри, Васильков, чтоб обед для делегатов был не хуже, чем в столичном ресторане. Сам приду обедать. А то у тебя тут привыкли — тяп-ляп… Никакой культуры!

Увидев Волотовича, пошел навстречу, как к лучшему другу.

— А вот ещё один будущий миллионер! Скоро тебя, Лупанов, обгонят, — бросил Бородка другому председателю. — *«Вольному труду»* мы запланировали на будущий год два миллиона… Вытянешь, Павел

Иванович?

— А мы у себя ещё не считали, запланировали без нас, — пожимая руки, ответил Волотович.

Председатели колхозов переглянулись. Бородка нахмурился.

— Планы спускаются сверху. Не тебе об этом говорить. Сам подписывал.

— Да, подписывал, — согласился Волотович скучным голосом.

Когда они наконец, выйдя из клуба, остались вдвоем, Бородка ласково, по-приятельски и даже с сочувствием спросил:

— Ну как, Павел Иванович, трудно? Возможно, что именно это сочувствие и взорвало председателя. Он бросил быстрый взгляд на Бородку, и глаза его под седыми бровями сразу сузились и потемнели:

— Если такие вопросы мне будет задавать первый секретарь, пускай не ждет ответа.

— Колючий ты стал! — бросил Бородка.

Волотович промолчал: они шли по коридору райкома. В кабинете, сняв пальто и прислонившись спиной к печке, ответил мягко и спокойно:

— Не подумай, что нервничаю оттого, что трудно. Нет. Мне и в самом деле нелегко, но я испытываю такое удовлетворение от работы, какого не знал уже давно. А если колючий, то оттого, что злюсь на себя за свою прежнюю деятельность. И на тебя тоже…

Бородка ходил и по-хозяйски поправлял ногой ковровую дорожку; он остановился у двери, внимательно слушая.

— Плохо мы с тобой руководили.

Бородка резко повернулся и направился к столу.

— Это я уже слышал! Тебе выгодно теперь заниматься такой самокритикой? Легче бить по мне?::

— Погоди, не кипятись.

— Я — первый секретарь райкома, а ты — председатель колхоза. И пора уже…

— Я покуда ещё член бюро… Но дело не в этом… Я не так выразился… *«Плохо»* — так можно говорить, вероятно, о лентяях, лежебоках. А мы с тобой не лентяи мы работали день и ночь… Твоей энергии каждый позавидует, откровенно говорю. Но… казенно мы руководили, формально. Вот ты сказал: тебе два миллиона запланировали. Всё это хорошо! И найдутся канцеляристы, которые распишут, откуда, с чего взять эти миллионы. Распишут, не выходя из кабинета, не спросив у председателя, у правления, у колхозников, не зная ни земли, ни хозяйства. И такой план становится законом… А я вот побыл в колхозе и убедился, что очень часто планы, которые спускали мы с тобой, не помогали колхозу, а тормозили его развитие, связывали по рукам и ногам. Вот я и думаю теперь: разве это не формальное руководство?

Бородка сел за стол, выровнял газеты, которые и так лежали высокой ровной стопкой; морщинки в углах его рта обозначились резче от иронической улыбки.

— Значит, на планирование уже руку поднимаешь? А ты предложи свои реформы конференции.

— А что ты думаешь? Скажу, хотя вопросов у меня на пять регламентов.

Бородка подозрительно окинул его взглядом, стараясь отгадать, что ещё скажет Волотович. Он хоть и храбрился и убеждал себя, что ему бояться нечего, но в последние дни перед конференцией иной раз ловил себя на том, что его беспокоят предстоящие выступления Волотовича, Лемяшевича, Клевкова, ещё двух-трех человек.

В кабинет заглянул Шаповалов, который был теперь помощником секретаря.

— Малашенко, приехал, — таинственным шепотом сообщил: он.

Шаповалову от дверей не видно было Волотовича, который все ещё грелся, у печки.

Бородка внутренне дрогнул, но тут же, вспомнив о Волотовиче, сделал вид, что о приезде на конференцию секретаря обкома ему известно было заранее. На самом же деле это оказалось для него неожиданностью. Бородка знал, что на конференцию к ним должен приехать заведующий отделом пропаганды, и это обстоятельство его успокаивало: не приезжает никто из секретарей: — значит, серьёзных перемен не будет, значит, в нем по-прежнему уверены. И вдруг — Малащенко, которого после заседания бюро обкома он, Бородка, больше не считал своим другом, не любил и боялся. Почему приехал Малашенко? Что случилось? Это сильно встревожило Бородку. Но он не выдал себя ни одним движением. Спокойно спросил у Шаповалова:
— И где же оно, начальство?

— Было здесь, Артем Захарович, потом пошло вас искать, но его Алёна Семёновна встретила, увела домой.

— Ладно, — сказал Бородка, давая понять Шаповалову, что больше от него ничего не требуется.

Но помощник не уходил. — Может, что надо, Артем Захарович?

— Что? — не понял секретарь.

— Ну, сами знаете, — он сделал определенный жест. На лице Бородки мгновенно выступили красные пятна.

Шаповалов, хорошо знавший своего секретаря, испуганно отступил, не понимая, чем он его так разгневал.

— Идите занимайтесь своими делами, — сказал Бородка тихо, но с таким ударением на *«своими делами»*, что Шаповалов вылетел пулей.

— Подхалим, сукин сын, — усмехнулся Волотович, отходя от печки. — Разогнал бы ты их, а то, гляди, поставят ещё тебе это лыко в стррку: подхалимами окружил себя!

— Тоже один из твоих тезисов? — почему — то весело спросил Бородка.

— Нет. У меня на мелочи регламента не хватит. А вот о том, как вы в райкоме три месяца не можете решить вопроса об объединении организаций — колхозной и территориальной, — скажу.

— Ей-богу, ты становишься наивным человеком. Вопрос этот надо решать в принципе. Есть Устав партии. Попробуй сократи количество организаций — что тебе на это скажут?

— Устав не запрещает председателю сельсовета и сельпо, директору школы состоять в колхозной организации. А организацию это укрепило бы. Но у нас опять — таки формально: лишь бы больше счетом. Боимся, что количество уменьшится! Давай наконец о качестве подумаем!

Бородка вдруг засмеялся.

— Смотрю я на тебя, и кажется мне, что ты репетируешь передо мной свое выступление. — Он запер на ключ ящик стола. — Ты прости, но надо с начальством повидаться. Посиди здесь.

— Нет, спасибо. У меня дел хватает. Пойду в Сельхозснаб поругаюсь. Два месяца, как деньги за трубы и кормозапарник перечислили, а оборудование, должно быть, через два года будет. Вот где надо, чтоб лучше планировали!

Малашенко и Алёна Семеновна сидели в комнате и дружески беседовали. Когда они работали в одном

районе — Малашенко первым секретарем, а Бородка вторым, — семьи их дружили.

Малашенко как бы между прочим спросил:

— Не прокатят сегодня Артёма?

— Прокатят? — Алёна Семеновна замолчала, задумалась, простое, обветренное лицо её стало сурово. — Вряд ли. Некому критиковать. Боятся. Разве что Волотович. А надо. Ох, надо покритиковать. Хотя бы ты, Петр Андреевич, прочистил ему мозги.

Малашенко улыбнулся.

— А ты все такая же, Алёна. Узнаю. — И в свою очередь задумался. — Видишь ли, если я выступлю резко, его и в самом деле могут прокатить. А это нежелательно. Пойми, мы не можем сейчас разбрасываться такими опытными кадрами, как Бородка.

Он, как будто забыв, где находится, произнес это официально, веско, как надлежит секретарю обкома, — куда девались его простота и непосредственность!

Должно быть почувствовав это, Алёна Семеновна вздохнула.

— Жаль, что я не делегат, — я ему показала бы! Малашенко сразу изменился и весело захохотал.

— Неужто выступила бы?

— Выступила! Он не очень хотел, чтобы я в партию вступала. Испугался, что жена растет…

У секретаря от смеха и восхищения заблестели на глазах слезы.

— Молодчина ты, Алёна. Гляжу я на тебя, и радостно становится. И за Артёма спокойней на душе.

Их разговор прервал хозяин, Артём Захарович. Он шел домой с некоторым страхом, от которого ему самому

становилось противно, но в коридоре услышал смех Малашенко и успокоился.

— Весело вам здесь! — сказал он, здороваясь.

— А что нам! Докладов на конференции не делать. Критиковать нас, надо полагать, не будут. Не то что тебя. Вот ты и грусти, — пошутил Малашенко.

Когда жена вышла на минутку, Бородка тоже шутливым тоном спросил:

— Ты что это собственной персоной? Меня снимать приехал? Теперь же области соревнуются — кто сильнее перетасует районные кадры!

— Можешь не волноваться. Ты неколебим. Предлагали тебя перебросить в Светловку председателем райисполкома.

— Не ты ли по дружбе?

— Нет, не я. Наоборот. Защищал.

— Спасибо.

— Вот видишь. А ты обижаешься, что твой авторитет не поддерживаем… Обком поддерживает… Сам только ты им не дорожишь. С Лемяшевичем — некрасивая история, я тебе скажу… И, кроме того, — он оглянулся на дверь и заговорил шепотом, — мне сказали, что ты не прекратил своих визитов. Гляди, Артём! Уважая тебя, а ещё больше Алёну Семеновну, не прощу, если это правда.

Бородка покраснел и вдруг, потеряв свой гордый, независимый вид, начал оправдываться, как школьник:

— Вранье это, Петр Андреевич. Черт знает что выдумывают! Поклеп за поклепом! Прошу вас… тебя: не верь! Я Криницы стороной объезжаю, чтоб прекратить сплетни…

Вернулась жена, и он попросил:

— Леночка, дай, пожалуйста, перекусить, а то через час начинаем.

Она удивленно посмотрела на него: давно уже он не обращался к ней так ласково.

К другим собраниям и пленумам, когда доклад не требовали в обком, Бородка обычно только готовил развернутые тезисы. Для отчетно-перевыборных конференций он всегда писал доклад целиком от первого слова *«товарищи»* до последнего. Но все равно редко докладывал по написанному; почти всегда, прочитав вступление — общеполитическую часть и тот раздел, где говорилось о достижениях района за отчетный период, — он отодвигал текст доклада в сторону и обо всех недостатках говорил, уже не заглядывая в него, критиковал остроумно, резко, бросая иной раз такие меткие определения и афоризмы, что они становились потом крылатыми. Он умел завладеть вниманием аудитории; во время его выступлений не дремали и не разговаривали. Люди любят острое слово, он это знал, гордился своим красноречием и частенько злоупотреблял им, потому что, как говорится, всему есть предел. Бородка понимал это, но не всегда чувствовал меру.

На этот раз ввиду чрезвычайной важности конференции — она собиралась после перестройки всей работы райкома — Бородка твердо решил читать доклад до конца, не уклоняясь от текста, поэтому весь доклад написал сам, собственноручно. В нём все было рассчитано, все взвешено: положительное и отрицательное, критика и самокритика.

И в самом деле, он читал дольше, чем обычно, читал почти час и наконец все-таки не выдержал. Заметил, что в задних рядах разговаривают, что кто-то зевнул, что военком то и дело утирает ладонью лицо, от чего его всегда красный нос становится ещё краснее, — и отодвинул непрочитанные листки, сделал шаг в сторону, облокотился на край трибуны, острым взглядом окинул зал, как бы отыскивая тех, на кого сейчас обрушится его критика. И зал сразу

зашевелился, как бы подался ему навстречу, затих. Точно ветром сдуло сонное выражение на лицах, и Бородка начал…

Разговор с Малашенко погасил его неосознанную тревогу, неведомый до этих пор страх перед конференцией и не только вернул прежнюю самоуверенность, сознание своей власти над людьми, но, возможно, даже усилил все это.

Главным вопросом было направление ответственных работников из районных учреждений в колхозы. Бородка отметил почин Волотовича, рассказал, какую работу в этом направлении провел райком. А потом всю силу своего гнева и сарказма обрушил на тех, кто уклоняется от почетного долга коммуниста — идти на отстающий участок. Первым под огонь его критики попал заведующий райфо Пыльский. Докладчик ярко расписал, как этот человек вдруг обнаружил у себя сто болезней: и гипертонию, и язву, и камни в печени, и геморрой (геморрой и камни вызвали смех), как он начал обивать пороги лечебных учреждений, каждый день угощать молодого заведующего районной больницей, который по наивности своей, не догадывался, что к чему, — Мы вынуждены были, ему объяснить это в райкоме, и молодой специалист очень удивился, когда понял, что угощали его ветчиной и мёдом совсем не от чистого сердца.

Пыльский, толстый, широколицый мужчина с седым ежиком коротко подстриженных волос, опустив голову, вытирал рукавом залосненной синей гимнастерки пот со лба, заливавший его маленькие красные глазки.

Соседи оглядывались на него, смеялись, дергали его за рукав, а он в ответ на все только сопел.

— А вообще, напрасно коммунист Пыльский тратился. Райком и не собирался посылать его в колхоз…

Зал колыхнулся от смеха.

— Не такие нам нужны председатели! Можете не

волноваться! Другое дело, что надо подумать, может ли этот человек руководить таким ответственным участком, как райфин-отдел…

Смех сразу стих, несколько человек сочувственно посмотрели на Пыльского.

Так же жестоко и безжалостно Бородка раскритиковал уполномоченного по заготовкам, заведующего парткабинетом, директора спиртзавода. Но, увлекшись, вдохновленный смехом делегатов, аплодисментами, вспыхнувшими раза два, он, как это случалось с ним и раньше, стал терять чувство меры, а главное — объективность и принципиальность. Невольно начали брать верх личные антипатии, желание привести как можно больше хлестких примеров.

— Некоторые высокообразованные товарищи более хитро и дипломатично уклонились от колхоза. Наш уважаемый прокурор, товарищ Клевков, поставил райкому ультиматум: он, видите ли, согласен, даже проявляет инициативу, однако только в один колхоз — Чкалова… Но известно, что Дубодел работает неплохо и нет необходимости его снимать… Не можем мы, товарищи, идти по линии замены всех старых председателей… А ларчик просто открывался… Прокурор когда-то завел дело на чкаловского председателя, а дело оказалось липовое, райком не поддержал… Вот Клевков и решил убить трех зайцев сразу: отомстить Дубоделу, поднять свой престиж, и если уж идти, то идти в хороший колхоз…

— Ложь это все! — не выдержал и крикнул с места Клевков. — Сукин сын этот ваш Дубодел! Негодяй. От него две колхозницы родили, и одна сейчас беременна, семью разбил, а вы его защищаете!..

Шутники подхватили это сообщение.

Бородка сделал шаг назад, уперся обеими руками в трибуну, как будто хотел её перевернуть, и повернул голову ко второму секретарю, председательствовавшему на конференции, взглядом

требуя, чтоб тот навел порядок. Птушкин, забыв про колокольчик, постучал карандашом по графину, звук получился тонкий, нерешительный, как и его голос.

— Вам дадут слово, товарищ Клевков.

— Еще бы мне не дали слова! Запишите первым!

— Первые уже записаны. Пожалуйста, Артем Захарович.

Бородка снова вышел из-за трибуны, засунул руки за ремень. Почему-то на конференции и собрания он всегда надевал полувоенную форму — сапоги, галифе, гимнастерку, хотя обычно носил штатское — костюм, ботинки.

— Я не могу не обратить внимание конференции на анархические замашки человека, который должен стоять на страже советских законов. Клевков не желает признавать никакой партийной дисциплины. Клевков так поставил себя, что мы в райкоме не могли с ним разговаривать, — он всех обвинял… в оппортунизме… Вынуждены были просить обком…

Клевков скривился, закрыл лицо руками — и соседи услышали — даже зубами заскрипел. Потом выпрямился и, подняв руку, посмотрел на часы. Тогда Бородка тоже взглянул на часы, лежавшие перед ним на трибуне. Полтора часа, которые он просил для доклада, подходили к концу. Это обстоятельство сбило его с ритма. Он взял непрочитанные листки, взвесил их на руке и быстро перевернул несколько страничек.

Сократив так легко, чисто механически, свой доклад, Бородка — сознательно или бессознательно, неизвестно — опустил довольно важную часть его, которая могла бы до некоторой степени сгладить жесткую критику других, а именно — критику работы райкома и своей, как первого секретаря. Иначе говоря, выпало то, что называется веским словом *«самокритика»*. Между прочим, выпадает она в докладах довольно часто.

О партийно-политической работе Бородка прочитал торопливо, не очень выразительно, без пафоса, с которым начат был доклад, а потому скучно и неинтересно. Но, дойдя до вопроса о торговле, он снова оторвался от текста и здорово, хотя и не столь жестко и уничтожающе, *«пропесочил»* председателя райпотребсоюза и некоторых председателей сельпо. О достижениях в области народного образования прочитал, о недостатках же стал говорить, опять выйдя из-за трибуны. В докладе было несколько примеров, но он некоторые из них пропустил, чтоб *«выкроить»* время для случая, который не успел попасть в написанный доклад, но который был отмечен красным карандашом на полях странички двумя словами с четырьмя восклицательными знаками: *«Криницкая СШ!!!!»*

— О низкой дисциплине, плохой воспитательной работе в школах свидетельствует случай в Криницкой десятилетке…

Вообще, должен вам сказать, не везет нам с этой школой: Лемяшевич — пятый директор после войны. Мы обрадовались, когда он приехал. Бывший партизан, коммунист, кандидат наук…

Лемяшевич толкнул своего соседа Полоза. А его самого толкнул сидевший сзади директор школы из райцентра.

— Сейчас он тебе выдаст на всю катушку.

Лемяшевич не боялся критики, тем более что сразу понял — критика будет небеспристрастная. Но его разозлило, что Бородка явно издевается: ему прекрасно было известно, что Лемяшевич никакой не кандидат. А потом эти выражения из фельетона: *«не везет»*, *«пятый директор»*… Выходит, что и он такой же, как и его предшественники. Лемяшевич увидел, что два человека в президиуме ищут его взглядом — Малашенко и Волотович. Он отвел глаза от Малашенко и дружески улыбнулся Волотовичу.

— Товарищ Лемяшевич все время — не слишком

скромно, я должен заметить, — стремился доказать, что у него в школе образцовая дисциплина, образцовая воспитательная работа. Но оставим это на его совести. Обратимся к фактам, к живым фактам… А факты есть, и совсем свежие… Буквально на этой неделе ученики старшего, десятого класса дважды демонстративно сорвали урок, оскорбили преподавателя… И что ж вы думаете? Факты эти получили надлежащую оценку со стороны директора, педколлектива? Нет! Товарищ Лемяшевич, вместо того чтобы сделать соответствующие выводы, дать отпор хулиганам и нарушителям, по сути встал на их защиту. Он, видите ли, открыл здесь какие-то *«педагогические»* проблемы, занялся анализом психологии учеников… Быть может, это полезно для диссертации Лемяшевича, но безусловно не на пользу школе, воспитательной работе. Эта морализация и психологизация привели в конце концов к тому, что один из учеников десятого класса бросил школу и уехал в Минск к родственникам… Не думайте, что этот факт отрезвил ученого директора. Нет! Он сам благословил отъезд ученика, выдал необходимые документы и организовал торжественные проводы, сорвав ещё один урок… Вот вам и воспитательная работа! Кстати, этот ученик, при надлежащем воспитании, мог бы остаться в МТС. Это — Алексей Костянок, который в прошлом году работал комбайнером. И работал, как вы помните, неплохо!

— Отлично работал, — сказал Малашенко.

— Да, пока не было ученых воспитателей, — грубо пошутил Бородка. — А мы ставим задачу, чтобы у нас молодежь после школы оставалась в колхозах, в МТС. Не так для этого надо воспитывать, товарищ Лемяшевич! Поменьше *«педагогических»* опытов и побольше практической работы! Воспитание молодежи в духе коммунизма — трудная, но важная и почетная наша обязанность. Мы не можем забывать об этом ни на минуту! Теперь Лемяшевич, должно быть, чтоб выгородить себя, начал войну против беспартийного завуча, обвиняя его во всех смертных грехах. Районо надо очень серьёзно разобраться в этом деле…

«Кто информировал Бородку? — в продолжение этой речи думал Лемяшевич. — Заведующий районо Зыль не мог так это подать. Приходченко? Тоже маловероятно… Сам Орешкин нажаловался, — рассеялись его сомнения, когда он услышал последние слова секретаря. — Несомненно он…»

Лемяшевичу было странно и непонятно, почему Бородка, такой умный человек, в ответственном докладе выдает за истину то, что рассказал ему один только обиженный. *«Опять без проверки, не поговорив с людьми… Где же его объективность? Если он и других так критиковал — солоно ему придется!»*

Тем временем Бородка на подъеме с пафосом закончил свой доклад. Он, конечно, ждал грома аплодисментов, как всегда, потому и задержался возле трибуны, не послышались отдельные нерешительные Хлопки — в насмешку, что ли? — захлопало несколько человек в одном, потом в другом углу. Бородку это потрясло. Он не понимал, что случилось, так как твердо был убежден, что доклад у него идейный и боевой. В чем же ошибка? Он вдруг почувствовал усталость и, оставив папку с докладом на трибуне, быстро сел.

— Есть предложение вопросы задавать в письменной форме, — сказал Птушкин. — А сейчас объявляется…

— У меня устный вопрос! — раздался вдруг громкий голос в зале.

Поднялся высокий молодой человек в синем костюме. Его мало кто знал; не знали ни Лемяшевич, ни Полоз, ни соседи в их ряду; потом выяснилось, что это новый механик Заречной МТС Ковалёв, работавший раньше механиком в обкомовском гараже.

— У меня вопрос. За что товарищ Бородка получил выговор на бюро обкома?

Спросил и спокойно сел. Зал сразу притих, те, что собирались выходить, застыли на месте.

Растерявшийся Птушкин повернулся к Малашенко, но секретарь обкома не смотрел на него, а внимательно вглядывался в зал, в лица делегатов. Тогда Птушкин резко спросил:

— А какое это имеет отношение к докладу?

— Разве это тайна… от конференции? — спросил в свою очередь Ковалев.

Чувствуя неловкость положения и неспособность Птушкина замять этот вопрос, Бородка вмешался сам:

— Я отвечу товарищу… — он не помнил его фамилии, — когда буду отвечать на все остальные вопросы…

А в комнате для президиума, куда они вышли во время перерыва, Бородка сказал Малашенко:

— Это провокация Лемяшевича! Он просто распоясался после бюро. Нельзя при таких людях разносить секретаря райкома.

Волотович, услышав эти слова, возмутился: — Тебе всюду чудится провокация. Они до сегодняшнего дня друг друга в глаза не видели.

— До сегодняшнего!.. Такие быстро спеваются. Малашенко, помешивая ложечкой чай, заметил:

— В партии дисциплина одна для всех и тайн от коммунистов нет.

— Ты сам напросился на такой вопрос. Все помнят эту историю: газета опровержение напечатала, — сказал Волотович. — Твою критику восприняли как месть! Иначе её оценить и нельзя!

Бородка вскипел:

— Вы меня не ловите, товарищ Волотович. Свои ошибки я сам знаю!

— Однако ты ни слова о них не сказал.

— Тише, товарищи, — успокоил их Малашенко. — Для дискуссии есть трибуна.

Первые выступающие, подготовленные загодя, говорили каждый о работе своей организации — о своем колхозе, сельсовете, МТС, — осторожно и в меру, ставшую уже шаблоном, критиковали райком. Директор Криницкой МТС Ращеня первый откровенно высказал свое недовольство докладом секретаря.

— Я даже удивился. Ей-богу. Что такое, думаю! Артём Захарович, который так любит самокритику, не нашел ни одного слова, чтобы сказать о наших общих недостатках, о работе райкома. И в какое время, товарищи! Я читаю постановление Пленума, и мне кажется, что члены ЦК прямо на наш район смотрели, когда писали его. Всё как у нас. И вот сейчас партия наметила такой перелом в руководстве сельским хозяйством, вскрывает все начистоту... Чтоб все было видно. Вот как! Такого же доклада, боевого, откровенного, как постановление, ожидал я от Артема Захаровича... А выходит, что во всем один Клевков виноват. Ах, какой преступник Клевков!

— Мы по этим вопросам два пленума провели, товарищ Ращеня, — подал реплику Бородка.

— Провели? — как будто удивился Ращеня. — Ого! И что же, сразу постановление выполнили? Провели — и точка, все сделано! На конференции, на отчете райкома можно уже и не говорить? Так, что ли? Вон как мы работаем—любо-дорого! Было бы проведено! Мы и на местах уже привыкли: собрание проведено — дело сделано!

Никто из делегатов, кроме криничан, не понял из доклада, что же произошло в Криницкой школе. Докладчик получил много записок с просьбой рассказать об этом подробнее. Бородка читал записки и пожимал плечами: никогда ещё не было такого повышенного интереса к школьным делам. Обычно вопросы просвещения на конференциях затрагивали только заведующий районо и директора школ, да и те —

в конце своих выступлений, после дел колхозных, так как многие из них были секретарями парторганизаций.

В одной записке предлагали дать слово Лемяшевичу.

Но все разъяснил Волотович. Он начал с того, что попросил продлить ему регламент. Делегаты хором поддержали:

— Дать! Да-ать!

— Сколько хочет!

— Не ограничивать!

— Говори, Павел Иванович. Ты никогда не затягивал.

— У меня, товарищи, много есть о чем сказать — и главным образом о наших колхозных делах, о нашем сельском хозяйстве. С них я и хотел начать. Но начинаю с другого. Виноват в этом докладчик. Я начинаю с того, чем по сути товарищ Бородка закончил — с его критики Криницкой школы и её директора Лемяшевича. Я вынужден говорить об этом потому, что, по-моему, в этой, с позволения сказать, *«критике»* особенно ярко проявился стиль работы первого секретя и самый метод его критики… Я два года работал вместе с Бородкой и потому полностью готов отвечать за свои слова. Я говорил это Артёму Захаровичу с глазу на глаз, как коммунисту. Не помогло… Каков же его стиль? А вот каков. Известно, что доклад утверждается бюро, ибо это не отчет Бородки, а отчёт райкома… Но Бородка и тут не удержался, чтобы не нагородить отсебятины. Что ему мнение бюро? Разве он когда-нибудь с ним считался? Он ведь все делает с наскока, штурмом, без проверки и изучения фактов, без анализа их… Отсюда и оригинальный метод критики: раздуть любой случай, любой подхваченный с полуслова намёк и уничтожить таким образом непонравившегося человека…

Бородка опёрся лбом на левую руку, так что лица его, глаз из зала не было видно, и что-то глубокомысленно записывал в блокнот, делая вид, что все это к нему не

относится.

— Что же касается критики Лемяшевича, то это вообще некрасивая история. Здесь пахнет местью… Да, да, — решительно подтвердил Волотович, заметив быстрый взгляд Бородки. — Мне кажется, товарищ Ковалев не напрасно задал на первый взгляд бестактный вопрос. Все помнят фельетон в областной газете. Клевету на честных людей санкционировал Бородка и за это получил выговор на бюро обкома.

Он подробно рассказал о конфликте Алёши Костянка с Орешкиным, о выводах педколлектива.

— Как видите, факт не заслуживает того, чтоб посвящать ему столько времени на районной партконференции… Мне думается, если б товарищ Бородка все проверил сам, если это его заинтересовало, он не сделал бы таких неожиданных выводов, не сказал бы, что в школе отсутствует воспитательная работа. Можно спорить — всегда ли с педагогической точки зрения правильно и разумно поступал директор школы. Это вопрос другой. Можно не соглашаться с Лемяшевичем. Но не надо забывать, что воспитание — это не одни уроки, сухие нотации, проборки на собраниях. Нет! Воспитание — это очень сложный процесс. И нельзя, не разобравшись, оправдывать такого типа, как Орешкин, и позорить…

— Никто никого не позорит! — перебил его Бородка. — А Орешкин — не тип, товарищ Волотович! Это вы с Лемяшевичем так относитесь к беспартийному педагогу!

— Демагогией занимаешься, Артем Захарович!

— Ваше выступление — демагогия… Малашенко повернулся к выступающему.

— Обращайтесь к конференции!

Волотович, должно быть взволнованный этой стычкой, с минуту молчал, перелистывая блокнот. Потом как бы

начал выступление сызнова:

— Товарищи! Сразу хочу предупредить: как член бюро и бывший председатель райисполкома, я не снимаю с себя вины за все недостатки в руководстве колхозами… Более того, вина моя, как и других членов бюро, ещё усугубляется тем, что мы слишком долго молчали, шли за первым секретарем, подавляемые его авторитетом.

Волотович высказал и всё то, что он ещё летом говорил Бородке в его кабинете, и свои мысли о планировании, о работе МТС, о подборе людей на должность председателя колхоза.

— Народу у нас пошло в колхозы немало, и народу достойного. Это радует. Правда, надо сказать откровенно, не все шли по доброй воле и с большой охотой. Со многими пришлось райкому не один раз поговорить. Но мне вот о чём хочется сказать… Быть может, я ошибаюсь, пускай товарищи извинят меня и потом поправят. У меня такое впечатление, что Артём Захарович старается послать в колхозы только тех, кто ему не по душе, кто ему возражает. Для колхозов это, я считаю, неплохо, потому что большинство из них — беспокойные, смелые, дерзающие и решительные товарищи. Такие и нужны сейчас в колхозах! Но я боюсь другого… Я говорю об этом, пользуясь присутствием секретаря обкома. Я боюсь, как бы в районе на руководящих должностях не остались слишком уж спокойно ко всему относящиеся люди… Чиновники… Этакие Шаповаловы… Есть у нас такой инструктор, которого, я слышал, хотят назначить заведующим отделом. Я по опыту знаю, какая это сила — райпартактив. И ослаблять его…

— Не бойтесь, Павел Иванович, укрепим районные кадры, — заверил Малашенко, приветливо кивнув головой.

Бородка сидел мрачный, молчаливый, с усталым лицом, потухшим взглядом; он утром брился, но к вечеру подбородок его снова посинел.

Его отчасти успокоило и подбодрило то, что Волотовичу не хлопали. Правда, он кончил свое выступление без пафоса, простой фразой. Когда говорил, ему раза два крикнули из зала: *«Неправда!», «О своей работе скажи!»* Значит, есть люди, которые понимают его, Бородку. Однако во время перерыва он видел и слышал, как горячо делегаты обсуждают речь Волотовича. В прокуренном коридоре, возле буфета, на улице — везде собирались группами и спорили. Одни целиком поддерживали Волотовича, другие не все принимали в его выступлении и частично критиковали, третьи молчали, четвертые горячо защищали Бородку. Но таких было значительно меньше. И почти все, кто выступал после Волотовича, смело критиковали райком и первого секретаря. Просили слово даже те, кто раньше никогда на районных собраниях не поднимался на трибуну.

Малашенко, по приглашению Алены Семеновны, пошел ночевать к Бородке. Шли молча.

Артем Захарович глубоко, полной грудью вдыхал морозный воздух и смотрел на заснеженную улицу, покрытые инеем деревья, телефонные и телеграфные провода, обледеневшую колонку, возле которой катались на ногах мальчишки, точно видел все это впервые. Секретарь обкома с любопытством следил за ним тайком, представляя, что переживает сейчас *«побитый»*. За время совместной работы он хорошо изучил характер Бородки, его самолюбие, гордость. Однажды он даже в шутку спросил: *«Ты, Артем, не из шляхты ли, случайно?»* Бородка рассердился тогда за неуместный вопрос.

Дома молчать было нельзя. Алена Семеновна сразу по виду мужа догадалась, что ему *«всыпали»*. Она только взглядом спросила у Малашенко: *«Крепко?»* И, получив утвердительный ответ, в первый раз пожалела мужа, понимая, как ему сейчас тяжело.

Покуда она возилась на кухне, Бородка прошелся взад-вперед по комнате, остановился возле Малашенко, который просматривал свежие газеты, и спросил:

— Как тебе это нравится?

— Что? — поднял голову Малашенко, не сразу поняв, о чем он говорит, и думая, что это относится к чему-то в газете.

— Работа Волотовича.

— Какая работа?

— Его, с позволения сказать, *«критика»* и все, что им организовано.

— Что ж, критика как критика. Кое-что в ней субъективно…

— Все субъективно! Заушательство!.. Старые обиды… Мстит! И, заметь, это нездоровое явление — группировка, созданная с целью разгромить первого секретаря райкома…

Малашенко, пряча хитрую усмешку в глазах, прищурился.

— Ты кое-кого громил покрепче — и ничего, живы, здоровы, работают.

— Что ты равняешь? — Бородка бросил на стол газету и снова зашагал по комнате. — Я критикую, чтоб улучшить работу, а тут… Я тебе скажу… Если ты не дашь должного отпора, не поставишь на место этого старого демагога, который носится со своей мнимой принципиальностью… я вынужден буду ставить перед обкомом…

На лицо Малашенко словно упала тень.

— Ты что же… хочешь, чтоб я именем обкома оградил тебя от критики коммунистов?

— Это не критика.

— Нет, это критика! Критика настоящая, направленная на пользу дела, возможно, в большей степени, чем твои

«разносы». В Волотовиче говорит боль коммуниста за положение в районе… А ты — *«поставить на место»*… Странно ты толкуешь партийную демократию.

— Ну, конечно, я позабыл… Вам лучше знать, — обиженно отвернулся Бородка.

Неожиданное *«вы»* и вообще весь тон Бородки неприятно поразили Малашенко. Если бы не хозяйка, которую он искренне уважал и не хотел обидеть, он, наверно, ушёл бы из этого дома.

Алёна Семёновна принесла закуски и, услышав, что между мужчинами идет серьёзный разговор, деликатно вышла опять — пускай договаривают.

— Да, — вздохнул Артем Захарович, — был Бородка первым в области… и стал Бородка…

Малашенко отодвинул газеты.

— Прости меня, но ты трус и паникёр! Покритиковали — и сразу раскис. Отвык ты от критики, вот что я тебе скажу!

Он сел за стол рядом с хозяином и положил себе на тарелку капусты.

— Ты признаешь только критику сверху! Тебя на бюро обкома не так крыли — и ты соглашался и благодарил. А тут заело: как посмели критиковать тебя, Бородку, первого секретаря! — Малашенко вдруг просто, по-дружески положил руку ему на плечо. — Нельзя так, Артём… Пойми. Не то время. Народ активизировался. Теперь лучше всего — признать свои ошибки. И не становиться на дыбы. Поддержат Волотовича, а не тебя. Так-то! — Он снял руку и весело позвал: — Алёна Семёновна! Ждем вашей команды. Без вас не можем начинать!

Малашенко в своей недолгой речи (делегаты ожидали, что секретарь обкома, как многие представители из центра, будет говорить часа два, а он занял только полчаса) поддержал Бородку. В его выступлении было

немало дельных замечаний о работе райкома, но он дал понять, что обком рекомендует Бородку первым секретарем.

— Я, хорошо зная товарища Бородку, не сомневаюсь, что он сделает из вашей принципиальной критики на этой конференции правильные выводы, — сказал Малашенко делегатам, которым предстояло через час-два выбирать районный комитет.

Бородка, которого успокоила и подбодрила речь секретаря обкома, в заключительном слове действительно пообещал *«сделать все выводы»*. Однако свой страх перед голосованием он обнаружил на совещании представителей делегаций, где предварительно обсуждали кандидатуры будущих членов райкома. Неожиданно Полоз, загремев костылями, предложил включить в список Лемяшевича.

Внешнее спокойствие изменило Бородке, он подскочил к самому краю сцены, наклонился над Полозом, сидевшим в первом ряду.

— Вместо кого? — Он протянул руку со списком и потряс им над головой у Полоза. — Нет, вы скажите — кого вычеркнуть? Кого? Нам нужно сорок пять, и у нас есть сорок пять. Кого вычеркнуть?

— Никого не нужно вычеркивать. Голосование покажет. Я предлагаю своего кандидата — Лемяшевича и, если надо, докажу, что он достоин.

— Не разводите вы анархии со своим Лемяшевичем!

— А вы поставьте на голосование! — спокойно и твердо требовал Полоз.

Его смелость и уверенность — на это до сих пор ещё никто не решался — и испугали и возмутили Бородку. Он начинал терять самообладание. Опасаясь, что Бородка наделает глупостей, и понимая его страх перед лишним человеком в списке, Малашенко пришел ему на помощь.

— Погодите. Товарищ Полоз должен понять… От вас — Волотович и ещё два человека из МТС. Лемяшевич безусловно достоин быть членом райкома, но нельзя же, товарищи, чтобы половина состава райкома была из Криниц.

Довод был убедительный, его сразу все поддержали.

— Из нашего колхоза нет ни одного.

— У нас никого из сельсовета, и мы молчим.

Полоз, обведя всех хитрым взглядом, снял свое предложение.

И голосование показало…

Председатель счетной комиссии — главный бухгалтер банка Цирюльников, низенький, толстый, неизменно жизнерадостный человек (его на каждой конференции выбирали в счетную комиссию), — на этот раз вышел на трибуну без привычно веселой улыбки, какой-то растерянный, даже как будто испуганный. Зал сразу затих и насторожился, чувствуя, что произошло что-то чрезвычайное.

Голос Цирюльникова звучал хрипло, пока он читал протокол номер один — о распределении обязанностей между членами комиссии.

— Выпей воды! — крикнули ему.

Он послушно выпил полный стакан воды.

— …Анипка: за — сто тридцать семь, против — пять. Богданов: за — сто сорок два, против — нуль. Бородка… — Цирюльников как бы задохнулся и испуганно глянул в сторону президиума, — за — шестьдесят четыре, против — семьдесят восемь…

Он остановился. В зале кто-то ахнул, кто-то засмеялся. Бородка тяжело встал, мрачно посмотрел куда-то в задние ряды, где было темновато и дымно, глухо сказал! — Ну, спасибо…

И, по-стариковски ссутулясь, пошел со сцены. Малашенко окликнул: — Артём Захарович! Бородка не оглянулся.

29

Он остановился на знакомом крыльце, запорошенном снегом, — крыльцо выходило прямо на улицу. Вокруг было темно, тихо и пусто: ночь перевалила на вторую половину. Деревня спала. Спали и в доме. Только ветер тонко звенел голыми, обледеневшими ветвями старой ивы под окном, кидал пригоршни сухого снега, гнал по улице снежные коемы, наметая сугробы у плетней и колодцев.

Человек, которому уже стукнуло сорок, вдруг почувствовал, что очень волнуется, сердце бьется так, что удары его больно отдаются в висках. Волнуется, как юноша, пришедший на первое в жизни свидание. Нет, это волнение другое: в нем преобладает страх, как перед приговором. Он не мог решиться постучать, как не раз стучал в эти двери раньше. Он и в самом деле не был здесь больше двух месяцев, и ему после всего, что случилось сегодня на конференции, становилось страшно от мысли, что и здесь его встретят не так, как жаждет его душа.

Он перчаткой сбил снег с сапог, вытер платком мокрое лицо, все время оглядываясь — хоть бы никто, припозднившись, не прошел и не увидел его на этом крыльце!

Наконец он постучал, и от этого нерешительного стука у него ещё сильнее забилось сердце. Хлопнула дверь из комнаты в сени, и голос, старушечий, совершенно незнакомый, спросил:

— Кто там?

Бородка вздрогнул: *«Что ещё за новости? Откуда тут взялась эта старуха?»* Он не ответил, и голос повторил:

— Кто там?

«Может быть, Марина взяла какую-нибудь старушку, чтоб не оставаться одной. Боязно». Он спросил:

— Марина Остаповна дома?

В ответ щелкнула задвижка, дверь отворилась, в темных сенях мелькнула белая фигура. Он вошел вслед за ней в комнату, чиркнул спичкой. В той половине хаты, которая служила раньше кухней и где стоял один только стол, теперь прежде всего ему бросилась в глаза кровать и на ней две всклокоченные головы — женщины и девочки. Незнакомая женщина посмотрела на него и сразу натянула одеяло на голову, спряталась, как бы испугавшись, что её узнают. Почувствовав присутствие ещё одного человека, он повернулся. Кто-то, вздыхая, умащивался на лежанке, должно быть та самая старуха, которая ему отворила, но спичка погасла, и Бородка не разглядел её.

Он прошел на чистую половину, прошел осторожно и так же осторожно зажег другую спичку, Тут все знакомо, все так, как было. Он увидел Марину, Она спала, красивая и желанная; пышные волосы рассыпались по подушке, поверх одеяла лежала голая рука. Она проснулась, когда он чиркнул ещё одной спичкой. Открыла глаза, взглянула без удивления и радости, спокойно и равнодушно, как будто он вышел из этой комнаты час назад, сказала:

— Ты, Артём?

— Где лампа? — не здороваясь, спросил он.

— Там, на кухне. — И вдруг она спохватилась — Погоди, я сама. Там люди.

Она соскочила на пол в одной короткой сорочке, неслышно проскользнула мимо него, и через минуту он почувствовал запах керосина, потом увидел, как её фигура проплыла к столу.

Когда он зажег лампу, она сидела на постели, укрыв

ноги одеялом и кутаясь в большой шерстяной платок.

— Что за люди?

— А это та самая учительница… Сухова. Я решила их пустить. Снимать им трудно — трое их. А она — женщина тихая, и, главное, девчушка у неё забавная такая. — Лицо Марины Остаповны осветилось радостью, но она взглянула на Бородку и, встревоженная, спросила: — Что случилось, Артём?

Он подошел к кровати, тень от него упала на Марину и, огромная, заколыхалась на стене. Он сделал движение, будто хотел обнять её, но не обнял и снова прошелся по комнате, плотнее прикрыл дверь.

— Что ж, это даже лучше… Квартира нам больше не нужна. Уезжаем.

— Куда уезжаем?

— Куда? — Он на миг смешался, так как не думал, куда можно уехать. — Найдем место… Проживём!

— Нет, ты скажи — что стряслось?

Бородка снова остановился возле кровати, и лицо его так исказилось от боли и злобы, что Марина испугалась.

— Что стряслось? Меня прокатили… Не выбрали… Вот что стряслось… Это — благодарность за то, что я шесть лет, не зная ни дня ни ночи, работал как вол… И вот — пожалуйста… Достаточно было выступить какому-то Волотовичу, который сделал красивый жест — пошёл в колхоз… Достаточно было этому старому демагогу сгруппировать вокруг себя разных Лемяшевичей, и они всё повернули, как им вздумалось! Демократия! Нет! Это не демократия, это — анархия. Плохо они понимают демократию! И Малашенко — дрянь. Старый друг, называется! Карьерист!..

Пока он ходил по комнате и злобным полушепотом высказывал свое возмущение, Марина Остаповна

молчала. Обхватив руками колени, прикрытые одеялом, она оперлась на них подбородком и, казалось, не слушала, что говорит Бородка, а думала о чем-то своем.

Когда он наконец остановился и замолчал, она сказала тихо, как бы отвечая самой себе:

— Никуда я больше не поеду!

Бородка шагнул к постели, сдернул платок и сжал холодными пальцами её горячие голые плечи.

— Марина! Я летел к тебе среди ночи. Ты единственный родной мне человек. И ты должна понять… Наконец, все это и заварилось из-за тебя.

Она спокойно сняла его руки со своих плеч и, качая головой, тихо, но твердо повторила:

— Я не поеду, Артём.

Он устало присел на кровать, закрыл лицо руками.

— Да… конечно… теперь я тебе не нужен. — В голосе его не было уже ни злобы, ни гнева, но не было и печали, жалобы, а только усталость и безразличие ко всему.

А она отвечала не ему, а своим сокровенным мыслям: — Мне тридцать пять лет… Да… Я много ездила, искала. И чего искала? Счастья? А счастье — это так просто… Ведь вот Сухова, даже та счастливее меня… У неё умер муж, но у неё дочка. Хорошенькая такая девочка!.. Беленькая, глазки голубые… целый день звенит, даже в доме веселей стало, словно весна пришла… — Она тяжело вздохнула. — Когда меня бросил первый муж, я болезненно переживала это, но не понимала его тогда, а теперь поняла. Мне было двадцать три, а ему тридцать, ему очень хотелось ребенка… Я думала, что нашла счастье, когда встретилась с тобой… Правда, три года я себя чувствовала счастливой… Мой второй муж плакал, когда я уходила от него, целовал руки, умолял, он любил меня, но я ненавидела этого хлюпика… Я жила с ним, а думала о тебе… Ты позвал — и я

прилетела сюда, бросила город… Прилетела с надеждой… На что я надеялась? На счастье? На какое? На краденое счастье? Нет, больше я не хочу краденого счастья! Разве это счастье?! Боже мой!.. Мне бы ребенка! — вдруг прошептала онаи умолкла. — Но уже поздно. Говорят: бабий век — сорок лет… Куда ты меня зовешь, Артём? Зачем? На что я тебе? На потеху? Красивая содержанка! Ведь так? — вдруг громко, со злостью спросила она, глаза её блеснули.

Бородка отнял руки от лица и удивленно посмотрел на нее.

— Когда свалилась на тебя неприятность, ты набрался храбрости связать свою судьбу с моей. Но надолго ли? Вот ты говоришь: всё это из-за меня. И ты ведь не простишь… Я знаю, ты не простишь мне этого. Я знаю, что тебе всего дороже… И никуда ты отсюда не уедешь! У тебя семья, дети… Дети! И должность новую тебе дадут только здесь. Так чего же ты ищешь? У тебя же всё есть! Правда, сегодня ты много пережил — я понимаю. Для тебя это тяжелый удар… Но, чтоб утешиться, ты нашёл виноватых!

Он как-то хмыкнул — неопределенно, не то презрительно, не то печально, встал и отошел к столу. Неожиданно грубо спросил:

— Выпить есть что-нибудь? Я устал как черт.

Марина Остаповна отрицательно покачала головой, должно быть все ещё продолжая думать о себе.

— Не ждала? — спросил иронически.

— Не ждала, — созналась она.

30

Даша Журавская прилаживала на окна новые гардины, когда вернулся с работы Роман Карпович. Сын сразу кинулся к отцу, семилетняя дочка, стараясь показать, что она уже взрослая, продолжала помогать матери.

Отодвинув диван, взгромоздив на табурет детский стульчик, Даша стояла перед окном, босая, в халате, широкие рукава которого упали на плечи и обнажили красивые руки, ещё бронзовые от летнего загара; она прибивала карниз.

— Опять? — укоризненно спросил муж.

Даше нравилось, чтоб в квартире было красиво, уютно, и она каждый раз покупала новые вещи.

— Нет, ты только посмотри! Дешёвые, а как красиво!.. Не каждый день такие встретишь, три часа в очереди пришлось простоять.

Она держала во рту гвозди и потому смешно шепелявила. Сын, забравшись к отцу на руки, начал смеяться и передразнивать.

Роман Карпович не стал спорить и пошел мыть руки.

— Ну, скажи — разве не красивые? — спросила Даша, когда он вернулся.

Ей, как каждой женщине, хотелось, чтобы муж похвалил покупку. Она сидела у стола, продергивала шнурок во вторую гардину и любовалась той, которая уже висела. Он улыбнулся в ответ, но совсем не так, как обычно в этих случаях, — хмуро, с иронией. Она заметила это и насторожилась.

— Погоди, кончу, будем обедать.

— Пожалуйста, — ответил муж, не проявляя особого интереса и к обеду.

Это ей тоже не понравилось. Человек здоровый, с отличным аппетитом, он обыкновенно кричал уже с порога: *«Даша! Обедать!»*

Роман Карпович прошел в соседнюю комнату, остановился перед книжными полками, занимавшими всю стену, и долго смотрел на книги так, как будто прощался с ними. Потом подошел к приемнику,

включил и тут же выключил, сел в мягкое кресло у стола и потрогал старые гардины, которые через минуту будут заменены новыми. Даша через открытую дверь тайком наблюдала за ним. *«Что-то случилось»*. Но она знала, как бывает тяжело и неприятно, когда в такие минуты начинают лезть с расспросами, даже если это делает и близкий человек. Поэтому она никогда, заметив, что муж расстроен, не обнимала его, не целовала, не спрашивала ласково: *«Что случилось, Рома?»* Она вошла в комнату с гардиной и сказала:

— Принеси табурет.

Роман Карпович принес табурет и хотел влезть на него, но Даша не позволила.

— Погоди, я сама, ты в ботинках, перемажешь мне все.

Он поддерживал табурет, чтоб она не упала. Стоя там, наверху, не прекращая работы, она спросила шутливо и как бы между прочим:

— Не секрет, чем расстроен товарищ Журавский?

— Чем? — Он с благодарностью посмотрел вверх, на её руки: молодчина, своим тоном она помогла ему начать разговор. — Товарища Журавского посылают в район.

Даша круто повернулась и, верно, упала бы, если б он не подхватил её на руки. Она вскрикнула, обняла его за шею, прижалась на миг, но тут же освободилась от объятий и, чуть побледневшая от испуга, спросила с изумлением:

— Тебя? На работу?

Четыре месяца шла кампания — направляли ответственных работников из города в деревню, в сельские районы, но ей ни разу и в голову не пришло, что могут послать её мужа, кандидата наук, ответственного работника ЦК.

Она присела на краешек дивана, поправляя волосы, и сразу стала не по-домашнему серьёзна, как будто даже

растерянна; в то же время какая-то торжественность и важность появились в её лице, как это бывает у женщин в новоротные моменты жизни.

Роман Карпович отошел к книжной полке и стал выравнивать книги, стараясь, видимо, скрыть свое волнение.

— Ну вот… видишь, как бывает… Когда я сам посылал людей, мне казалось, что это проще, чем мне старались доказать. А оно вон как: ты — в институте, Таня — в музыкальной школе. Я мечтал за докторскую взяться… И вот — иди секретарем. И куда? Знаешь, куда? В наш район! Откуда пришел — туда и возвращайся. Как тебе это нравится?

Она вопросительно посмотрела на мужа. Он объяснил: — Конференция провалила Бородку, Не понимаю, что там у них произошло.

— А я понимаю, — сказала Даша. — Я давно тебе говорила: зазнался, считал, что ему все позволено.

— Не буду спорить… Ты безусловно, как всегда, права. Он хотел пошутить, но шутка не вышла. Даша вертела концы пояса от халата. Он понял, что она нарочно не смотрит на него, воспринял это как укор, как осуждение и растерялся. Хотелось объяснить ей все это так, чтоб не вызвать с её стороны упреков, а главное — не огорчить. Даша не заплачет, не посетует — он это знал, но ему было жалко её: не легкая у неё была жизнь. Как она радовалась, когда поступила в институт, и потом, когда получили эту уютную квартиру, И вот всё надо бросать… *«Пойми меня, мой добрый друг, как ты всегда понимала»*. Он присел к столу и сказал серьёзно, почти официально:

— Меня волнует ещё и другое… Все ли там правильно отнесутся к моему возвращению? Окончил академию, работал в ЦК и вдруг обратно.

Даша вдруг подошла и встала рядом. Теперь он боялся взглянуть на нее, ожидая жестких слов. Но рука её

ласково легла ему на плечо.

— Зачем ты меня агитируешь?

— Я? — Роман Карпович взглянул на нее с тревогой и радостью.

— Что я, не вижу?! Уговариваешь, как девочку. Мне просто обидно. Вспомни, в сорок первом мы не раздумывали и не решали, где нам будет лучше, где хуже и какую должность ты займешь — командира или рядового бойца... Мы с тобой первыми ушли в лес. И если так нужно сегодня... Ведь ты же сам согласился, разве я не вижу! Так зачем тебе меня уговаривать? Постыдился бы!

В радостном порыве он не обнял её, а крепко, до боли сжал руки. А когда она охнула, он подул ей на пальцы, как маленькой, и поцеловал их. Дети с веселым смехом бросились к родителям. Несколько минут они напряжённо следили за ними, прячась за дверью. Им показалось, что родители собираются поссориться, и они совсем растревожились, особенно плакса Таня.

31

До вечера осматривал Журавский МТС и колхоз, осматривал, как хозяин, вернувшийся после длительной командировки. Все ему знакомо тут до мелочей, все, что остается неизменным многие годы, — поля, рощи, луг, речка. Но многое и изменилось за шесть лет: выросли новые постройки — фермы, гаражи, мастерские. Он почти каждый год приезжал в Криницы отдыхать, но тогда не так замечал все эти перемены. Оказывается, чтобы все видеть, надо смотреть не глазом дачника, а хозяйским глазом.

Припомнилось начало его секретарской деятельности, сразу же после прихода Советской Армии, когда они, партизаны, вернулись на родные пепелища. С чего они должны были начинать? Здесь, в Криницах, которые, кстати, только наполовину были сожжены, не осталось ни одного коровника, конюшни, да и коров не осталось

ни одной, а лошадей — десятка два калек, выбракованных из армии. На должности председателей попадали какие-то случайные люди, которых каждый год приходилось менять. А теперь? Пускай ещё не самая лучшая МТС, пускай ещё и колхоз только средний… Но какие возможности, какие перспективы! Есть где развернуться, есть с кем работать! Какие люди выросли! В МТС — Сергей главным инженером, тот Сергей, которого он, Журавский, помнит мальчишкой и когда-то, ещё в бытность свою секретарем райкома комсомола, принимал в комсомол. А председатель колхоза какой профессор!

Он мало знал Волотовича и встречался с ним всего один раз: приехал как-то летом, не застал Бородки и обратился к председателю райисполкома — попросил машину, чтоб добраться до Криниц. Волотович его знал больше, так как ему рассказывали о прежнем секретаре, да и не раз он видел и слушал Журавского на республиканских совещаниях. Теперь, пробыв несколько часов вместе, сперва — в МТС, потом — в конторе правления и на фермах, они познакомились ближе.

Уже вечерело. Они задержались на ферме, смотрели, как доят коров. Волотович только что получил первые доильные аппараты, но работали они почему-то плохо. Молоденькая девушка-зоотехник, которая уже три дня обучала доярок, боялась признаться, что она и сама не умеет пользоваться ими, и чуть не плакала от отчаяния. Роман Карпович и председатель помогли ей разобраться, в чем причина неполадок.

Волотовичу хотелось показать секретарю ещё свинарник с механизированной кормокухней. Но свинарник этот находился в Задубье, за три километра, а на дворе начиналась метель.

Журавский шутливо запротестовал:

— Смилуйтесь, Павел Иванович. Тем более что я, по правде сказать, приехал к тестю в гости. Жена там ждет, родичи… Идёмте лучше погреемся.

В хате у Степана Костянка было, как на праздники, намыто, начищено, прибрано. Печь дышала жаром и такими ароматами съестного, что сразу разгорался аппетит. На чистой половине Даша накрывала столы, накрывала искусно, по-городскому, и в доме все ей подчинялись. А она сама любовалась плодами рук своих и тут же укоряла растерявшихся родителей:

— Что это вы точно к свадьбе готовитесь! Просто пообедаем — и все.

Но и Степан Явменович, и Улита Антоновна, и сама Даша знали, что будет не просто обед, так как людей придет немало, даже если и не приглашать; одни захотят повидать Романа Карповича, другие — Дашу.

Адам пришел из школы, потянул носом воздух, увидел Дашу с засученными рукавами и, вместо приветствия, пошутил:

— Приемчик налаживаешь в честь нового секретаря, Дарья Степановна?

Матери, должно быть, послышалось что-то обидное в этих словах, и она сказала в сердцах:

— Типун тебе на язык, Адамка.

Костянки рады были возвращению зятя и дочки в родной район. Улита Антоновна, правда, сначала потихоньку спросила у Даши:

— Дашенька, а не понижение это для Романа? Но Степан Явменович одобрил их переезд сразу же, как только получил письмо, рассуждая просто и по-крестьянски мудро:

— Давно бы так. А то все Потапов выделяли. Нет, Потапы колхозов не подымут. Теперь нужны люди ученые. Вот это дело другое! Волотовича — в колхоз, Журавского — в район. Напрасно Бородку отпустили. Из него тоже председатель вышел бы…

Но ещё больше приезд Журавских обрадовал

Лемяшевича. Он и сам не понимал причины своей радости, но ходил последние дни именинником, с нетерпением ожидая нового секретаря, словно тот вёз лично для него новую жизнь. Он не выдержал и пришел к Костянкам раньше всех. Увидел Дашу и смутился, как влюбленный. А она долго и крепко жала ему руку, весело смеялась.

— Ага, стыдно вам? Ни одного письма — подумать только! — Писал.

— И он называет это письмом и оправдывается. Когда приехал, написал, поблагодарил — и конец дружбе. Я думала, вы женились тут.

— А его таки чуть не оженили… — пошутил Адам.

— Садитесь и рассказывайте всё подряд. А то о вас легенды ходят.

— Какие легенды? — не на шутку встревожился Лемяшевич. — Легенда — всегда плод фантазии, Дарья Степановна. А мне и рассказывать нечего. Работал, делал ошибки, как любой смертный…

— Рассказывайте об ошибках. От меня вы не отвертитесь. Я вас заставлю рассказать. Разве не я вас сюда сагитировала? Ай, мама, пирог! — глянула она на часы и бросилась к печке. — Простите, пирог — это мое творчество.

Лемяшевич с любопытством наблюдал за Дашей, как она хлопочет возле печки, и в этот миг почему-то представил свою холостяцкую квартиру, где, несмотря на все его старания и помощь друзей, все-таки нет того уюта, какой создает в доме хозяйка, и ему стало грустно; он почувствовал себя в жизни одиноким и неустроенным. *«Нет, надо жениться»,* — подумал он, но от этой мысли не стало веселее, сразу вспомнилась Наталья Петровна. В глубокой задумчивости смотрел он на Журавскую, а видел её, Наташу. Чем дальше, тем сильнее и сильнее овладевает им чувство, и радостное и вместе мучительное. Теперь он уже знал, что это не

просто увлечение, какие бывали у него иной раз, а настоящая любовь, горячая и глубокая, в которую он раньше не очень-то и верил, думал, что она существует только в книгах. Он чувствовал, что долго так не может тянуться, что надо что-то делать. Но что? Что он может сказать, на что может надеяться? И как потом смотреть в глаза Сергею, этому кристально чистому, детски доверчивому человеку? *«Скорей бы они поженились, — не раз думал он долгими бессонными ночами. — Тогда не осталось бы никакой надежды — и точка. Мало ли на свете хороших женщин!»*

Улита Антоновна поставила на стол горячий пирог, который передала ей Даша, прикрыла полотенцем, как прикрывала хлебы, вынув их из печи и смочив румяную корочку водой.

— Кириллович, — вывела она из задумчивости Лемяшевича, — а Алёша-то не приезжал в Минск, — и прослезилась.

— Как не приезжал? А письмо?

— В письме он писал, что живет у Даши, передавал привет, а они и в глаза его не видели.

— Это вы ему внушили такую скромность? — спросила Даша у Лемяшевича.

— Гонора у него много, а не скромности, — сказал отец с порога, входя с большой миской соленых рыжиков.

— Я вам всем простить не могу, что отпустили его, — вздохнула Даша. — Разве можно — из десятого класса!

— Ничего, не пропадет! — успокоил женщин отец. — Я моложе его на Урал на заработки ездил. Самостоятельнее будет.

Пришли Журавский и Волотович, замерзшие, засыпанные снегом, но друг другом довольные, весёлые, все продолжая разговоры — о колхозных делах. Пришел Данила Платонович. Журавский сердечно обнял его. Старик тайком утер слезу и сам

обнял Дашу.

— Рад за вас, друзья мои. Спасибо вам.

— За что, Данила Платонович? — удивилась Даша.

— Как за что? Письма мне хорошие писали, за книги. И за то, что вернулись. Знаю, что это нелегко… Но ведь нужно, Роман?..

Старик стоял посреди комнаты и говорил серьёзно и несколько торжественно. Журавский, испытывая неловкость от такой встречи, пошутил:

— Вы меня не агитируйте, Данила Платонович. Я сам себя сагитировал.

— Вот за это спасибо. А хочешь критики — пожалуйста, скажу… Мало ещё опытных людей идет в деревню с охотой. А кто по принуждению — в такого работника я не верю, толку из него не выйдет.

— Еще бы! Какой уж толк, если из-под палки! — отозвался Степан Явменович, расставляя стулья и табуреты. — Однако прошу к столу. Сергея дожидаться не будем. Семеро одного не ждут.

Сергей не захотел срывать занятия со школьниками и пришел поздно, за это его заставили выпить *«штрафную»*. Еще позже пришла Наталья Петровна. На дворе разыгралась февральская метель, засвистела за окном, завыла в трубе. Морозова ввалилась в дом похожая на снежную бабу. Дверь на кухню была открыта, её увидели и радостно зашумели. Даша выбежала и горячо обняла подругу. Сергей помогал ей раздеваться, и лицо его светилось счастьем. Лемяшевич завидовал другу: он, Лемяшевич, не имеет права так встречать её. Да и нельзя ему обнаруживать свои чувства.

Зачем? Пускай ничто не тревожит Сергея, Наталья Петровна шла к столу, обнявшись с Дашей.

— Как я рада, что ты приехала! Если б ты знала, как я

рада!

Они сели против Лемяшевича. Сергей сидел на другом конце стола, рядом с Волотовичем. Наталье Петровне налили вино.

— Я из Задубья ехала на санях. Дорогу замело. Я водки выпью. — Она подняла маленькую рюмочку. — За нашего секретаря! — Она сказала *«нашего»* с той хорошей теплотой, какую умеют придать самым простым словам женщины.

Она не допила своей рюмочки, и её никто не стал принуждать, как Сергея. Лемяшевич не сводил с нее глаз. Она чувствовала его взгляд, краснела и нервничала, хотя в глубине души ей было приятно, что он так смотрит на нее.

Лемяшевич принадлежал к породе тех немногочисленных людей, которые, выпив, редко обретают дар красноречия, а чаще, наоборот, становятся молчаливыми и неловкими. Почувствовав, что слишком явно любуется Натальей Петровной, и испугавшись, что на это наконец могут обратить внимание, он попытался принять участие в общей беседе, но все у него получалось невпопад, и он невольно опять поглядывал на неё — не смеется ли она над ним? Нет, Наталья Петровна шепталась с Дашей.

Журавскии провозгласил тост за женщин, ему захлопали, Лемяшевич протянул бокал к Наталье Петровне и сказал:

— За вас!

— А за меня? — шутя спросила Дарья Степановна.

— И за вас, за всех, — смутился он.

Наталья Петровна тоже покраснела.

Разговор за столом становился все более шумным.

— Нет, Роман Карпович, это сверху кажется, что иначе

быть не может… Я так же думал, пока сидел в райисполкоме…

— Адам Макарович, передай, брат, грибки!

— Сходи, Степанка, принеси ещё…

— Нет, послушайте, вы станьте на место председателя, б неделю поймете, что это такое — планирование сверху…

— Не решайте за чаркой государственные дела!

Но до слуха, до сознания Лемяшевича доходили не эти громкие возгласы мужчин, а тихий шепот двух женщин. Он старался не слушать, старался отвлечь свое внимание, поглядывая на другой конец стола, хотел возразить кому-нибудь, затеять спор — и не мог.

— Не притворяйся, Наташа… Ты совершаешь насилие над собой… над чувством…

— Лена… Ей тринадцать лет…

— Мы не умеем вести счёт деньгам. Что делают наши экономисты? Я не понимаю, зачем ремонтировать хлам, который мы чиним. Мы больше затрачиваем…

— Доказывайте. Вы — хозяева.

— У нас на бумаге права большие, а на деле — план, и никаких разговоров.

— Вот-вот… То же, что с планированием посевов…

— Тебя пугает слово *«отчим»*. Да разве же Сергей такой человек?

— Гости дорогие, давайте ещё по маленькой! Слышите, что делается на дворе? Под этот свист только и выпить. Наливай, Сергей!

— Да, злится зима.

— Пускай, больше снега — больше хлеба. А какая ещё

забота у хлебороба?

— Только с ним... — дальше Лемяшевич не расслышал, — я не потому что... его сестра...

— Боже мой! Я уважаю его, но...

— А ты снегозадержание организовал? А то последний сметет с поля.

— Ого! Снегозадержание у нас в этом году как никогда! Налей там женщинам, Кириллович!

Лемяшевич налил женщинам густой вишневой настойки, но они даже не взглянули на него.

— Нет, не знала ты его, настоящего женского счастья. — Дарья Степановна, увлекшись, сказала это в голос.

Наталья Петровна сжала Дашину руку, оглянулась, и взгляд её встретился с его взглядом.

Одно мгновение они смотрели друг другу в глаза. Но как смотрели! Говорят, любовь и ненависть всегда рядом. И вот во взгляде Лемяшевича отразились оба эти чувства во всей их понятной для нее глубине. Она ужаснулась. Выпустила руку подруги, прижала ладонь к груди и, опустив глаза, тяжело вздохнула.

— Так что ж, за урожай этого года? — предложил Во-лотович.

— Выпьем за урожай, Наташа! — сказала Дарья Степановна, поднимая свою рюмку.

— Будет урожай, Павел Иванович! Будет! Я полвека землю пашу и знаю, когда он будет, а когда нет! — говорил, слегка захмелев, Степан Явменович.

— По зиме?

— Не по зиме — по людям. Как люди работают!

— Правильно, отец! Хорошо сказано!..

— Хочешь, я поговорю с Леной?

— Нет, нет…

Улита Антоновна, которая без конца подносила закуски и присаживалась на минутку то возле одного, то возле другого гостя, видно догадалась, о чём шепчутся старшая дочка с докторшей. Подошла, села рядом с Натальей Петровной, сказала бесхитростно:

— Наташенька, не мучай ты его и себя. Сохнет он по тебе, света не видит.

Лемяшевич хмыкнул и неуместно и довольно бестактно пошутил:

— Не мучайте людей, доктор.

Женщины удивленно посмотрели на него, но каждая удивилась по-своему, потому что поняли они его разно.

Лемяшевич вышел на кухню — просто так, вернулся и сел рядом с Сергеем.

Часов в одиннадцать, когда уже пели песни и танцевали, Наталью Петровну вызвали к больному.

Человек, с головы до ног облепленный снегом, с кнутом в руках, стоял на кухне. Она выслушала его, вернулась и, стоя в дверях, сказала, виновато улыбаясь, как бы прося прощения!

— Позвольте поблагодарить вас, дорогие хозяева. — Куда? — спросила Дарья Степановна.

— В Тополь.

Тополь — самый дальний поселок сельсовета, километрах в семи от Криниц.

— Ой-ой! Серьезное что-нибудь?

— Ребенок.

— Убедительно, — сказал Журавский. — Машина не

пройдет?

— Где там! — отозвался из кухни приехавший. — К нам и до этой метели машины не ходили! А теперь — не знаю, как и на лошади доберемся.

Все с молчаливым сочувствием смотрели на Наталью Петровну. А она в душе была рада, что вырвется отсюда: упорное сватанье Даши разволновало её. Кроме того, она все время боялась, что, подвыпив, вдруг начнут обсуждать все это вслух, втянут Сергея, заставят её дать ответ.

— Возьми тулуп, Наташа, — заботливо предложила Улита Антоновна.

— Тулуп я захватил, — сказал человек из Тополя.

— В такую погоду не помешает и второй, ноги получше закутай, — как родной, наказывала старуха.

Наталья Петровна не спорила. Она быстро надела пальто, накинула на плечи тулуп, длинный, до самого пола, по-девичьи живо повернулась, подметя тулупом пол хаты, и выбежала в метель.

32

Больная — девочка четырех лет, худенькая, с тонкими ножками, с широко открытыми голубыми глазами — задыхалась. Мать, женщина уже пожилая, носила её на руках по хате и не приговаривала, не утешала, а стонала от отчаяния, Когда Наталья Петровна велела ей положить девочку на кро: вать, мать, послушно выполнив приказание, кинулась ей на шею и заголосила:

— Докторка ты наша дор-ро-га-ая, помира-ает мо-я-а Галька!

— Замолчите! — строго сказала Наталья Петровна, освобождаясь от её рук.

— Мое единственное дитятко. Ра-адость моя ненагля-адная!

— Не пугай ребенка! — с раздражением прикрикнула она и приказала хозяину: — Успокойте её! Клим робко сказал:

— Варя, а Варя!

Наталья Петровна ловко размотала с шеи девочки косынку, тряпки, вату — домашний компресс. Малышка погладила ручкой шею, потом схватила руку врача и жалостно, как бы моля о спасении, прошептала:

— Тётя!

Наталье Петровне самой стало тяжело дышать, она отвернулась от родителей, чтобы скрыть слезы. Много видела она страданий и смертей и уже умела сохранять внешнее спокойствие. Но от спокойствия этого ничего не оставалось, когда под угрозой была жизнь ребенка.

— Не бойся, моя хорошая, не бойся. Скажи, где у тебя болит, — И я вылечу… Скоро ты будешь бегать…

— На улице, — прошептала девочка запекшимися губами, Рядом всхлипнула мать.

— На улице, на улице, моя славная. Вон какие горы намело, на саночках будешь кататься. — Наталья Петровна, наклонившись над больной, гладила её ручки, грудь, щеки, одновременно осматривая и выслушивая её. — Открой ротик, Галька!

Нет, ошибки быть не могло, она правильно поставила диагноз ещё в дороге, расспросив отца. Тяжелая форма дифтерии. Видеть ей это не впервой, но никогда ещё она так не волновалась: болезнь запущена, на дворе — метель, везти в районную больницу невозможно и поздно. Жизнь ребёнка в её руках. Надо успокоиться, чтобы не выдать себя, не напугать родителей. Вот они стоят у постели, как у гроба. Варя зажимает косынкой рот, чтобы не закричать, не заголосить.

Клим, кусая обвислые усы, гладит рукав её кофточки и успокаивает жену все теми же словами:

— Варя, а Варя!

Надо дать им работу, чтобы они отошли, не мешали.

— Вскипятите воду! — Есть горячая вода.

— Не горячая, а кипяток. И огонь нужен! Огонь!

Они бросились выполнять её приказание. В это время она ввела первый кубик сыворотки. От укола девочка заплакала. Мать упустила чугун, на полу расплылась лужа, а она и не заметила — стояла неподвижно, с помертвевшим лицом и слушала. Наталье Петровне стало жалко женщину. Тяжелая у нее судьба.

Сирота, она всю жизнь прожила в людях и до сорока двух лет не вышла замуж. Вскоре после войны к ней посватался вдовец — вот этот самый Клим из Тополя, лет на двадцать старше её. У Клима когда-то была большая и дружная семья: три сына, две дочки, веселая и работящая жена. Но два сына погибли на фронте, жена померла от горя, дочки повыходили замуж, третий сын работал в городе, и старик остался бобылем.

Наталья Петровна хорошо помнила, как Варя обратилась к ней, напуганная непонятными болями в животе, рвотой и другими недомоганиями. Врач выслушала её и сказала: *«Ничего особенного. Ребёнок будет у вас, Варя»*. — *«Ребёнок? У меня — ребёнок?»* Она смотрела на Наталью Петровну неестественно расширенными глазами, с выражением страха, радости, недоверия, надежды… и лицо её от этого стало наивным и смешным. Наталья Петровна не выдержала и рассмеялась. Смех её, должно быть, обидел будущую мать, она вздрогнула, вспомнила вдруг, что сидит голая, застыдилась, схватила свое платье, прикрылась им и, как девочка, бросилась за ширму.

Потом роды. Тяжёлые. Акушерка вызвала Наталью Петровну, и она провела в этой хате почти двое суток,

помогая появлению на свет самого большого счастья женщины.

Наталья Петровна знала, как дрожала Варя все эти годы над своим единственным ребенком — над утехой и радостью своей жизни. Ей сорок седьмой год. А сейчас, в горе и отчаянии, она кажется совсем старухой. Наталья Петровна посмотрела на неё, как она стоит над пролитой водой, боясь шевельнуться, боясь подойти к постели, и ей самой стало жутко от мысли, что девочка может умереть. Сразу почему-то представилась своя дочка, представилась маленькой, беспомощной, больной. *«Боже мой! Что со мной сегодня? Так нельзя. Нельзя думать про Лену. Я ничего не сумею сделать»*.

Она подошла, обняла Варю и ласково попросила:

— Успокойтесь, Варя. Все будет хорошо. Поверьте мне. Клим вытирал пол. В хате запахло дымом: ветер задувал в трубу, и дрова в печи не разгорались. За окнами свирепела вьюга. Сухой снег белыми ручейками струился по черным стеклам, внизу на створках расцветали фантастические узоры: вместе с вьюгой крепчал мороз. Ветер свистел в ветвях дерева, стоявшего возле хаты, свистел пронзительно, жалобно. На дворе что-то трещало и хлопало. Тускло горела лампа. На стенах качались тени. В душу заползал какой-то неясный страх.

Наталья Петровна стала рассказывать о других больных детях, убеждая несчастную мать, что нет болезней, которые нельзя было бы вылечить. Выслушала сердце малышки и довольным голосом сказала:

— Ну вот, все хорошо! После укола тебе легче, Галечка? Правда?

Нет, ей не делалось легче, она задыхалась, удары сердца слабели, несмотря на камфару. Но мать верила в чудодейственную силу уколов. Теперь она двигалась проворнее, как бы постепенно возвращаясь к жизни, и сама начала рассказывать, как её Галечка захворала, строила догадки, кто мог занести её, эту проклятую

заразу.

Но чем легче становилось матери, тем тяжелее и страшнее делалось самой Наталье Петровне. *«Зачем я говорю ей все это? Зачем я лгу? — мучительно думала она, наклоняясь над девочкой. — Я никогда раньше не лгала. Чем я утешу эту несчастную женщину, если ребенок умрет? Что я скажу? Нет, нет, я не допущу, чтоб девочка умерла!.. Она должна жить! Жить! В этом и мое счастье, и моя жизнь! Что это я брежу? При чем здесь моя жизнь?»*

Через час она ввела всю дозу сыворотки. Это болезненный укол — внутримышечный, но девочка не заплакала. У нее поднималась температура, она теряла сознание. Наталья Петровна испуганно взяла её на руки. *«Только спокойно! Только спокойно! И следить за сердцем! Боже мой! Выдержало бы твое маленькое сердечко! А я сделаю все, чтобы ты жила»*.

Мать бросилась к ней с криком:

— Она помирает! Докторка, дорогая!

— Не бойтесь. Пожалуйста, не бойтесь!

Но она сама видела, что ждать, пока начнет действовать сыворотка, нельзя, девочка не выдержит. Надо оперировать! Но как? Она производила несколько раз трахеотомию, но в таких условиях, на глазах у матери, которая от горя потеряла голову, делать такую операцию — резать горло... Невозможно! А что возможно? Что возможно? Интубация? Это лучше — бескровно, и у нее есть все необходимое. Но она делала эту операцию всего один раз, когда была на курсах усовершенствования. Делала с помощью сестры, с санитарами. И в книге написано — только в условиях больницы и с опытным персоналом! А если ребенок умирает?! Если близко нет опытных людей?..

— Сама сделаю! — не подумала, а громко и решительно произнесла она и быстро стала готовиться.

Когда все было налажено, она подала девочку отцу:

— Держите вот так ноги, руки. Не жалейте, если хотите, чтоб она осталась жить!

Но когда она решительно раскрыла девочке рот расширителем, Варя снова кинулась к ней:

— Ой, не надо!

Наталья Петровна оттолкнула её;

— Не мешайте!

Операция удалась. Легкие получили воздух через трубку, и девочке сразу стало легче, её положили на кровать, она уснула. Наталья Петровна выпрямилась, вытерла косынкой пот, вздохнула и попросила воды. Это был самый тяжелый час во всей её практике. Выпив воды, она села на лавку у стола. Присел и Клим у печки на низенькую скамеечку, по-старчески сгорбившись. Только мать не отходила больше от постели. Теперь девочка дышала бесшумно, ровно, только часто вздрагивала и раскрывала глаза.

Девочка спит, нитка от трубки, привязанная к уху, лежит на её бледной щеке. Это уже почти победа! Наталья Петровна снова присела к столу и… уснула: шел четвертый час ночи, а у нее был трудный день. И ей приснилось… весна… май… Она идет с Лемяшевичем по знакомому лугу за рекой, по густой высокой траве, по цветам — таким ярким, что от них в глазах пестрит. Михась до боли сжимает её руку и счастливо смеется. А ей страшно. Они подходят к лесу, который почему-то очень шумит, хотя ветра и нет, и видят за дубами Сергея. Он следит за ними. Михась хватает её на руки, прижимает к груди и хочет бежать. Но трава оплетает ему ноги, и он… не может сдвинуться с места и всё крепче прижимает её к груди. У неё болит щека, и руке больно…

Она очнулась. В самом деле замлела рука, на которой она лежала, и щека болит — впилась пуговица, что была

на рукаве халата. Она вспомнила сон и вздрогнула. *«Что это со мной делается? Который уже раз все то же? И так странно!»*

Встал в памяти сегодняшний вечер. *«Как он смотрел! Он слышал, как Даша меня сватала. Даша умная, а не может понять… Нет, Даша по-своему права… Сергей — хороший, добрый… Что это я? Убеждаю себя, заставляю верить, что он хороший. Начинаю сама с собой хитрить. Что с тобой, Наталья Петровна? Да и в твои ли годы думать об этом? Мои годы! А знала ли я в свои годы настоящее счастье? Испытала ли я счастье иметь семью? Муж, дети… Даже горе в семье переносится легче…»* Она опомнилась, подошла к больной.

— Спит, — чуть слышно прошептала мать; она сидела на табурете у постели и не сводила с дочери глаз.

— Вы тоже прилегли бы, Варя… Отдохните.

— Что вы, докторка! Разве я усну? А вы ложитесь, я на лежанке постелила… Дай бог вам здоровья!

Разбудила её часа через два перепуганная Варя. От кашля вылетела интубационная трубка, и девочка снова стала задыхаться. Пришлось повторить эту тяжелую операцию. И так — трижды за утро. Малышку это до того напугало, что она начинала дрожать, когда Наталья Петровна приближалась к ней, и звала на помощь:

— Мамочка!.. Мама! Больно!

Наталья Петровна сама еле держалась на ногах. Ее вдруг начало раздражать завывание ветра, хлопанье ставен и монотонный, надоедливый скрип за окном.

— Что это… скрипит?

— Берёза, — ответил Клим. — На дворе страшный ветер. Она поморщилась.

Он натянул кожух и взял из-под лавки топор. Она

подумала о березе и остановила его:

— Не надо. Что вы! Не надо рубить!:

— Да там одна ветка… Упирается в ставню… Я давно отрубить хотел.

Девочке стало легче. Наталья Петровна прилегла и опять заснула. Когда проснулась, увидела, что на дворе давно уже день, хотя вьюга метет с прежней силой и в снежной завирухе не видно даже хат по другую сторону улицы. Нельзя было и думать о том, чтоб на лошади везти больную в районную больницу. Надо лечить здесь и в то же время принять меры, чтоб не заразились другие дети. Она сама пошла по хатам — предупредить взрослых, осмотреть малышей. Одному мальчику с подозрительными налетами в горле ввела сыворотку. Потом, по колени проваливаясь в сугробы, разыскивала бригадира. Он в компании мужчин выпивал. Причину выпивки объяснил просто: *«Все равно на двор носа нельзя высунуть»*. Она попросила лошадь и послала одного паренька в Криницы с запиской к Анне Исааковне, чтоб та немедленно сообщила в райздрав о случае дифтерии, вызвала санитарную машину, эпидемиологов, прислала медикаменты и присмотрела там за Леной.

Когда она вернулась к своей больной, Галя не испугалась её, а встретила слабой, застенчивой улыбкой. Наталья Петровна поняла, что опасность миновала, что начало действовать самое надежное средство — сыворотка. От радости на глазах у нее заблестели слезы.

— Вот мы и победили! — уверенно объявила она.

— Буду за вас богу молиться, родная вы моя! — плакала от радости Варя.

Машина из района пришла лишь на следующее утро, когда немного унялась метель, да и то добралась она только до Задубья. Два километра закутанного ребенка несли на руках — отец, мать, сестра из районной

больницы.

Наталья Петровна осталась вместе с эпидемиологами. Вечером вернулся Клим и с благодарностью сообщил: Галька в больнице, чувствует себя совсем хорошо. Тогда усталой Наталье Петровне до смерти захотелось домой, к своей дочке. И хотя час был поздний, она попросила Клима запрячь лошадь и отвезти её в Криницы.

33

Метель утихла, в просветы между тучами выглядывал молодой проказник месяц. Выглянет, спрячется, а через минуту опять глянет на укрытую снегом землю. Но из разорванных туч все ещё сыпал снег, легкий, искристый. Дорогу совсем замело, ехали не по большаку, обсаженному деревьями, а стороной, по полю, где снега было меньше. Лошадь то проваливалась на межах по брюхо, то на взгорках попадала на голую землю и останавливалась.

Сидеть в тяжелом тулупе было неловко, ныла спина, и Наталья Петровна легла. Снежинки нежно целовали губы, веки… Пахло сеном. Чудесно пахнет сено зимой! От его летнего аромата становится тепло и начинает казаться, что это пахнет снег.

Приятная усталость разлилась по телу — усталость человека, который честно поработал и имеет право отдохнуть. Хорошо на душе, легко, светло! Кажется, никогда ещё не испытывала она такой радости, такого счастья от того, что не впустила горе в чужую хату, что одолела безжалостную и страшную силу — смерть. *«Да, это счастье, счастье не только для Вари, Клима, Гальки, это и мое счастье! Если б всегда было так легко, так радостно… Не знать бы тревог… беспокойства»*. Она вздрогнула, потому что снова встал перед ней Михаил Кириллович с этим его взглядом. *«Чего ты хочешь от меня? Зачем так на меня смотришь? И с любовью, и с ненавистью… Для тебя нестерпимо, что меня сватают?.. Хорошо, я признаюсь: я тебя люблю… Боже мой! Что это я!»*

Она испуганно подняла голову и глянула на широкую спину Клима — не услышал ли он её мыслей? Нет, он спокойно почмокивал, понукая лошадь, и дергал вожжи. Лошадь фыркала. Снежинки стали крупнее и гуще. В стороне замелькали тусклые огоньки…. — Где это мы, Клим Федорович?

— А мы Задубье объезжаем лугом. По улице не проехать — так намело.

Наталья Петровна закрыла глаза. «*Как там моя Леночка?*» Но напрасно она хотела отвлечься, думая о дочери. Он не отступал, он стоял рядом. «*Да, я тебя люблю. Но я боюсь тебя, боюсь за Лену… Зачем ты приехал? Я жила спокойно, ничто меня не тревожило. Работала, растила дочку. Ты пойми, — чуть не со слезами молила она, — не могу я. Ведь ты педагог, ты должен это понять… Я три года отказывала Сергею. Три года!.. Я его лучше знаю, чем тебя. Он очень хороший! И я… — Она взволновалась и обрадовалась своей мысли. — Так куда проще… К этому все готовы, даже Лена… Никто меня не осудит, наоборот, поздравлять будут… А ты… ты человек порядочный, ты не позволишь себе домогаться любви замужней женщины. И все сразу станет на свои места. Сергей и Ленку никогда не обидит — в этом я уверена…*»

Она долго убеждала себя, что Сергей лучший человек в мире и что самое разумное, чтоб сохранить уважение окружающих, свой покой и покой дочки, — не откладывая больше, выйти за него. Чтоб не возвращаться к этим мыслям, она заговорила с Климом о поездке в район, потом — о делах в бригаде (это была самая отстающая бригада, и Волотович недавно сменил там бригадира).

Незаметно доехали до Криниц. Деревня спала: не работала станция, и люди, привыкшие к электричеству, редко теперь пользовались лампами. Только кое-где светились окна, главным образом в хатах, где были ученики старших классов, и в квартирах учителей.

Попрощавшись с Климом, Наталья Петровна забежала

на медицинский пункт, оставила там инструменты, кожух, умылась и, успокоившаяся, но с неясной грустью на душе, как будто потеряла что-то очень дорогое, направилась домой.

Проходя мимо школы, она увидела освещенные окна директорской квартиры и остановилась у входа на школьный двор, где сходились многочисленные тропки, протоптанные школьниками. Окна приворожили её, она не могла оторвать от них глаз, как ребенок от манящей тайны. Что там, в этих комнатах, за этими простыми занавесками?

Колыхнулась в одном окне тень человека. Она почувствовала, как застучало сердце. Это он! Что он делает? Один или кто-нибудь у него есть? Где-то в глубине души шевельнулось женское, ревнивое чувство, давно уже она не испытывала его. *«А может быть, там Сергей? Он часто тут засиживается...»*

Незаметно для себя она очутилась на школьном дворе, по ту сторону забора. Сердце её с каждым шагом билось все сильней и сильней.

Она оглянулась. Теперь отступление невозможно: а вдруг кто-нибудь видел?

«Но что я скажу, если зайду? Как объясню свой приход? — У неё перехватило дыхание, она прижала руки к груди. — Я скажу... я скажу, что ищу Волотовича, что срочно нужна машина или лошадь, чтоб отвезти больного».

Она обрадовалась этой невинной выдумке и смелей двинулась вперед, не подумав, что Волотович, может статься, как раз будет здесь, в гостях у Лемяшевича.

«Зачем тебе туда идти? — звучал в ней голос благоразумия, но она отгоняла его, обманывая самое себя. — Я погляжу, как он живет, мне ни разу не пришлось побывать у него дома... А мне интересно...»

Она остановилась на крыльце, чувствуя предательскую

тяжесть в ногах, словно к ним подвесили пудовые гири. *«Если он станет спрашивать — кто, не отвечу и убегу»*, — решила она, чтоб подбодрить себя.

Но он ничего не спросил, он открыл сразу и так скоро, что она не успела опомниться. И не удивился, увидя её, только очень обрадовался, будто долго-долго ждал, но твердо верил, что она непременно придет.

— Наташа! — прошептал он и тут же, на пороге, обнял и поцеловал$7

Она не оттолкнула его. Но ей почему-то захотелось плакать, слезы душили её, она не могла вымолвить ни слова, пока Михаил Кириллович, обняв за плечи, вел её в комнату. Тут она улыбнулась ему виновато и растерянно. А он снова стал целовать её губы, щеки, глаза. Тогда она сказала:

— Миша! Не надо! Я только что от дифтеритного больного!

— Вот и хорошо! Пусть я умру, как Дымов, от дифтерии, от коклюша, от всех детских болезней… от всех…

— Зачем же тебе умирать?

— Правда, зачем мне умирать, когда у меня такое счастье?

Он размотал её платок, помог снять пальто. Она стояла посреди комнаты, стройная, как девушка, в зеленом шерстяном платье, и ловкими, привычными движениями красивых рук поправляла свои чудесные волосы, утром наспех свернутые в большой пышный узел.

Лемяшевич, повесив пальто, с нежностью любовался ею. Он не верил своему счастью. Наташа, о которой он столько думал и мечтал, — в его комнате, такая близкая, простая, он может подойти и без конца целовать её. С юношеским пылом он покрывал поцелуями её волосы, шею, потом прижал её ладони к своим щекам.

— У тебя холодные руки… Ты только сейчас из Тополя? Двое суток там провела? Страшно подумать, что я не буду видеть тебя по двое суток. Ты погляди, как пылает печь. Садись, погрейся. А я чай вскипячу. Ты хочешь чаю?

— Я есть хочу. С утра ничего не ела. Я требовательная гостья, — засмеялась Наталья Петровна.

— А ты не гостья, ты — хозяйка. У меня есть печенье.

Он вышел в другую комнату. Наталья Петровна присела на перевернутый табурет, застланный одеялом, протянула руки к жаркому дыханию огня.

«Только что здесь сидел он, — подумала она и подкинула в печку дров, свежие поленья весело затрещали. — Я — хозяйка… Что же это?» Она прислушалась к себе — что там у нее в душе? Не было ни страха, ни стыда, ни раскаяния. Хотелось тепла и ласки. Она не вспомнила в этот момент ни о Сергее, ни о своем недавнем, казалось твердом, решении.

Лемяшевич вернулся и снова в бурном порыве чувств бросился к ней, опустился на пол, положил голову ей на колени.

— Если бы ты знала, сколько счастья ты мне принесла!: Я словно предчувствовал. Я даже не мог работать… Потом мне показалось, что холодно. Я принес дров, разжег печку… и вот сидел здесь и все думал о тебе. Я решил, что завтра увижусь с тобой и все скажу, скажу, как я люблю тебя… — Он посмотрел ей в глаза и попросил: — Скажи, что и ты любишь.

— Я пришла… — Она ласково взъерошила его волосы. — Это больше, чем слова… А знаешь, я стояла на крыльце и думала: если станешь спрашивать — кто, я не отвечу и убегу. Хорошо, что ты не спросил. Нет, видно, никуда бы я не убежала…

— А я услышал шаги, стук, и сразу почему-то решил: ты! Я все время думал о тебе. Думал и боялся…

— Боялся?! Мне кажется, что все это сон. Проснусь — и ничего не будет. Так неожиданно… Знаешь, несколько месяцев назад я дала себе клятву, что никогда не полюблю тебя. Когда я увидела тебя в первый раз, я испугалась. Мне стало страшно, что ты омрачишь юность моей дочери… А для меня не было на свете ничего дороже… Мне даже хотелось, чтоб ты оказался дурным человеком… пьяницей, как твой предшественник, или связался с какой-нибудь Приходченко. Прости меня… В мои годы от человека, которому собираешься доверить свою судьбу, многого требуешь.

— Наташа!

— Я верю тебе, мой славный. Ты — хороший, ты — честный. Знаешь, меня не раз уговаривали выйти замуж, называли *«монашкой»*, *«черствой душой»*. Боже мой! Если бы они знали, как мне было нелегко! Как мне хотелось любить! Хотелось ласки… Вот такой ласки, — она подняла его голову и крепко поцеловала в губы. — А теперь посмотри мне в глаза и скажи: ты никогда не обидишь Лену?

— Наташа!

— Нет, ты скажи.

— Лена уже большая. Я уверен, что мы будем с ней самыми лучшими друзьями… Раньше я и не подозревал, что так умею дружить с детьми. Это — народ, который нельзя обмануть, перед которым нельзя хитрить и от которого ничего не скроешь… Лена меня уважает, я наблюдал за ней — и вижу.

— Как учителя.

— Не возненавидит же она меня только за то, что я стану её отчимом. Она сумеет разобраться, что хорошо, что плохо. Ты все ещё считаешь её маленькой.

— О нет! Она не маленькая. Как я была бы рада, если б вы стали друзьями!

Говорят, влюбленные всегда эгоисты, в минуты встреч для них ничто не существует на свете, кроме них самих и их любви. Может быть, этот *«эгоизм»* и был причиной того, что они ни разу не упомянули имени Сергея, хотя разговаривали чуть не до рассвета и переговорили, казалось, обо всем, даже успели поспорить, кому куда переселяться: ей ли с Леной в школьную квартиру или ему к ним,

34

У Лемяшевича не было уроков, и он пришел в учительскую после звонка. Марина Остаповна тоже не была занята на первом уроке, она сидела одна, проверяла диктант.

— А я думала, что вы заболели: от вас утром выходила Груздович, — сказала она.

Сказала без всякого умысла, так как даже ей не могло прийти в голову заподозрить Наталью Петровну в чем-нибудь таком, что могло дать повод для сплетен. Но Михаил Кириллович смутился от её слов, как мальчишка, и выдал себя. Многоопытная Марина Остаповна сразу всё поняла и не удержалась, чтобы не съехидничать:

— Поздравляю.

У неё заблестели глаза от радости, что даже эта женщина, считавшаяся чуть ли не святой, оказалась обыкновенной смертной, такой же грешницей, как и все, и в то же время от ревнивого чувства, — хотя она ни на что не надеялась, Лемяшевич нравился ей всё больше и больше. Перед Лемяшевичем она чувствовала себя робкой девушкой — после первого разговора о квартире ни разу не решилась даже вольно пошутить с ним или проявить свою симпатию. Это было непривычное для неё и приятное чувство. Снова где-то в глубине души затеплилась надежда на счастье. И вот — всему этому конец. Еще одно разочарование. В один миг она стала злобной, язвительной, готовой издеваться

над всем и вся.

Михаил Кириллович спрятался от нее у себя в кабинете, с радостью и страхом поняв, что тайны больше нет.

«Надо предупредить Наташу, чтоб её не захватили врасплох».

В учительской раздался голос Сергея:

— Кириллович у себя?

— У себя, у се-бя! — не ответила, а, казалось, пропела Приходченко с такой иронией и насмешкой, что Лемяшевич не знал, куда и деваться, хоть выскочи в окно, только б не встречаться с другом.

Сергей шутя постучал в дверь и широко распахнул её, веселый, приветливый.

— Ты чего завтракать не явился? — спросил он, пожимая Лемяшевичу руку.

— Проспал.

— Что за церемонии — проспал, так и не завтракать! Мать и сейчас ждет. Сходи.

— Да нет, голова что-то болит.

— Ты в самом деле чего-то красный. Может, захворал? — встревожился Сергей. — Зайди к Наташе.

Лемяшевича даже передернуло всего.

— Нет, нет, температура нормальная, я мерил. — Гляди... Ты, кажется, хотел в район ехать?

— Да, жду Волотовича.

— Пока соберется твой Волотович... Я еду на *«козле»* до станции. Нужно в город. Старик сам хотел съездить, да нездоров... Едва уговорил, чтоб полежал. Если не хочешь завтракать — едем сейчас.

В машине, кроме них, оказались бухгалтер МТС, финагент, студентка, приезжавшая на выходной и задержавшаяся из-за метели. Разговор шел общий — обычный шутливый дорожный разговор. Лемяшевич почти не принимал в нём участия: ему не давала покоя мысль о том, как поговорить с Сергеем, рассказать ему обо всем, что случилось. Главное — он не представлял, как Сергей примет все это. Такие тихие, раздумчивые, чистые и по-своему романтические натуры часто бывают страшны в критические моменты их жизни. Одни могут совершить что-нибудь над собой, другие обрушиться на тех, кто стал у них на пути, разбил их надежды. Лемяшевич боялся, что Сергей наделает глупостей, которые могут отразиться на их с Наташей будущем. *«Может, ему лучше узнать от кого-нибудь другого»*.

— Что это ты, Михась, сегодня какой-то?.. — спросил Сергей, когда они уже подъезжали к райцентру.

— Какой? Скучный?

— Нет. Вроде заговорщика. В воротник прячешься. Лемяшевич пожал плечами.

— Да нет, ничего… Задумался. Случается, приходит охота пофилософствовать про себя.

— Ого! — засмеялся Сергей. — Со мной это не случается, я — человек точных наук, над старыми поршнями не расфи-лософствуешься. Я вот еду за деталями, ругаться буду, но, знаю, вырву, что нужно… А потому у меня и хорошее настроение.

На переезде Сергей и студентка соскочили с машины и пошли на станцию.

Уладив все дела в районо, финотделе и банке, Лемяшевич заглянул в райком. Надо было разрешить небольшой вопрос, но главное — ему захотелось повидать Романа Карповича, поговорить с ним, поглядеть, как чувствует себя новый секреттарь. Не застав никого в приемной, он постучал в дверь, на

полинялой обивке которой четко выделялся прямоугольник на том месте, где раньше висела табличка с надписью: *«Секретарь РК КП(б) Бородка А. З.»*.

Новой таблички не было. Из-за двери доносились голоса двух человек. Стука его, должно быть, не услышали. Лемяшевич приоткрыл дверь, спросил:

— Можно?

— Кто там? Лемяшевич? Заходи, заходи!

Роман Карпович радушно пошел навстречу. В глазах его искрился смех, на лице — веселая удовлетворенность; так же светилось и лицо его собеседника — Клевкова. По всему видно — разговор у них перед этим был интересный и живой. Лемяшевич подумал, что он, верно, помешал, и почувствовал себя неловко. Но Клевков весело приветствовал его и сразу сообщил:

— Иду председателем в Чкалово. Дубодела мы погнали… И я, Роман Карпович, настаиваю, чтоб отдали его под суд за все его махинации. Выкормыш Бородки! — Клевков даже кулак сжал.

Журавский с улыбкой покачал головой.

— Безжалостный вы человек. Об отсутствующих дурно не говорят.

— Я их и мертвых добрым словом не помяну! Клевков стал прощаться.

— Так договорились, Роман Карпович. Послезавтра я вас жду. И знайте: если не неделю, так уж три дня никуда не выпущу. Слово дороже всего, как говорится… А если потом буду делать ошибки, которых мог бы избежать, лупите без всяких скидок. За одного битого трех небитых дают. Закон! Только, конечно, не насмерть… От покойника никакой пользы. Однако учтите, что и я зубастый… Если что не так — знаю, куда обратиться. Да и профессию свою вспомню. — Он

перевел взгляд на Лемяшевича. — Волотовичу привет передайте. В гости приеду, поучиться у старика.

— Добрый председатель будет! — сказал Роман Карпович, когда Клевков с привычной непринужденностью надел элегантное драповое пальто с серым каракулевым воротником и, помахав от дверей шапкой, вышел. — Энтузиаст. Энергии у этого человека, я тебе скажу!.. — Секретарь ходил по другую сторону стола, удовлетворенно потирая руки. — С такими людьми работать — одно удовольствие. И странно, что есть руководители, которые боятся таких беспокойных, стараются от них избавиться или ярлык приклеить: *«скандалист»*, *«неуживчивый»*. А того не понимают, что беспокойные люди — самые работяги, что не равнодушные, а именно беспокойные двигают любое дело… Теряют, сукины дети, веру в энтузиазм, в героизм, приземляют всё… ниже некуда… С этим тоже надо бороться! За романтику в жизни и труде!

Лемяшевич молча слушал и с интересом наблюдал за секретарем. Воспользовавшись паузой, он спросил, как чувствует себя Роман Карпович на новом месте. Журавский присел против него.

— Для меня это не новое место, Михаил Кириллович. Но много перемен, много нового. Все эти дни занимался председателями: если это главное звено, то ему и главное внимание! Результаты, скажу тебе, не очень утешительные. Только одна треть председателей — люди типа Волотовича и Клев-кова, и всего их семь человек. Другие семь-восемь могут стать хорошими председателями, если им помочь. Но сколько это ещё потребует труда! О-хо-хо! И, наконец, вот эти, — он протянул руку и, взяв на письменном столе список, показал на фамилии, жирно подчеркнутые карандашом. — Этих надо менять немедленно. Чем скорее, тем лучше! Из них двое пришли после Пленума, добровольцы. К большому делу всегда примазывается какая-нибудь дрянь.

Вошел заведующий отделом партучета, принес документы коммуниста, который становился на учет.

— Будете говорить, Роман Карпович?

— Обязательно. Пускай зайдет сейчас. — И обратился к Лемяшевичу: — Извини меня, посиди, познакомимся о новым человеком. Я всегда с удовольствием знакомлюсь с живыми людьми.

Журавский пересел за рабочий стол, раскрыл книжку — личную карточку члена КПСС.

— Белорыбкин Лев Макарович. Ну-ка, что за лев? Вошел средних лет мужчина, по-военному подтянутый, в сапогах, галифе, но в штатском пиджаке, в расстегнутом осеннем пальто. *«Должно быть, уволенный в запас офицер»*, — подумал Лемяшевич.

Человек первым протянул секретарю руку и, не ожидая приглашения, сел, оглянулся на Лемяшевича, кивнул ему и осторожненько, точно боясь, что они отвалятся, пригладил одним пальцем свои франтоватые усики.

Роман Карпович вдруг нахмурился и пристально посмотрел на Белорыбкина.

— Строгий выговор за что получили?

— Там написано.

— Я у вас спрашиваю!

— А-а, старая история… Пора снять. Это — когда я ещё в органах работал… Посидел там один… невиновный…

— Из-за вас?

— Я вёл дело.

— Сколько?

— Что?

— Сколько просидел?

— Да всего год.

— *«Всего»*? — Роман Карпович несколько мгновений не двигаясь смотрел на Белорыбкина, по лицу его от лба вниз расплывалась бледность, а потом от шеи кверху поплыла краска, и, когда гневным румянцем запылали щеки, он встал, тяжело опираясь на стол.

Белорыбкин продолжал сидеть, ещё ничего не понимая. — *«Всего»*! *«Всего год»*! — повторил секретарь и вдруг грохнул кулаком по столу. — *«Всего»*! Сукин сын! *«Пора снять»*... Выговор пора с него снять! Слыхали?

Белорыбкин вскочил, по-военному вытянулся, стоял, хлопая глазами.

— Я с тебя десять лет его не сниму! Мало дали, из партии надо гнать! — Он сделал над собой усилие, чтоб успокоиться. — *«Всего»*... Да понимаете вы, что это значит — *«всего год»*? Это триста шестьдесят пять дней терзаний честного советского человека из-за вашего бездушия! Вы компрометируете партию, органы власти! И вы до сих пор ничего не поняли! Для вас один год — это *«всего»*. Сколько же не *«всего»*? Десять?

Журавский, должно быть, почувствовал, что ему не успокоиться, пока этот человек здесь, и резко махнул рукой:

— Уходите!

Белорыбкин не сказал ни слова, повернулся на каблуках и, сгорбившись, вышел.

— Настроение испортил, сукин сын! Такое настроение было! *«Всего»*! Слышал? — Роман Карпович, потирая лоб, взволнованно ходил по кабинету. — Ну, всяких видел, но такого... Не поверил бы, если б кто рассказал. Что он — круглый идиот, дурак набитый?

Пришли другие люди, с другими делами, и Роман Карпович, понемногу забыл об этом неприятном инциденте. Лемяшевич чувствовал, что ему, как говорится, пора и честь знать: нельзя же без конца сидеть у секретаря райкома просто наблюдателем. Но

уходить отсюда не хотелось. Хотелось рассказать Роману Карповичу обо всем, что с ним произошло за последние сутки. Когда шёл сюда — не думал об этом. А теперь почувствовал, что это просто необходимо сделать: рассказать все объективному человеку, услышать его одобрение или порицание раньше чем ему придется ещё раз посмотреть Сергею в глаза. Его страшила мысль о неизбежной и очень скорой встрече с товарищем. Что он ему скажет? Опять молчать, прятаться в воротник? А в Криницах, наверно, все уже знают: подобного рода новости разносятся с быстротой молнии, в особенности когда они становятся достоянием таких людей, как Приходченко. Но как сказать Роману Карповичу? Тоже нелёгкая задача — ни с того ни с сего начать в стенах райкома, между деловыми разговорами о председателях, о правосудии, о пропаганде и воспитании, изливать свои чувства.

Наконец он выбрал подходящий момент. Роман Карпович позвонил домой:

— Даша! Жди к обеду гостя. Кого? Сама увидишь. Через полчаса будем.

— Это вы обо мне? Спасибо. Не пойду.

— Церемонные вы все стали! Сергея позавчера еле затащил!

— Боюсь Дарьи Степановны, Роман Карпович. Преступление у меня на совести…

Лемяшевич хотел за шуткой скрыть свою взволнованность. Но Журавский сразу увидел, что это не шутка, что действительно произошло что-то серьёзное и насторожился после случая с Белорыбкиным.

— Женился.

Роман Карпович захохотал.

— И в самом деле преступление! Три дня назад — никому ни слова. И вдруг… Но почему тебе бояться

Даши? Она рада будет.

— Почему? Да ведь женился я… знаете на ком? — Он приблизился к столу и полушепотом, таинственным и радостным, проговорил: — На Наталье Петровне…

— Морозовой? — Журавский, пораженный, втянул голову в плечи, как бы защищаясь от свалившейся на него новости. — Погоди, ни черта не понимаю. Меня Даша уверяла, что через неделю Наташа будет женой Сергея.

— Вот почему и боюсь… Она их сватала, а вышло всё иначе… Понимаете, все это случилось совершенно неожиданно. Я её любил, и она меня, оказывается, тоже. Но я молчал, уважая чувство Сергея. А она… она не промолчала, Сергей ничего ещё не знает. Мы ехали вместе, я должен был сказать ему, но я не смог, не хватило смелости. И теперь на душе препаршиво. Не знаю, как я с ним встречусь.

— М-да, история. Как в песне поется. Сергею нелегко будет, я знаю его характер. Но, как говорится, сердцу не прикажешь… идём к Дарье Степановне… Она в этих делах больше разбирается.

— Не пойду.

— Боишься? — засмеялся Журавский. — Как тебя, этакого труса, полюбила такая женщина?

— Нет, не потому, что боюсь. А скажу вам как мужчина мужчине: не хочется мне сейчас вести разговоры на эту тему.

— Понимаю.

— Поеду к Наташе. А вас прошу, Роман Карпович… и Дарью Степановну… Сергей, наверно, заедет к вам, поезд поздно приходит… Скажите ему, поговорите… подготовьте… Чтоб это не застало его врасплох… А то ляпнет какой-нибудь дурак… Чтоб не так больно ему было.

— Ну, меру боли его нам не узнать. Будем надеяться на его светлую голову. Что же, лети. Мои поздравления и наилучшие пожелания Наталье Петровне!

35

Никогда — ни в годы зрелости, ни даже в детские годы — характер, психика человека не подвержены таким внезапным переменам, поворотам, вкусы и взгляды его не меняются так резко, как в юности. А если учесть, что каждый юноша и девушка, как правило, считает себя вполне взрослым человеком и твердо верит в непоколебимость своих взглядов, ясно можно представить себе, как болезненно, тяжело переживают они эти неожиданные перемены.

Так случилось и с Раисой. Она всегда чувствовала себя самой взрослой в классе, считала, что всё знает и все понимает — самые глубокие житейские тайны — и что её одноклассники, даже такие, как умница Левон и работяга Алёша, дети по сравнению с ней. Ей казалось, что она вполне подготовлена к вступлению в большую и красивую самостоятельную жизнь.

Не умея отличить показное от истинного, она манеры и поступки Орешкина принимала за образец благородства и интеллигентности. И вдруг оказывается, что этот интеллигент читает чужие письма. Она не знала, каким образом попали к нему письма Алексея, большую часть которых она, прочитав, сразу же уничтожала, но самый факт потряс её до глубины души. До тех пор её больше волновала нелюбовь учеников к Виктору Павловичу, чем его придирки к Алексею: *«Так ему и надо, пусть не задирает нос!»* И вся эта история в классе её расстроила только из-за письма да ещё той открытой враждебности, с которой отнеслись к ней её одноклассники. В то, что Алёша не вернется в школу, она не верила и почти не думала о нём.

И вдруг эти проводы. Это они во всем виноваты. Вновь и вновь переживает она этот, день. Тишина, неприятное шарканье по полу ботинка хромой Нины; растерянный,

испуганный, некрасивый, какой-то жалкий Виктор Павлович… Как он раскрыл рот и выскочил из класса! Почему она заплакала? Ей вдруг стало себя жалко. Нет, сначала ей стало жалко Алёшу, который ушел неведомо куда посреди зимы, а потом уже себя. Потому она и заплакала. А тут ещё эта монашка Нина (кто её просил лезть не в свое дело!): *«Я ведь знала, что ты его любишь. Ты просто сама себя обманывала. Алёшу нельзя не любить»*.

Вот с тех пор и остались у нее в душе непонятная грусть, сознание вины и эти глупые Нинины слова. Она ушла тогда домой, долго плакала одна у себя в комнате и всё думала об Алёше. И ночью вспомнила о нём. А на уроках, забывшись, то и дело оглядывалась — не сидит ли он на задней парте?

Она начала избегать Виктора Павловича. Почти каждый раз, когда к ним приходила Ядвига Казимировна, под тем или иным предлогом убегала из дому. Шла на другой конец деревни, к той же хромой Нине, хотя и не любила её. Но ни к кому больше из подруг зайти не решалась. Иногда приходила к Даниле Платоновичу, когда там не было ни директора, ни докторши, и придумывала, что ей непременно надо срочно прочитать какую-нибудь книгу по литературе, истории или географии. Однажды, когда она сидела у Данилы Платоновича и читала критическую статью, старик неожиданно спросил:

— Рая, ты знаешь, где сейчас Алёша?

Она испугалась и ответила упавшим голосом:

— Нет. Я не знаю.

Рая ждала, что сам Данила Платонович скажет — где же. Он не сказал. Весь вечер хотелось ей спросить об этом, но она так и не решилась.

Она все больше и больше мучилась. Почему ей не говорят, где Алёша? Так нельзя, она должна знать, потому что всё это произошло из-за неё. Она поборола

свою гордость, хотя это было очень и очень нелегко, и спросила у Кати, не знает ли она, куда уехал Алёша. Катя знала — Рая видела это по её глазам, — но тоже не сказала. Почему? Это так жестоко, так не по-товарищески! И Рая дома опять плакала от обиды. Разве можно так сурово наказывать за то, что она была глупая? От нее отвернулся весь класс. Неужто они не могут понять, что она теперь другая?

Рая не знала и не догадывалась, что и Катя страдает, что она, быть может, единственная в классе понимает лучше, чем другие, что с ней происходит. Но местонахождение Алёши покуда держалось в секрете, и потому Катя решила посоветоваться с теми, кому эта тайна была доверена самим Алёшей, — с Левоном и Володей.

— Кому? Снегирихе? Ни за что! И не думай, — в один голос ответили они. Напрасно она пыталась доказать этим *«черствым мужчинам»*, что Рая изменилась и от души интересуется Алёшей.

— Горбатого могила исправит, — отрезал в ответ на её доводы Володя Полоз. — Знаем мы её. Сразу Орешке всё расскажет.

А Виктор Павлович и в самом деле ходил вокруг девушки, как лиса, такой же осторожный и хитрый. Пытался заглянуть в душу, но тщетно — Рая замкнулась в себе и больше ему не доверяла.

В это время в жизни её произошел ещё один случай, который заставил её спуститься с заоблачных высот на землю трезвых раздумий над своими талантами, о которых так много говорил Виктор Павлович.

Постановка *«Павлинки»* драматическим кружком, которым руководили Данила Платонович и Бушила, получила высокую оценку на районном смотре школьной самодеятельности. Коллектив был выдвинут на областную олимпиаду. Но неожиданно заболела исполнительница роли Павлинки — ученица девятого класса Маша Леванчук. До олимпиады Маша, конечно,

могла успеть поправиться, но Данила Платонович, чтоб не рисковать, решил подготовить на всякий случай дублера, тем более что спектакли приходилось давать довольно часто. И он предложил эту роль Рае. Предложил не без задней мысли. Рая с радостью согласилась, так как подумала, что это поможет ей опять сблизиться с товарищами по школе, по классу. Два дня до репетиции с вдохновением и подъёмом учила она роль. Вчитываясь в пьесу, она по-новому осмысляла её содержание, глубже и шире, не так поверхностно, как тогда, когда проходила по программе. Ей вдруг показалось, что многие чувства Павлинки близки её собственным, хотя в пьесе всё происходит совсем иначе. И ещё она, смеясь, подумала, что Быковский немножко напоминает Орешку. Так и подумала: не живой человек похож на литературного героя, а герой — на живого человека.

Дни до репетиции принесли ей много радости, приятного волнения, вернули прежнюю самоуверенность. Репетируя перед зеркалом, она даже однажды мысленно пригрозила: *«Я вам покажу, как надо играть!»*

Но вышло все наоборот: она провалилась на первой же репетиции. Поджидая Якима, она запела *«Ой, летели гуси из-под Беларуси»*, и все — Данила Платонович и исполнители — как-то встрепенулись, на лицах засветились теплые улыбки: хорошо она запела! Потом появился Яким — Павел Воронец, тихий, незаметный Пашка, над которым в классе всегда подсмеивались за то, что он ходит на свидания за восемнадцать километров. Он произнес первые слова, произнес так просто, обыкновенно, что Рая, хотя и выучила свою роль наизусть, растерялась и не могла ему ответить. Суфлер подсказал, она машинально повторила за ним, потом повторила ещё раз, так, как играла дома перед зеркалом. Данила Платонович поднял руки, чтобы остановить репетицию, и объяснил спокойно, как на уроке:

— Рая, ты любишь этого человека. Ты крепко любишь

Якима. Вспомни: *«Такой он миленький, такой пригоженький, такой послушный»*. Ты с тревогой ждала его… Не декламируй… Говори так, как ты говорила бы с любимым в жизни. Забудь, что ты на сцене.

Она смутилась от этих слов, но увидела, что остальные исполнители приняли их как самое обычное режиссерское замечание.

Она попробовала выполнить этот совет. Нет, не так, не то. Яким её любит, а она — нет, нет в её словах любви, хотя она и повторяет их довольно патетически.

Она увидела, что Павел нервничает, злится, а остальные исполнители стоят опустив глаза, как будто чувствуют себя неловко. Данила Платонович, кажется, не её утешает, а их:

— Ничего, ничего. Это самая трудная сцена. Ничто не даётся сразу. Поработаем — и добьемся. Главное — работать…

«Неужели я такая бездарная?» — вдруг с ужасом, вызвавшим холодный пот, подумала Раиса.

Она почти убедилась в этом, когда послушала, как репетируют её товарки — исполнительницы ролей Агаты, Альжбеты, но гордость все ещё не позволяла ей признать свое поражение.

«Нет, им легче, у них более простые роли. Да и играют они сотый раз. Главное — труд, ничто не дается без труда», — повторяла она слова Данилы Платоновича. Но возвращаясь вместе с ним, она не выдержала и у самого дома спросила дрожащим голосом:

— Скажите, Данила Платонович, откровенно… не получается у меня, да?

Он ответил не сразу, дошел до калитки, остановился.

— Нет, ничего. Если упорно поработать… Ведь мы —

самодеятельность.

В отчаянии Рая решила, что ноги её не будет у Шаблюка. Но на другой день почувствовала, что нет у нее в сердце ни злобы на Данилу Платоновича, ни обиды, не стыдно ей и перед одноклассниками. Теперь ей все равно: пускай говорят что хотят, пускай смеются и острят над её *«артистической карьерой»*. Она сама посмеется над пустыми мечтами — своими и своей матери. Какая она актриса! Глупости все!

Но после этого случая ещё сильнее захотелось ей опять подружиться с Катей, со всем классом и узнать, где Алёша. Она не думала, что непременно ему напишет, ей просто хотелось знать, где он, что делает, продолжает ли учиться. Желание это росло изо дня в день и, наконец, толкнуло её на решительный шаг. Однажды утром, когда, как Рае было известно, мужчин дома не бывает, она отправилась к Костянкам и, волнуясь, спросила у Ани:

— Скажите, пожалуйста, где Алёша?

— А он в Рогачах в МТС работает. Это в нашей области, не очень далеко, — просто ответила Аня; простота эта и откровенность обрадовали девушку. — Походил по Минску три дня, к Даше даже не зашёл и… вернулся. Пишет Сергею, что потянуло его в МТС, где всё знакомо…

— А школа? — со страхом спросила Рая.

— Учится в вечерней. Пишет, что школа хорошая.

У Раи вырвался вздох облегчения. Аня сердцем женщины поняла её и дружески посоветовала:

— Написала бы ты ему, Райка.

— Я напишу, напишу, — пообещала девушка и, взяв адрес, быстро попрощалась.

Нелегко ей было писать это письмо. Она мысленно сочинила десятки вариантов. Но в конце концов

написала-таки, прячась от Орешкина, который следил за ней так настойчиво, что она уже и сама стала это замечать. Еще прежде, чем пришел ответ, она увидела Алешу на фотографии в газете *«Чырвоная змена»*; группа молодых ребят возле трактора, и среди них он. А в небольшой заметке о молодежи Рогачевской МТС сообщалось, что комсомольцы Алексей Костянок, Юра Кнышевич, Володя Коханов, Володя Мигай выполняют на ремонте по 200–250 процентов нормы. Сообщалось скупо и официально, как в отчёте. Но до чего обрадовалась Рая! Она всему придавала особое значение: и тому, что на снимке Алёша стоит впереди, и тому, что в перечне его фамилия названа первой, и что имена остальных уменьшительные. — Володя, Юра, а его — Алексей. Рая не удержалась и показала газету матери. Аксинья Федосовна, должно быть почуяв, что делается у дочки на душе, примирительно сказала:

— А я всегда говорила, что из Костянков Алёшка — самый толковый.

Когда-то она говорила это о Сергее, потом о Даше. Рая не могла понять, почему же мать их все-таки не любила.

Снимок и скупые слова газетной заметки обрадовали не только Раю и Алёшиных друзей. Порадовались и учителя. В тот день в учительской разговор все возвращался к Алёше, Газета переходила из рук в руки, её показывали каждому, кто заходил в школу: Лемяшевича за день несколько человек спросили:

— Читали, Михаил Кириллович? Молодчина наш Алёша.

Только один Орешкин не принимал участия в разговоре об Алеше. Но учителя в пику ему снова и снова возвращались к этой теме.

36

— Не отставайте, не отставайте, Михаил Кириллович! — смеясь, кричала Лена, скатываясь на лыжах с высокого

пригорка.

Начинался первый весенний месяц, но снег лежал ещё нерушимо и блестел так, что больно было глазам. Держался мороз, хотя к полудню капель выбивала в снегу на завалинках глубокие канавки. Чудесно в эти последние дни зимы ходить на лыжах! День длинный, не то что в декабре, к вечеру — бодрящий морозец, и взор ласкает белоснежная торжественность поля. Кажется, ещё царит зима, но по каким-то неуловимым приметам чувствуется приближение весны, её дыхание. Особенно явственно это ощущаешь в таком вот перелеске, где ветрами очищена от снега каждая веточка.

Лена отлично ходила на лыжах. Михаил Кириллович был не ахти какой лыжник, да ещё поначалу прикинулся, что встал на лыжи впервые. Лена взялась учить его. Ей, конечно, нравилось обучать самого директора школы, чувствовать в чем-то свое превосходство над ним. А ему эти прогулки приносили много радости. Ему было удивительно приятно идти с ней по улице, видеть, как любуются ими криничане, представлять, что говорят люди. А ещё отраднее было видеть, как счастлива их дружбой Наташа. Она безгранично благодарна была мужу за Лену. Наконец-то пропал её страх за судьбу дочери, так долго заставлявший её хранить одиночество, отказываться от личного счастья. Она рассказала ему, как Лена встретила сообщение об её замужестве.

«Леночка, — сказала она, — ты меня прости, доченька, но я все-таки выхожу замуж...» Девочка, как и в первый раз, насторожилась, замкнулась. *«За Михаила Кирилловича, директора вашего»*. И дочка вдруг рассмеялась.

«Меня испугал этот смех, — говорила Наташа Михаилу. — Я не поняла, почему она смеется, и боялась спросить. От обиды, или пренебрежения, или, может быть, от радости? Так и не знаю до сих пор».

В первые дни совместной жизни Наташа держалась

очень настороженно, ничем внешне не проявляла своей любви к мужу из боязни, чтобы дочка не осудила. Михаил Кириллович долго убеждал её, что это неверно. Он относился к Лене как к взрослому человеку, и это покорило девочку, хотя сердца и мыслей своих она не открывала никому, даже матери.

Возможно, что чувством, определившим отношение Лены к отчиму, была благодарность за то счастье, которое — она это видела — он дал матери. Так, кстати, и понимал её Лемяшевич и большего не требовал.

...Михаил Кириллович наконец решился съехать с горки, но внизу наскочил на куст и зарылся лицом в снег. Пока он выбирался, Лена, серьёзная и озабоченная, подлетела к нему с намерением помочь. Но увидела его веселое лицо и рассмеялась.

— Куда же вы заехали, пап?.. Такая проторенная лыжня, а вы — в кусты!

Лемяшевич замер, услышав это *«пап»*. Или ему показалось? Нет, она действительно сказала это слово, робко, проглотив последний звук, со смехом, может быть бессознательно, а возможно, и совершенно сознательно выбрала именно такой момент. Лемяшевича это взволновало и растрогало. Никто не принуждал называть его так, никто и словом не обмолвился, он мог на всю жизнь остаться для нее Михаилом Кирилловичем. Но она знала народный обычай, слышала, как говорят в крестьянских семьях, где есть неродные отец или мать. А главное — должно быть, ей самой хотелось хоть раз произнести это дорогое слово, обращаясь к живому человеку.

Они пошли по полю. Шли и беседовали, как добрые друзья.

Когда он поднялся и отряхнул снег, Лена спросила: — Михаил Кириллович, а разве у партизан не было лыж?

— Были, конечно. Но я служил в конной разведке.

— Расскажите что-нибудь интересное про партизан, — попросила девочка.

Впервые высказала она такую просьбу. Лемяшевич подумал, что напрасно он не использовал эту возможность — никогда не делился своими партизанскими воспоминаниями, это, пожалуй, ещё больше укрепило бы их дружбу. Он даже не рассказал, как впервые встретился с Данилой Платоновичем. С этого он и начал. Эпизод был не очень драматический, но когда он спросил: *«А знаешь, кто был один из этих стариков?»* — у Лены от любопытства загорелись глаза.

— Кто?

— Догадайся.

— Ах! — радостно вскрикнула она. — Неужели Данила Платонович?

Так они незаметно дошли до Задубья. Лена вдруг предложила:

— Давайте зайдем в деревню. Там мама санобход делает. Мы разыщем её и вернемся домой вместе.

Они шли, пробираясь по высоким сугробам, наметенным за зиму на деревенской улице. На накатанных лыжами и саночками снежных холмах лыжи разъезжались, скользили в стороны. А на улице полно учеников. Одни из них, младшие, увидев директора, прячутся и поглядывают из дворов, другие нарочно идут навстречу, здороваются, снимают шапки.

— Директор, опасаясь, как бы не упасть, снял лыжи и пошел по дороге, сгоняя с пути равнодушных коров, которые грелись на солнце, лениво пережевывая жвачку. Коровы на улице — тоже одна из примет приближающейся весны.

Лемяшевич и Лена разыскали Наталью Петровну, и они все вместе двинулись домой.

Лена бежала по насту, прикрытому сверху выпавшим

дня два назад мягким снежком. Она то отдалялась от дороги, то опять приближалась, скатывалась с горок, прыгала со снежных трамплинов.

Лемяшевич и Наташа шли по дороге, лыжи он нес на плече; они любовались дочкой, их дочкой, говорили о ней и о себе, о своей жизни.

— Я и не представляла себе, что меня ждет ещё столько счастья! — сказала Наташа.

— А я свое счастье представлял только таким, на меньшем я бы не помирился.

Крепчал мороз. Под их ногами весело и многоголосо пел снег.

Белая равнина на западе стала румяной, веселой, на востоке — посинела: оттуда шла ночь.

Они миновали лес, перешли речку у электростанции. Лена поехала напрямик через луг. Их путь лежал мимо МТС. И вдруг на дороге они увидели одинокую фигуру и, несмотря на полумрак, узнали в ней Сергея. Наталья Петровна схватила мужа за руку.

— Миша, останови ты его, поговори, нельзя же так. Когда они приблизились, Лемяшевич поздоровался:

— Добрый вечер, Сергей.

Тот не ответил. Отвернулся и прошел мимо.

Наталья Петровна смотрела ему вслед и, сдвинув платок, потирала ладонями виски.

— Боже мой! Что с ним происходит? Чем это кончится? Это же немыслимо. Больше месяца — ни слова. А казалось, такой спокойный, рассудительный был!..

— Упрямый, чёрт!

— Ведь это же невозможно — такое молчание. Ну, пускай бы выругал тебя, меня, напился, окна побил —

все можно представить, самое нелепое; чего только человек не сделает из ревности… Но такое молчание… Страшно! Куда же это он пошел на ночь глядя?..

— Пускай идёт. Успокойся, — обнял Михаил жену и поправил платок. — Простудишься ещё. Пошли… Перегорит его злость или ревность, что там у него… Не будет же он век молчать!..

— Я просила Дашу… Он никого и слушать не хочет, всех посылает к черту. Говорят, в МТС грубить начал, если что не так.

— И всё равно он молодчина… Посмотри, как он с кружком работает. Я тебе рассказывал… Кое-кто из ребят, должно быть почуяв нелады между нами, охладел к кружку. Так он прислал в школу Козаченко. И кружок опять работает по-прежнему. Жаль только, что я теперь не могу туда ходить вместе с ребятами. Не хочу, чтоб они видели его вражду ко мне.

Наталья Петровна вздохнула.

37

Неожиданно заболела Ядя Шачковская. Вечером её видели в кино, а наутро Наталье Петровне пришлось вызвать из райцентра скорую помощь.

— Что с ней? — Лемяшевич нарочно зашел к жене на медпункт, чтоб узнать, надолго ли ему придется искать замену преподавательнице.

Наталья Петровна не ответила, пока не вышла больная, которую она принимала. Потом поплотнее закрыла дверь и, нахмурившись, явно взволнованная этой историей, сказала:

— Что с ней? Аборт — вот что.

— Аборт?! — Лемяшевич был очень удивлен. — Такая девчонка… Кто б мог подумать!..

— А тебе не кажется, что её толкнули на это?

— Кто?

— И наивен же ты, Михась! Кто? Моралист ваш.

— Орешкин?

— Догадался, слава богу, — с иронией заметила Наталья Петровна. — Неблагополучно у вас в коллективе. Одного вы чересчур опекаете, а другому — никакого внимания. А теперь этот подлец, если хочешь знать, ещё от всего откажется. Ядвига — девушка веселая, не пропускала ни одного танцевального вечера, со всеми кокетничала... Это для него козырь.

— Ну нет! Я сам с ним поговорю!

Но поговорить с Орешкиным никак не удавалось — тот очень хитро и ловко уклонялся от этого. Преподаватели, до которых, конечно, дошли слухи о причинах болезни их коллеги, потихоньку судили об этом между собой, но открыто высказаться никто не решался — очень уж вопрос деликатный. Освобожденный от обязанностей завуча (теперь завучем была Ольга Калиновна), Орешкин разыгрывал из себя обиженного, ходил надутый, официальный, ни с кем не вступал в разговоры.

Недели через две Шачковская вернулась из больницы. И в тот же день произошла развязка. Чувствовала она себя ещё плохо и работать не могла, но зашла в школу к концу последнего урока. Орешкин, как назло, закончил урок немножко раньше, до звонка.

Когда зазвонил звонок и в учительскую одновременно вошли Ковальчук и Ольга Калиновна, первое, что они услышали ещё в дверях, был шепот Орешкина:

— Молчи, дура! Ты губишь себя... и меня...

Они увидели испуганного, побледневшего Виктора Павловича, который нервно запихивал книги в портфель, торопясь уйти. А на диване, закрыв лицо

руками, рыдала Ядвига Ка-зимировна.

Учителя, естественно, растерялись. Ковальчук застыл у дверей с большой стопкой тетрадей в руках, не решаясь приблизиться к столу. Ольга Калиновна подошла к шкафу, чтоб положить свои гербарии, но так и осталась там стоять, прикрывшись дверцей. Один за другим входили преподаватели и сразу умолкали, точно в присутствии покойника. Приходченко у дверей забирала у дежурных циркули, линейки, карты, таблицы, которые они приносили, не впуская их в учительскую.

Ядвига Казимировна не отнимала рук от лица, плечи её часто вздрагивали, из груди вырывались сдавленные рыдания. Орешкин, пряча глаза, надевал пальто и никак не мог попасть в рукав. И тут в учительскую вошли Шаблюк и Бушила.

— Что случилось, товарищи? — сразу спросил Данила Платонович.

Ядя отняла руки от лица и кинулась к нему, словно он был единственным человеком, который мог помочь ей в её тяжелом горе.

— Данила Платонович… Он обещал:.. А теперь он отказывается, теперь он говорит, что ещё неизвестно, чей ребенок… Как это неизвестно! — И она заплакала в голос, уткнувшись лицом в плечо старого учителя.

Орешкин презрительно хмыкнул, в то же время отступая за стол под взглядом Бушилы.

— Что она врет! Не верьте ей! Истеричка! Дрянь!..

— Кто дрянь? — сурово спросил Данила Платонович.

Бушила с размаху швырнул на пол все, что держал в руках — книги, тетради, линейку, мел, — и в одно мгновенье очутился против Орешкина, лицом к лицу. Вцепившись в борта его пиджака, он гневным шепотом спросил:

— Кто дрянь? Кто? — И, должно быть почувствовав, что сейчас может произойти что-то страшное, крикнул на всю школу: — Вон отсюда, мерзавец!

Орешкин отшатнулся, закричал испуганным, писклявым голосом:

— Ну, ну!.. Полегче! Хулиган!

— А-а! — И в руках Бушилы очутился табурет.

Орешкин, забыв портфель и шапку, пулей вылетел в коридор, где ещё шумели дети. Если б всё это не было так печально, наверно, многих посмешило бы, как он улепетнул из учительской. Но было не до смеха. Все стали утешать Ядю, которая плакала навзрыд и беспомощно, как ребенок, спрашивала у Данилы Платоновича:

— Что же мне теперь делать?

Бушила взволнованно ходил вокруг длинного стола, опрокидывая по пути табуреты, и все продолжал бушевать:

— Сукин сын! Скромником прикидывался! Архиинтеллигентом! Музыкантом! Я ему голову сверну! И ты тоже дура! — кричал он на Ядю. — Кому поверила? Подлецу! Обещал... Что он тебе обещал? Золотые горы? Бабьё безголовое!

Этот окрик как бы заставил Ядю прийти в себя. Она оторвалась от Данилы Платоновича, прислонилась к стене и широко открытыми, испуганными глазами, в которых застыли слезы, смотрела на Бушилу. И все увидели, какая она бледная, измученная и как поблекло её недавно нежное девичье лицо.

Орешкин заперся в своей комнатушке и до вечера никуда не выходил. Ждал, что его позовут обедать. Не позвали. В доме стояла тишина, хотя на кухне, он это слышал, были Рая и сама Аксинья Федосовна. Он напряжённо думал, какой найти выход из этой неприятной истории, чтоб хотя бы здесь, в этом доме,

сохранить авторитет, уважение. «*Надо помириться с этой дурой, сказать, что я погорячился, она всему поверит… Дотянуть до конца года, а там — в другую школу. Надо отступать… раз наделал глупостей… Аксинье Федосовне сумею объяснить, она человек практический*», — подбодрил он себя и с наглой улыбочкой засел писать жалобу в районо: его оскорбили, кидались на него с табуретами. «*Да, я жил с Шачковской, но с самыми честными намерениями и от намерений этих не отказываюсь. Мы поссорились: я был против аборта… Но я уверен, что мы всё между собой уладим…*»

Довольный письмом, он хотел было выйти и попросить поужинать. Но в этот момент в комнату энергично постучали и не ожидая ответа, толкнули дверь. Он понял, что это хозяйка, и быстро отворил. Аксинья Федосовна стояла на пороге, величественная и суровая.

— Вы чего это запираетесь в моем доме? Я и не видела, что вы крючков понавешивали, двери испортили…

Он попробовал обратить все в шутку. Расплылся в улыбке, погладил сердце.

— Я пугливый, Аксинья Федосовна.

— А как же! Меня боялся? — И, скрестив руки на груди, она заговорила ещё более сурово, тоном, не терпящим возражений — Вот что, товарищ Орешкин… Я вас считала за человека…

— Аксинья Федосовна!.. И вы поверили этим сплетням! — воскликнул он.

— Я никому не верю… Я себе самой верю. И прошу вас очистить мою хату, — она сделала движение рукой, как бы выбрасывая ненужную вещь. — У меня дочка…

Орешкин понял, что ему не переубедить эту властную и упрямую женщину, и обиженно фыркнул. Повернулся к окну, стоял длинный, ссутулившийся, расставив ноги циркулем, и барабанил ногтями по стеклу.

— А если я не выеду?

— Я выброшу ваши вещи! — она кивнула в сторону окна. — На снежок.

Он быстро обернулся, поняв, что она и это может сделать. — Ах, так... Хорошо же! — с угрозой и обидой сказал он. — Я вам слова дурного не сказал. Дочь учил...

— Не нужна моей дочке ваша учеба. Учитель!

— Когда прикажете выбраться?

— Чтоб утром духу твоего не было! — уже совсем грубо ответила она и вышла, хлопнув дверью...

Убирая комнату, после того как Орешкин выехал (Рая убирать отказалась), Аксинья Федосовна под газетой, которой был застлан ящик шкафа, обнаружила конверт. С деревенским любопытством она извлекла из конверта письмо, начала читать.

«Не знаю, как к тебе теперь обращаться. «Дорогой Витя»? Ох, и дорогой! Дорого я заплатила за свою глупость. Ты сбежал, спрятался в деревню и, верно, опять очаровываешь какую-нибудь дурочку своими музыкальными талантами и обхождением. Ты это умеешь. Ты думал, что я тебя не найду. Нашла без труда. Но не бойся, ничего я от тебя не требую. Я просто хочу сообщить, что у тебя есть дочка, зовут её Надя, Надежда. Моя Надежда, не твоя. Так что знай, дорогой папа, что растет дочка. Вот, собственно, и всё. Правда, очень мне хотелось написать в школу, где ты работаешь теперь, чтоб знали, что ты за человек, за что тебя из комсомола выгнали и почему ты из города сбежал. Чтоб знали и остерегались. Но мама отговорила. Теперь и я успокоилась — чёрт с тобой, живи как знаешь! Мне от тебя ничего не надо. Я работаю и опять учусь — в вечерней школе, кончаю десятый класс...»

Письмо было давнишнее. Но Аксинье Федосовне стало

страшно, она даже похолодела вся: какого человека она поселила рядом со своей единственной дочерью! Боже мой! Она безжалостно бранила себя: *«Старая дура, век прожила, а в людях разбираться не научилась!»*

Рае письма она не показала, а отнесла его Даниле Платоновичу. Тот прочитал и ни словом не попрекнул соседку. Но она сама себя казнила:

— Убить меня мало за мою дурость. Вы не зря меня предупреждали. Мне теперь так стыдно перед Лемяшевичем, так стыдно… Ни за что обидела человека. Поговори ты с ним, Платонович, пусть простит глупую бабу!..

Данила Платонович принес письмо в школу, показал преподавателям.

Но Орешкина в школе уже не было.

38

Ращеня растворил широкое окно своего кабинета сразу же, как только выставили внутреннюю раму. Так он делал каждый год — первый открывал окно в тот день, когда тракторы с усадьбы МТС выходили в колхозы. Над его чудачеством смеялись, так как нередко ему приходилось потом сидеть в кабинете в кожухе. Но на этот раз смеяться не приходилось — на дворе шумела настоящая весна. Она пришла неожиданно, вопреки прогнозу бюро погоды. Три дня не по-мартовски, а по-майски грело солнце, и сразу поплыл снег, разлились ручьи, пестрым стало поле: пятно снега, пятно земли черной, серой, зеленой. Механик Козаченко, любитель природы и поэт, уверял, что утром, гуляя, слышал в поле жаворонка.

Тимох Панасович стоял перед окном в одной гимнастерке, не боясь простудиться, вглядывался в безоблачную лазурь весеннего неба. Он так долго и с таким почти детским восторгом смотрел вверх, что его старым глазам начало казаться, будто над парком и там дальше трепещут в воздухе, падают вниз и снова

взлетают бесчисленные пушистые комочки. Он знал, что ему только чудится, но так хотелось верить, что это жаворонки, что морозов больше не будет и через какие-нибудь два-три дня тракторы могут выйти в поле. Вот если б самому услышать хоть одного! Но тут разве услышишь! Воздух вокруг дрожит и сотрясается от рева десятков моторов. Дрожит дом, весь двор взрыт гусеницами, как будто тут шли маневры танков; все перемешалось — земля, снег, лед.

Ращеня добродушно проворчал:

— Черти, говорил же, чтоб перед конторой не ездили. Места им мало!

У директора чудесное настроение. Никогда ещё МТС не управлялась так с ремонтом — ни по срокам, ни по качеству. Сегодня приезжает комиссия, и, если всё пройдет гладко, будет, возможно, решен вопрос о первенстве по области, о переходящем знамени.

Тимох Панасович потирал руки от волнения — как бы чего не случилось, бывают же неприятные неожиданности! — и от радостного чувства, что ничего случиться не может. Что греха таить, он любит славу, как и всякий человек. Кому не приятно, когда его хвалят! Последние годы его больше ругали, хотели даже снимать… Нет, Ращеня себя ещё покажет, пусть знают, что новые кадры — дело безусловно хорошее, но и старая гвардия — большая сила, дай ей только где развернуться. Вот он и развернулся!

Сквозь гул моторов со двора донесся сердитый голос Сергея Костянка: главный инженер кого-то ругал. Ращеню голос этот заставил спуститься с небес на землю. Он с отеческой любовью подумал о главном инженере: *«Вот кому скажи спасибо. Однако и упрямый же, черт! Как бы славно было выйти тракторам в колхозы ещё вчера. Так его же не переубедишь, на все доводы твердит: «Не для комиссии работаем». А сегодня как разошелся, когда он, Ращеня, хотел забрать часть людей, чтоб те навели порядок в помещениях и на территории.*

«На кой черт мне этот парад! Машины у нас чистые, а о конторе да о цветах в кабинетах раньше надо было думать. Сейчас каждый человек дорог!»

Размышления Ращени прервал взволнованный, обиженный голос:

— Тимох Панасович! Не могу я так!.. Я прошу… Я не мальчик… У меня голова седая. И я не позволю на себя кричать! Если ему не везет в личной жизни — я тут при чем?

Это — заведующий мастерской Баранов, бывший главный механик. Ращеня неохотно оторвался от окна и сел за стол. На пороге тут же встал Сергей Костянок в рабочем комбинезоне, с замасленными руками. Неприязненно посмотрел на Баранова.

— Жаловаться пришли? Послушайте, Баранов, идите и разбирайте. Трактор я не выпущу! Хватит этой негодной практики! Привыкли — только бы в поле. А потом гробили машины, срывали сев! Как вам не совестно! Ведь для себя работаем. А вы — лишь бы с рук.

Ращеня знал, в чем дело. Как-то в последние дни декабря, во время аврала, для того чтобы дать в сводку выше процент, срочно отремонтировали один трактор. Костянок тогда был в отъезде, трактора он не принимал, а теперь проверил и возмутился, потребовал начать ремонт сначала. Но делать это сейчас, перед приездом комиссии, — значит зачеркнуть все свои достижения и выставить напоказ ошибки. Ращеня, не сумев уговорить главного инженера, пошел на хитрость и потихоньку распорядился трактор не разбирать, пока комиссия не уедет из МТС. Он думал, что Костянок в конце концов примирился с этим, так как всё утро разговора о тракторе не было. И вдруг — на тебе! Тимох Панасович страдальчески сморщился, как бы прося: *«Смилуйтесь вы надо мной, стариком»*.

— Сергей Степанович, дорогой мой, через часок-другой приедет комиссия…

— Да что вы мне эту комиссию тычете! Неделю уже работа вверх дном из-за нее! Как будто мы работаем для комиссии!

— Но к чему нам подставлять себя под удар, когда мы честно потрудились? Ну, случился грех… Выправим…

В это время к конторе подъехали машины. Ращеня взглянул в окно, увидел Журавского, выходившего первым, вскочил, помянул недобрым словом товарищей из района, которые подвели его своей информацией, и, на ходу оправляя толстовку, бросился встречать комиссию.

— Рад, рад за тебя, старик, молодчина!.. — говорил Ращене министр, годы которого выдавала только щетка коротко подстриженных седых волос.

Ращеня от этой похвалы смутился, как девушка.

— Немного вас удержалось, ветеранов… Вот Зухова к тебе привез… Он кричит, что никому не отдаст переходящего знамени.

— И не отдам, Николай Николаевич! — уверенно заявил Зухов, директор передовой в области Салтановской МТС, придирчиво оглядывая кабинет и сквозь открытое окно — усадьбу.

Он успокоился, когда увидел, что первое впечатление от станции не в пользу криничан. Его станция несколько лет держит первенство, ей, как передовой, отпускали больше средств, и потому контора, мастерские, навесы у него пригляднее.

— А мы посмотрим, посмотрим, — приветливо улыбнулся Николай Николаевич. — Пока известно одно: ремонтировали они лучше тебя, Зухов, все время перевыполняли график.

— А качество?

— За качество можете быть спокойны! — заметил Журавский, весело кивнув Сергею.

Это как бы подбодрило главного инженера. Он вышел из угла, где стоял, уступив стулья гостям.

— О качестве можете не беспокоиться, — повторил Сергей слова Журавского, обращаясь к Николаю Николаевичу. — А вообще, товарищ министр, рано мы цыплят считаем… Не сейчас проверять надо, когда тракторы в поле выходят. Когда вернутся — вот когда…

— Проверим и тогда, — заметил заведующий областным отделом, недовольный дерзостью инженера. — Но проверим и сейчас. Вы что, против контроля?

— Почему против? Я буду только благодарен, если вы укажете нам наши ошибки, недочеты…

Испуганный Ращеня прошел мимо Сергея и наступил ему на ногу: *«Молчи!»* Секретарь райкома по зоне дергал за рукав. Члены комиссии переглядывались: *«Чудак человек!»*

— Но ведь вы приехали нас передовиками объявить… Машину корреспондентов привезли… Что ж, люди работали действительно хорошо, их стоит отметить… Но не умеют у нас хвалить, вот чего я боюсь… Как не умеют иной раз и критиковать. Если критика — так на уничтожение. Хвалят — так взахлеб. Я же знаю: стоит вам сказать — МТС передовая, как напишут невесть что… *«Своих успехов МТС добилась благодаря высокому уровню политико-массовой работы»*, — это уж в первую очередь. А это неправда! Пускай обижаются на меня секретари, пускай это покажется парадоксом. Слабо у нас поставлена партийная работа, особенно в колхозах. А напишут, что все хорошо, — и мы сами поверим в это, поверим, что мы лучше всех… Успокоимся… И другие поверят, ещё опыт захотят перенять…

— Что ты митингуешь? — раздраженно перебил его секретарь по зоне. — Тебе кажется, что один ты работаешь, ты один все сделал!

— Не мешайте, — сказал Журавский со смехом в

голосе. — Дайте человеку высказаться…

Министр бросил на секретаря недовольный взгляд. Ему тоже хотелось, чтоб ещё одна МТС вышла в передовые, чтоб о ней писали, упоминали в докладах, а тут нашелся вдруг какой-то чудак.

Зухов делал вид, что его этот разговор не интересует, что это их внутренние дела, а он — гость, однако хитро наматывал все на ус, разглядывая в окно окрестности.

Один из корреспондентов что-то записывал в блокнот, с любопытством поглядывая на Костянка.

— Напишут, что у передовиков все идеально. А иначе — какие же они передовики, если у МТС нет столовой, не хватает мест в общежитии, нет клуба. С кадрами неблагополучно… Нам, например, пришлось нанять хату, чтоб организовать столовку, а это — за километр от усадьбы…

Ращеня, чувствуя, что дело плохо, не выдержал, засуетился.

— Николай Николаевич, Костянок в плохом настроении. Мы тут перед вашим приездом поссорились из-за пустяка.

— Не из-за пустяка, а из-за трактора.

— Ага, месть директору, — пошутил министр. — Вы кем работаете, молодой человек?

Сергей не ответил. Десять минут назад они знакомились, и он назвал свою должность.

— Главным инженером, — подсказал кто-то.

— Главным инженером? — как будто удивился Николай Николаевич и тут же переменил тон. — Ну что ж, тогда показывайте свои владения. Но, знаете, это опасно — не хотеть быть передовым.

— Вы меня неправильно поняли. Я хочу этого не

меньше других, но — настоящим…

— Ага, вот это откровенно. Значит, пока вы передовики ненастоящие?

Выходя, Ращеня в отчаянии прошептал:

— Ну что ты наделал! Эх, Сергей Степанович!

А на дворе, когда обходили размешанную гусеницами грязь, Сергея придержал за локоть Журавский: — Ты чего это разошелся?

— А куда мы торопимся, Роман Карпович? Мы ещё не встали на ноги, не закрепили первых небольших успехов, не знаем, как будет в поле… Очень мало ещё сделали в колхозах. А нас начнут прославлять. К чему? Испортят людей, и в первую очередь этого тщеславного старика, — кивнул он на Ращеню.

— Обозлился он на тебя.

— Ничего, поладим, — усмехнулся Сергей.

Комиссия ходила долго. Осматривали мастерскую, проверяли машины, беседовали с людьми. Несомненно, многое им нравилось, но никто, кроме корреспондентов, не высказывал своего одобрения. Молчал министр, молчали его подчиненные. Ращеня загрустил: *«Все пропало, все старания и надежды. Чего он добивается, этот Костянок? Что ему надо?»*

Ращеня приложил немало усилий и находчивости, чтобы провести комиссию мимо трактора, оставленного для повторного ремонта. Казалось, старания его увенчались успехом: комиссия уже отходила от навеса, где стоял этот злосчастный трактор, И вдруг — опять Костянок:

— А вот эту машину пришлось задержать. Нужен повторный ремонт.

Ращеня от отчаяния даже застонал: *«Зарезал, сукин сын, окончательно зарезал»*.

Министр, который до сих пор ничего не записывал, достал из кармана сложенную вдвое ученическую тетрадь и что-то отметил.

— А теперь в колхозы. Одеваться не будете? — обратился он к Костянку.

— А я не поеду. У меня — экзамен.

— Какой экзамен?

— Группа учеников старших классов изучала трактор и комбайн. Сегодня проверяем их знания.

— Сергей Степанович, а может, отложим? — попросил Ращеня, боясь, что отказ Костянка сопровождать начальство окончательно испортит впечатление — и тогда уж не только в передовые не попадешь, но и выговор получишь.

— Я уже договорился в школе.

— Жаль, что у нас мало времени, — сказал Журавский.

— Ну что ж, это дело полезное, оставайтесь, — с кислой миной разрешил Костянку Николай Николаевич.

Но ни он, ни даже корреспонденты не заинтересовались этим новым и действительно полезным начинанием. *«Ну и черт с вами! — подумал Сергей. — Без вас ребята себя спокойнее чувствовать будут»*.

— Тяжелый человек твой инженер, — с сочувствием сказал Николай Николаевич Ращене, когда машина выбралась на дорогу.

— Видно, работать не хочет, — прибавил заведующий областным отделом.

Если б не эта фраза, Ращеня, возможно, и согласился бы, что и в самом деле тяжелый, но тут, как человек честный, не мог не возразить:

— Кто? Костянок работать не хочет? Что вы! Чудесный

парень! Золотые руки! Да он, если хотите знать, всю МТС вытащил.

Руководители удивленно переглянулись: ничего нельзя понять — тот явно *«топил»* директора, а этот, чудак, его хвалит.

— Просто он мрачно настроен. Горе пережил! Пять лет, — Ращеня и сам не знал, зачем прибавил, — любил женщину. И как любил! Врача нашего. А она недавно за директора школы вышла.

— Пять лет?

Все вдруг заинтересовались этой романтической историей, даже молчаливый шофер. — Не может быть!

— Клянусь. Всё на моих глазах происходило.

— Пять лет водила за нос! Фу, черт! А что она, хороша?

— У-у! Женщина — огонь! — Ращеня обрадовался, что расшевелил Николая Николаевича, поднял настроение заведующего областным отделом. — Но робкий он, Сергей… Работяга, знаете ли, этакий. Покуда заочно академию закончил… Я ему не раз говорил, как сыну, он ведь мой воспитанник: *«Сергей, не тяни, проморгаешь»*. И вот пожалуйста…

— Ого, бабы робких не любят! — мудро заключил шофер.

— А директор этот, видно, донжуан?

— Да нет, как будто тоже хороший человек.

— Вот, брат, какие ещё истории случаются — по пять лет любят, — с грустью вздохнул Николай Николаевич, вспомнив, должно быть, о чем-то своем.

И все по-человечески поняли Сергея Костянка.

В МТС вместе со школьниками пришел и Лемяшевич. Он не мог не пойти, ведь это же его идея — кружок по

изучению сельхозмашин. Он должен довести начатое дело до конца. Так, между прочим, он сказал и Наташе, когда она выразила по этому поводу свои опасения. Но, откровенно говоря, он и сам немножко побаивался: а что, если Сергей и при ребятах не станет с ним разговаривать? Что тогда делать? Все-таки верх взяла уверенность, что Сергей будет благоразумен и никакой бестактности в присутствии учеников себе не позволит. Если же все обойдется хорошо, это послужит шагом к примирению. На экзамене им поневоле придется разговаривать друг с другом. Нельзя же все время молчать.

Сергей встретил их во дворе, у мастерской. Лицо его успокоило Лемяшевича: на нем не отразилось ни злобы, ни раздражения, обыкновенное лицо занятого человека, чем-то озабоченного, немного усталого.

Володя Полоз протянул ему руку, и он стал здороваться со всеми за руку. Наряду с другими поздоровался и с Лемяшевичем. У Михаила Кирилловича радостно екнуло сердце.

— Все? — спросил Сергей, оглядывая школьников.

— Все, — сказал Лемяшевич. — Волотовича не будет, поехал, с комиссией.

— Жаль. — И Сергей направился в мастерскую. Следуя за ним, ребята подошли к трактору, который они начали разбирать.

— Вот здесь и будем экзаменоваться. — И он достал из кармана билеты — карточки из толстой бумаги. Увидев билеты, школьники заволновались. — Кто самый смелый?

Первой подошла Катя Гомонок, за ней — Петро Хмыз. Сергей позвал Козаченко:

— Иди сюда, будешь членом комиссии.

Их окружили рабочие и слушали серьёзно, без шуточек, похваливая ответы. На вопросы по билетам почти все

отвечали отлично, но на дополнительных спотыкались, так как их задавал главным образом Козаченко, и вопросы все неожиданные, хитрые, преимущественно о неисправностях машины. Он потом признался, что ставил их не столько для учеников, сколько для рабочих мастерской: послушают вот так, заинтересуются, пошевелят мозгами — навсегда в памяти застрянет.

Потом сдавали практику: один за другим водили трактор по дороге и пахали за Криницей песчаный пустырь — голый пригорок, где земля оттаяла уже сантиметров на двадцать. Вечерело. Опустилось солнце за лесом. Наступала ясная, звездная ночь. В такие мартовские ночи всегда подмораживает. Но в тот вечер в воздухе почти не чувствовалось похолодания. Не только солнечный день, но и вечер казался майским. Даже звуки, в каждую пору года разные в деревне, мало чем напоминали начало весны: очень уж много было детских голосов.

Лемяшевич и Сергей, как командующие, стояли на вершине пригорка, фигуры их на бледно-розовом фоне неба, должно быть, видны были даже из деревни. Внизу заглох трактор, который вел Володя Полоз, — всегда он выскакивает вперед и всегда натворит что-нибудь. Ребята и Козаченко бросились к машине. Костянок и Лемяшевич остались вдвоем и стояли молча, оба испытывая неловкость. О чем говорить? С чего начать?

— Спасибо, Сергей, — вдруг сказал Лемяшевич. Костянок весь как-то дернулся и враждебно отступил на шаг.

— Это за что же?

— За кружок. Большое мы сделали дело.

Сергей скептически хмыкнул, вглядываясь, что происходит возле трактора. Помолчали.

— Захворал Данила Платонович. Давай зайдем вечером — старик рад будет нас повидать.

— Я утром заходил.

«Заходил, когда знал наверняка, что не застанет там ни Наташи, ни меня», — подумал Лемяшевич и решил поговорить напрямик, без экивоков.

— Послушай, Сергей, мы с тобой мужчины…

— Мужчины? — злобно прошептал в ответ Костянок и резко наклонился, как бы собираясь броситься на него с кулаками. — Мужчины! Я все могу понять. Полюбили друг друга — черт с вами, на дуэль вызывать не стал бы. Но так по-воровски прятаться, врать, чтобы до последнего момента ни единый человек не мог догадаться… Этого я не понимаю… Вы растоптали мою веру в человеческую честность! А я считал вас настоящими людьми!.. Да что с вами разговаривать! — Он отступил еще на шаг, как бы сам себе не доверяя, — Если хочешь знать, я и в любовь вашу не верю! Истинную любовь не скроешь! Она должна вырваться, как пламя пожара.

— Она и вырвалась.

Сергей умолк и быстро пошел к трактору, Лемяшевич двинулся следом.

— Она вырвалась…

Трактор наконец завели, он натужно завыл, взбираясь по мокрому песку на пригорок, и заглушил слова Лемяшевича,

39

— Вот так буду лежать до вечера и не шевельнусь! — объявил Володя Полоз, растянувшись на заросшей травой дорожке школьного сада. — Тишина. Слышите, пчелы звенят? Пчелам звенеть полагается, они собирают мёд. Облачка вон. Плывите, скапливайтесь в тучи — полям дождь нужен. Солнце печет, даже дышать трудно. Это его обязанность — оно дает жизнь всем и всему, в том числе и мне, лодырю, который

написал сочинение на тройку. Разве не так, Левон? Молчишь? Правильно делаешь. Хватит волноваться! Хотя какие у тебя волнения? У тебя одни пятерки… И все равно, ты тоже имеешь право отдохнуть душою и телом. Давайте лежать и молчать до вечера. Молчать! Чего стрекочут эти сороки? Что их волнует? Петро, посмотри. Молчите, гады? Ну и леший с вами! Думаете, я пошевельнусь? Тоже буду молчать.

Чуть поодаль, под другим деревом, лежали его друзья и в самом деле молчали, только улыбались его словам. У шалаша двое ребят играли в шахматы. А по берегу Криницы ходили Катя и Павел Воронец, который, должно быть, читал ей свои стихи или говорил о прекраснейшем из человеческих чувств. В последнее время он стал смелее, повзрослел и без конца рассуждал о любви.

Шел последний экзамен — по белорусской литературе.

Осталось сдать только нескольким ученикам. И потому никто уже не волновался и не дрожал за товарищей: сдадут, ведь перед комиссией выступали сейчас самые крепкие выпускники.

Девочки в ожидании результатов сидели на солнцепеке на вынесенных во двор партах и говорили о своем будущем. Каждой хотелось попасть в институт, но не все были уверены, что им это удастся.

Школа, из которой они уходили в широкий, неведомый мир, стояла опустевшая и грустно смотрела на своих питомцев открытыми настежь окнами. Только окна директорской квартиры не грустили: ласково колыхались красивые гардины, горели розы и герани на подоконниках. Девушек тянуло заглянуть в этот манящий уголок чужой жизни.

— А приятно так вот лежать и ни о чем не думать…

— И молчать! — добавил Левон с иронией.

— И молчать, — согласился Володя. — Станет

Лемяшевич звать, чтобы поздравить, — не пойду. Он счастливый — у него жена красивая. А у меня тройка по русскому…

Но он первым вскочил, как только девочки во дворе зашумели.

— Пошли, хлопцы. Кажется, всё. Полежишь тут спокойно! Девочки обнимали Раю, сдававшую последней, и только теперь поздравляли друг друга, только теперь, забыв и о трудностях, отошедших в прошлое, и о тех, которые ждали их впереди, бурно выражали свою радость.

Из сада лениво и солидно выходили мальчики, как будто и в самом деле стали уже взрослыми. Объявили результаты. Лемяшевич поздравил выпускников. Долго, шумно и весело договаривались насчет выпускного вечера. А когда вышли на улицу и взглянули на школу, всем, опять стало грустно, и они остановились, как бы спрашивая друг друга: *«Что же дальше?»*

Рая предложила:

— Ребята, девочки! Давайте пойдем к Даниле Платоновичу!

Все горячо поддержали её и даже немножко смутились: как это они, среди волнений и радости, забыли о своем больном старом учителе? Тем более непростительно, что сегодня они сдавали его предмет, который он преподавал с такой любовью.

Уже три месяца Данила Платонович тяжело болел. Теперь старику стало чуть полегче, и Наталья Петровна разрешила ему в теплые дни выходить в сад, посидеть среди ульев, за которыми под его руководством присматривали Ольга Калиновна и Лемяшевич.

Данила Платонович сидел под раскидистой грушей в старом кресле, укрыв ревматические ноги теплым одеялом, и дремал. Бабушка Наста увидела ребят:

— К тебе идут.

Они шли по дорожке друг за другом, торжественные; притихшие, в сознании своей зрелости и важности момента, впереди — девушки, за ними — ребята.

Старик взглянул, оживился, поправил воротник белоснежной рубахи и даже пригладил остатки волос у висков, ставших за время болезни мягкими, как у младенца, и белыми как снег.

Они подходили, останавливались и смущенно здоровались, каждый в отдельности.

— Добрый день, Данила Платонович!

— Здравствуйте!

— Доброго здоровья!

Его глубоко запавшие глаза увлажнились, и сразу же слезы повисли на ресницах у девочек. Растроганный, обрадованный, он протянул навстречу ученикам обе руки. Тогда они вмиг окружили его, скрестили свои горячие сильные руки на его слабых, сухих руках, осторожно пожимали пальцы, кисть, локоть, а самые смелые — Володя и Катя — легко обняли за плечи.

— Поздравляю вас, поздравляю… И спасибо, спасибо, друзья мои. Садитесь. Рассказывайте…

Они расселись вокруг него на траве и начали рассказывать, как сдавали его предмет. Болтали весело и откровенно, так откровенно, как, пожалуй, ещё никогда не решались даже при нём, своем любимом учителе. Они ещё и сами не успели обменяться впечатлениями об этом последнем экзамене и поэтому особенно живо и весело теперь припоминали, подсказывая друг другу, все интересные и смешные моменты. Им очень хотелось чувствовать себя самостоятельными и взрослыми, но они и не заметили, как опять превратились в озорных и смешливых детей. Они рассказали, как Нина после первого же вопроса попросила воды, а воды в классе не оказалось; как Володя Полоз хотел вытащить из рукава шпаргалку, а

Михаил Кириллович увидел и погрозил пальцем, но ничего не сказал, и Володя потом все-таки вытащил её; как вся комиссия не могла остановить Павла Воронца, когда он заговорил о любви Янука и Раины.

— Он же выдумывал чего и в поэме нет.

— Из собственной биографии.

— Ого! Биография у Павлика богатая!

Данила Платонович смеялся весело, от души, так же как и они, молодые, бодрые. Должно быть, в эти минуты он забыл и о болезни, и о своих годах. Бабка Наста стояла рядом, смотрела на всех своими зоркими глазами, но ничего не слышала и укоризненно качала головой.

Потом, видно почувствовав, что наговорили слишком много глупостей и чересчур расшумелись у больного, выпускники как-то сразу все примолкли, смутились, поглядывали друг на друга, как бы взывая: *«Скажите же кто-нибудь хоть одно умное слово»*.

Данила Платонович понял их и, ласково отогнав рукой пчелу, звеневшую перед его лицом, заговорил сам — словно после небольшой веселой переменки продолжая серьёзный урок:

— Ая вот сейчас вспомнил, какой вы у меня выпуск за все время моей работы. Пятидесятый! Юбилейный, можно сказать…

Хотя они примерно знали, сколько лет работает Данила Платонович, но слова его произвели на них сильное впечатление.

— Да, ровно полсотни раз на моих глазах выходили юноши и девушки на нелегкую дорогу жизни. Разные были школы: церковноприходская, начальная в первые советские годы… Но кончали их тогда ребята немногим моложе вас, а иной раз и старше. Школа молодела на моих глазах. Правда, я старел. Но молодели мои чувства, моя радость… Когда-то, до революции, я

каждый раз с тревогой думал: *«Что ждет в жизни этих мальчиков и девочек в холщовых сорочках, в лапотках?»* Это были ваши отцы. Потом тревоги не стало. Я радовался… А сегодня… сегодня я позавидовал вам, друзья мои. Не помню, случалось ли мне завидовать раньше… Но сегодня позавидовал. Большая перед вами жизнь… Настоящая! И знаете, чего мне захотелось сегодня? Невозможного: прожить ещё одну жизнь, пусть даже такую же трудную, какой она была поначалу… Да, это прекрасно — жить! Жить человеком! Помните у Горького — Человек! С большой буквы! — Он поднял палец, произнёс эти слова как-то особенно торжественно, и добрая улыбка осветила его худое, морщинистое лицо. — Будьте людьми. Знайте, что самое большое счастье — жить честно, честно работать, служить своему народу… Я уже, как говорится, приближаюсь к финишу…

— Данила Платонович! — с упреком перебил его Левон.

— Вы меня не утешайте. Мы — материалисты и знаем законы природы. Я вот болел… Это тяжело — болеть… Но на душе у меня всегда было легко и спокойно: я честно прожил свою жизнь. В этом на старости лет — счастье. Я не святой. Жизнь — это борьба, и мне тоже приходилось бороться. Есть, конечно, люди, которые на меня в обиде… Но большинство, подавляющее большинство, я надеюсь, будет вспоминать меня добрым словом. А это главное — заслужить признание народа… Но что это я все о себе? Еще скажете: *«Хвастается старик»*. Мне, правда, не грех уже о своей жизни вспомнить. Но я хотел сказать вам что-то другое. Что? — Он наморщил лоб, закрыл глаза, припоминая.

Бабка Наста подошла, поправила сползшее с ног одеяло.

— Тебе много говорить нельзя… А ты все говоришь, все говоришь!

— Погоди, старая, — махнул рукой Данила Платонович. — . Ага. Вот мы, учителя, твердили вам, да и в газетах, в

книгах пишут: все дороги перед вами открыты. Что я хочу сказать? Дороги все открыты — это так. За это воевали ваши отцы, братья. Но не верьте, если кто-нибудь вам скажет, что есть в жизни хоть одна легкая дорога. Не верьте. У каждого из вас будут трудности, неудачи, разочарования. Не пугайтесь, не падайте духом. Самое страшное — пасть духом… Потерять веру… Я вот помню одного учителя… Нет, погодите, я ещё что-то хотел сказать… Видите, слабеет память…

Выпускники сидели молча, опустив глаза. Их поразило и тронуло, что Данила Платонович говорит так, будто прощается навсегда. Молодым тяжело слушать такие слова. Вообще тяжело, когда старики начинают говорить о смерти. Не знаешь, что ответить, чем утешить, потому что утешениям этим, даже когда они идут от души, не верят ни тот, к кому они относятся, ни тот, кто утешает.

Рая воспользовалась паузой и поддержала слова бабки Насты:

— А говорить вам и правда много нельзя, Данила Платонович. Наталья Петровна будет нас ругать.

— Будет ругать вас, будет ругать меня, — весело ответил старик. — Такая уж у неё должность.

Но выпускники уже вскочили, как по команде. Кто-то сказал:

— Утомили мы вас. Простите.

Данила Платонович не уговаривал посидеть ещё: он понимал, что молодежи, да ещё в такой день, трудно оставаться долго возле больного.

— Спасибо вам, что пришли. Заходите. Непременно заходите. А то Рае одной наскучило дежурить возле меня. Да, Алёше письмо напишите. Он порадуется. И от меня — поклон.

А когда они попрощались и толпой двинулись из сада, он их задержал:

— Погодите, ещё одна к вам просьба… Помните, сколько раз мы с вами криницы чистили? Наши криницы там, в балках, — он показал в поле, откуда брали свое начало ручьи. — Не забывайте, прошу вас, о них, а то заплывут илом, засорятся, пересохнут… Криницы должны быть чистыми!

40

Рая лежала на траве и читала, прикрывая косынкой опухшую щеку — ужалила пчела. Данила Платонович дремал в своем кресле. Со вчерашнего утра он все молчал. Вчера, когда Наталья Петровна и Аксинья Федосовна вынесли больного в сад; он, взглянув в сторону МТС, взволновался, а потом спросил у Раи:

— Рая, что это я дуба не вижу?

— А его вчера спилили. Он не распустился, засох, — ответила девушка.

— Ну, вот видишь, засох, — как-то странно улыбнулся Данила Платонович и умолк.

Книга была такая интересная, что Рая забыла даже про пчел, которые звенели над головой и которых она очень боялась, так как они почему-то нападали на нее чаще, чем на других. Говорят, пчелы вообще не любят женщин, однако же Ольга Калиновна и бабка Наста ходят за ними — и пчелы их не кусают.

Рая не сразу услышала, что Данила Платонович её зовет:

— Рая… Рая!

Какой тихий у него голос! Она подняла голову.

— Должно быть, гроза будет, Рая. Она посмотрела на небо, чистое, без единого облачка, в знойной дымке.

— Да, душно очень, — и опять, уткнулась в книгу. Второй раз он окликнул её через полчаса и ещё тише,

почти шепотом. Она глянула и испуганно вскочила. Данила Платонович лежал, откинув голову на спинку кресла, часто дыша открытым ртом, словно ему не хватало воздуха в безграничном просторе июньского дня. Пальцы его правой руки царапали грудь, казалось, хотели разорвать душившую его рубашку, но не хватало сил. Рая бросилась к нему.

— Данила Платонович, что с вами? Мамочка моя! Он покачал головой и ещё довольно внятно сказал:

— Отойди… Рая…

Она в ужасе кинулась к дому, закричала:

— Ма-ма!

Но непонятная сила вернула её назад. Она остановилась шагах в пяти, не в состоянии оторвать взгляда от его руки. Она ничего больше не видела, ни лица, ни глаз, — только эти костлявые жёлтые пальцы, что все слабей и слабей дергали белую сорочку. Потом пальцы как-то сразу побелели, и рука мертво упала на подлокотник кресла. Рая снова в ужасе крикнула:

— Ма-ма! — и повернулась, чтобы бежать, но навстречу торопливо шла бабка Наста.

Она отстранила Раю, ахнула, как бы безмерно удивленная, потом спокойно перекрестилась. — Хорошо жил, хорошо и помер. Денёк-то какой божий! А я всё живу, всё живу. — И, подойдя, она прижала пальцами его веки.

Тогда только Рая всё поняла и, испуганная, — она в первый раз видела, как приходит смерть, — потрясенная, прижалась лбом к шершавой коре яблони и безутешно, навзрыд заплакала.

А где-то за речкой и лесом гремел гром — приближалась гроза.

Ласточки, привыкшие к шуму школы и смело летавшие, когда кричали и играли дети, пугались этой

молчаливой толпы, облетали её стороной, и не слышно было их веселого щебета в гнездах под крышей. А те, что жили над крыльцом, не могли пролететь к себе в гнездо, и там тонко и жалобно пищали птенцы.

Гроб вынесли из школы во двор, поставили на скамью. Попрощаться с другом и учителем пришли сотни людей: колхозники со всего сельсовета, педагоги, районные работники. В почетный караул стали Журавский и старый учитель, что когда-то вместе с Данилой Платоновичем провел через болота партизанский отряд. Лемяшевич узнал его. Старик плакал.

Пришли с поля трактористы. Девушки принесли венок из зеленых колосьев и васильков. Цветы, только что сорванные в поле, никак не напоминали надгробные, они жили и как бы свидетельствовали о бесконечности и красоте жизни. Вообще все вокруг как бы спорило со смертью, все цвело, наливалось соками. Щедро светило солнце.

Скорбные минуты траурного митинга — последнего прощания с человеком, который никогда уже не войдет в этот двор, где столько раз проходили его ноги за сорок лет, не ступит на этр крыльцо, которое он сам строил и перестраивал. Ораторы поднимаются на ступеньки крыльца у ног покойника. Многим не удается сказать то, что бы им хотелось, но в такие минуты трогают любые слова. У Натальи Петровны от плача распухло лицо. Дарья Степановна, сама глотая слезы, ласково гладит её руку.

— Наташа, успокойся, тебе вредно.

— Мне всё кажется, что я виновата. Ведь я знала, что ему хуже… Мне не следовало его оставлять.

— Ничего бы ты не сделала.

Рая все слезы выплакала вчера. Она не спала ночь, бесконечно потрясенная смертью, и теперь нервы её натянуты до предела. Она не сводит лихорадочного

взгляда сухих глаз с воскового лица умершего. Как страшно изменила смерть это знакомое, близкое лицо. Нет, здесь, в гробу, чужой человек, незнакомый; тот Данила Платонович, который ещё вчера утром разговаривал с ней, — тот остался у нее в сердце и в сердцах всех, кто сейчас плачет, слушая слова ораторов.

Говорят Журавский, Лемяшевич, старый незнакомый человек. Пробует что-то сказать и не может из-за слез её мать, Аксинья Федосовна. Опять говорит Лемяшевич.

Траурная музыка...

Рая берет венок и становится за старым учителем — другом покойника, вышедшим вперед с красной подушечкой. За ней становятся подруги с такими же венками.

Сергей Костянок, Бушила, Ковальчук, Ровнополец поднимают гроб на плечи. Народ расступается, и вот он тихо поплыл из школьного двора на улицу. Медленно движется процессия, сотни ног поднимают пыль, становится трудно дышать.

Люди идут за гробом, но горе теперь как будто не так остро. Уже хочется забыть о смерти, возникают разговоры о житейском, о будничных делах, недаром мудро говорится: живой думает о живом.

— Опять парит. Опять будет гроза.

— Да, дождика не миновать.

— Пускай, самое время житу наливаться.

— Уже вошло в силу.

— Все одно не помешает.

— Для сенокоса вред. Мы вчера только переворошили, а он как пришпарит!

— Павел Иванович, просо на Тополе не прополото. А

просо доброе...

— Все растет как на дрожжах, а людей не хватает, Роман Карпович. Вот прошу этого упрямого человека: переброcь сенокосилки из *«Партизана»*, там людей больше.

— Не будь индивидуалистом, у тебя и так половина техники МТС.

Мимо прошла Наталья Петровна. Она и здесь врач — надо последить, не стало бы кому дурно.

Она послушала разговоры мужчин и укоризненно бросила:

— Больше нет у вас времени поговорить о делах.

Они смущённо замолкли.

На минуту остановились перед хатой учителя: потребовали женщины, чтоб покойник простился с родным домом, с садом, с пчелами.

В эту минуту появился Алёша Костянок. Его сразу увидели все. Он вышел со двора напротив, должно быть шел огородами, чтоб сократить путь, быстро подошел к гробу, растерянно остановился. Потом сорвал с головы свою пропыленную кепку и энергичным жестом вытер ею глаза. Тогда снова заплакали девочки-школьницы. И впервые сегодня заплакала Рая, но от этих слез ей сразу стало легче, будто залили они тот нездоровый огонь, что разгорался в её душе; погас лихорадочный блеск в глазах, и они стали такими же, как у всех, — красными, заплаканными.

Алёша сунул кепку в карман и молча попросил брата уступить ему место нести гроб.

41

Через несколько дней Алёша уезжал в свою МТС. Накануне его отъезда Аня родила сына. Он зашел в

комнату, где она лежала, без смущения, по-взрослому простой и сдержанный, бодро кивнул ей:

— Ну, поправляйся, сестра!

Осторожно коснулся пальцем красненькой щечки малыша, засмеялся.

— Будь здоров, тезка!

На дворе его поджидали друзья — Левон и Володя. Мать уже вручила им — одному небольшой чемоданчик, другому довольно объемистый вещевой мешок, все для Алеши, хотя сын два дня убеждал её, что ничего ему не надо, все у него есть там, в Рогачах. Но мать остается матерью, должна же она позаботиться, чтоб дитя её, уйдя в люди, не испытывало ни в чем нужды.

Алёша поцеловал растроганную мать.

— Гляди, сынок, будь осторожен в дороге. Еда в чемодане. — Да я к вечеру дома буду, мама.

— *«Дома»*. — Мать заплакала.

Ребята собрались проводить товарища до большака, где он должен был сесть на автобус, курсирующий между районным и областным центрами.

Когда миновали огороды и вышли на тропку, что вела вдоль ручья в поле, к березовой роще, Алёша остановился, посмотрел на школу. Постояли молча.

— Ну вот и вылетели мы из этого гнезда, — сказал Левон без грусти.

— Вылететь-то вылетели, а где сядем… — Володя вздохнул. — Хотя вам что, у вас всё ясно. А вот у меня… Провалю я, хлопцы, в институт… Что тогда буду делать?

Алёша удивленно и даже презрительно посмотрел на товарища.

— Как это что делать? Работать будешь. Приезжай ко

мне.

— А что ты думаешь! Приеду!

Уже не раз заводили они этот разговор, и начинал его всегда Володя. Алёша все больше рассказывал про свою МТС. Он и сейчас не удержался:

— Я, хлопцы, раньше думал, что красивее наших Криниц ничего на свете нет. Ого! Знали бы вы, сколько красивых мест на земле! Деревня, где наша бригада работает, на самом берегу Днепра. А за рекою лес!.. — Он оживленно размахивал руками.

— И не тянет тебя домой? — спросил Левон. Алёша помолчал, потом откровенно признался:

— Тянет, хлопцы.

— Тебе надо там влюбиться, — серьёзно посоветовал Володя. — Есть красивые девчата?

— А где их нет! Есть. — И Алёша вздохнул.

— Но ты не можешь Раю забыть, да? — догадался Володя. Левон толкнул его мешком: *«Не задевай больного места, поделикатнее»*. Но Алёша ответил спокойно, не краснея и не смущаясь:

— А что мне Рая! Нечего мне о ней думать.

— Правильно, Алёша! Хотя, знаешь, она, брат, понемногу становится человеком. Катя говорит, что она тебе первая написала. Верно? Это хорошо, что не ты первый, — продолжал философствовать Володя. — Перед ними не расстилайся, а то как раз под башмаком окажешься. Недаром Пушкин писал: *«Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей»*. Так, кажется, Левон? А Пушкин здорово разбирался в этих делах!

И вдруг они увидели Раю. Она вышла из ольшаника у Криницы и остановилась на стежке, как бы загораживая им путь. Не могло быть сомнений, что она

их ждала. Нет, не их. Она ждала Алешу. Ребята это сразу поняли. Володя грубовато спросил:

— Признавайся — условились?

Алёша не ответил. Он решительно взял из рук бестактного друга чемодан.

— Спасибо, хлопцы. Дальше я пойду один.

— Один! — возмутился Володя. — Эх, ты! А ещё говорил...

— Не вмешивайся, пожалуйста, в личные дела, — остановил его Левой.

— Бабники вы проклятые! Из-за девчонки ты готов всех друзей забыть. Ну и черт с тобой! Отказываешься от нашей помощи — на, тащи, как ишак, свои мешки.

Алёша попрощался с ребятами и, вскинув мешок на плечо; быстро зашагал к Рае. Ему было неловко и немножко стыдно перед товарищами, и он сердился за это на Раю. Но вместе с тем он обрадовался, что она пришла проводить его, а может быть, и сказать ему что-нибудь. Он сразу забыл все свои обиды и пожалел, что так холодно ответил на её письмо. Теперь встреча с ней казалась ему такой желанной, что он даже с лучшими друзьями поступил не очень-то красиво, и боялся он её, этой встречи, чувствовал, как все сильнее и сильнее бьется сердце.

Рая была празднично одета — в пестром шелковом платье, в туфельках на высоких каблуках, в руках держала букетик васильков. Она сделала несколько шагов ему навстречу и тихо поздоровалась.

Алёша заметил, как часто вздымается под платьем её грудь, как раскраснелись щеки, будто она бежала. Он сдержанно ответил на её приветствие. Она пошла рядом с ним. Предложила:

— Дай мне твой чемоданчик.

— Не надо. Я сам. Не тяжело. Она не решилась настаивать.

Тропка была узкая, и они шли, то и дело касаясь друг друга плечами. Высокие, густые, но ещё мягкие — неколючие—колосья ржи касались лица, щекотали подбородок, уши. Ночью прошел дождь, и земля, влажная и рыхлая, казалось, дышала полной грудью. День был прохладный и ветреный. Ветер дул им в лицо плотно прижимал платье к девичьему стану, относил назад волосы, от этого Рая казалась удивительной — она как бы летела, стремилась вперед. Алёша тайком любовался ею. Она приметила это, и ей стало спокойно и хорошо. Они долго молчали. Потом она спросила чуть кокетливо:

— Ты все ещё сердишься на меня?

Алёша не знал, что ответить, и пробормотал что-то невнятное.

— Три дня пробыл и не захотел даже повидать.

— Я думал — ты не хочешь. Ты ж меня раньше ненавидела. — В душе его шевельнулась старая обида.

— Я ведь тебе написала.

— Думала одним письмом все загладить?..

Алёша увидел, как дрогнули её губы и заморгали ресницы. Но он не хотел её жалеть и подогревал свою обиду: *«Мне было в тысячу раз тяжелей, я все терпел. Узнай же и ты теперь...»*

Она достала платочек и провела им по лицу. Пряча платок, покачнулась и задела плечом Алешу.

— Ты прости меня, Алёша. Я была глупая, ничего не понимала... Не умела разбираться в людях.

— А теперь научилась? — Он хотел быть суровым и непримиримым, но сердце его смягчилось от её искреннего признания.

— Я не знаю, научилась или нет, но знаю, что я… я… теперь не такая… И я поняла тебя…

При всей её смелости — она, ни на что не глядя, отважилась с ним встретиться среди бела дня и проводить его — у нее не хватило решимости сказать больше. Но и этого было довольно. Алёша даже остановился и часто задышал от волнения. Чтоб не выдать себя и скрыть растерянность, он заговорил:

— Погляди, какие хлеба! Такие и убирать приятно. Тогда Рая робко попросила:

— Алёша, а ты возвращайся в нашу МТС. Он подумал и ответил серьёзно:

— Нет, Рая, нельзя так скакать с места на место. Я там заместитель бригадира. Ко мне хорошо относятся. Бригада у нас комсомольская. Хорошие все хлопцы. А во время уборки я буду работать на комбайне, за мной уже и комбайн закреплен. Новый… Все надеются, что я опять, как в прошлом году, буду передовиком… Там долго не знали, что я — тот самый Костянок, о котором писали в газете. А потом как-то проведали. И вот однажды вечером приходят ко мне в общежитие и директор и секретарь по зоне… Знаешь, даже неловко было. Теперь они такие характеристики дали мне на заочное отделение сельскохозяйственного института! Видишь, мне легче, чем вам… Я работаю по специальности… Нам преимущество на заочном…

— Счастливый ты, Алёша, — сказала Рая.

Возможно, она думала только о том, что ему будет легче, чем ей и товарищам, поступить учиться. Но Алёша понял это иначе — что он теперь и в самом деле может считать себя счастливым, хотя никогда раньше не задумывался над тем, что такое счастье, к которому так неустанно стремятся люди. Так же как неустанно струят свои чистые воды вечно живые криницы.

1953–1956

1. Герой трилогии Якуба Коласа «На росстанях».

2. Комедия народного поэта Белоруссии Янки Купалы

Падрыхтаванае на падставе: Иван Шамякин, В добрый час. Криницы. — Москва 1962.

Вошедший в настоящее издание роман «В добрый час» посвящен возрождению разоренной фашистскими оккупантами колхозной деревни. Действие романа происходит в первые послевоенные годы. Автор остро ставит вопрос о колхозных кадрах, о стиле партийного руководства, о социалистическом отношении к труду, показывая, как от личных качеств руководителей часто зависит решение практических вопросов хозяйственного строительства. Немалое место занимают в романе проблемы любви и дружбы. В романе «Криницы» действие происходит в одном из районов Полесья после сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Автор повествует о том, как живут и трудятся передовые люди колхозной деревни, как они участвуют в перестройке сельского хозяйства на основе исторических решений партии.